

ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ



Н. И. Табленко



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



От автора

Герой настоящего повествования не прославился ни на поле брани, ни на административном и дипломатическом поприще, ни, наконец, в области культуры. Тем не менее он оставил заметный след в истории нашего Отечества, а его имя можно обнаружить не только в серьезных исследованиях историков, но и на страницах школьных учебников. В то же время историческая наука не богата посвященными ему трудами.

Первым исследователем деяний царевича Алексея Петровича был историк середины XIX века академик Николай Герасимович Устрялов, автор в свое время знаменитой многотомной «Истории царствования Петра Великого», шестой том которой был опубликован в 1859 году. Устрялов был первым историком, которому правительство дозволило воспользоваться документами, хранившимися в архиве за семью печатями и считавшимися государственной тайной. Заслуга академика состояла еще и в том, что он использовал документы, хранящиеся в Венском архиве, значительно расширившие наши представления о давно происходивших событиях.

Свое исследование Устрялов дополнил обширным приложением, на страницах которого впервые опубликованы самые ценные источники отечественного и зарубежного происхождения. Публикация документов далека от современных требований, но она тем не менее во многом избавляет историка от изнурительного труда в архивах.

Вскоре после Н. Г. Устрялова к сюжетам, связанным с царевичем Алексеем, обратился М. П. Погодин. Ему принадлежит несколько статей, в том числе исследование в связи с новыми документами о царевиче, открытыми историком Г. В. Есиповым.

Следующее важное исследование принадлежит крупнейшему историку XIX века Сергею Михайловичу Соловьеву, посвятившему делу царевича Алексея пространную главу в XVII томе «Истории России с древнейших времен». Если вспомнить еще об очерке Н. И. Костомарова, то этим и исчерпывается историографический обзор данной темы^[1]. Во всяком случае, если говорить о серьезных, капитальных работах, посвященных сыну Петра I.

Зато история царевича Алексея привлекла к себе внимание литераторов. Известно, что Лев Николаевич Толстой, потомок Петра Андреевича Толстого, возведенного в графское достоинство при Петре Великом, намеревался написать художественное произведение о своем

знаменитом предке. Но когда он приступил к изучению источников, то обнаружил в них столь много нечистоплотных и безнравственных поступков, совершенных современниками, в том числе и его предком, что отказался от выполнения задуманного.

Вообще, литераторы, особенно зарубежные, охотно обращались к делу царевича Алексея — в нем столько драматизма, крутых поворотов в судьбах исторических лиц, что это освобождает авторов трагедий и драм от необходимости что-либо сочинять и придумывать. В самом деле, драматург располагает по крайней мере тремя конфликтными ситуациями: между отцом и сыном, между супругой Евдокией Федоровной и царем Петром Алексеевичем и между царевичем Алексеем и его супругой кронпринцессой Шарлоттой. Это — главные действующие лица. Но помимо них множество персон, среди которых встречаются талантливые авантюристы, столь же одаренные карьеристы, невинные жертвы, слабость которых состояла в болтливости, неумении держать язык за зубами. Над всем происходящим витала мрачная тень Тайной розыскных дел канцелярии, беспощадно расправлявшейся со всеми, кто осмеливался вымолвить крамольное слово о царе, его супруге или осудить существовавшие порядки.

В толпе персонажей главными действующими лицами являются отец и сын, царь Петр и царевич Алексей. В основе возникшего между ними конфликта — несхожие характеры: темпераментному, волевому, трудолюбивому, энергичному, с недюжинным талантом отцу противостоял вялый, безвольный, легко поддающийся стороннему влиянию, ленивый, чуравшийся всего, что требовало от него усилий, сын, который во все годы своей взрослой жизни стремился лишь к покою и праздному времяпрепровождению.

Различие в характерах порождало различие во взглядах на настоящее и будущее России. Отец не жалел живота своего ради европеизации России, ради превращения отсталой во всех отношениях страны в могучую державу. Это сопровождалось напряженным ритмом жизни царя и подданных, требовало колоссального напряжения физических и нравственных сил и материальных ресурсов.

Такой ритм жизни противоречил чаяниям сына, идеалом которого был покой, отсутствие каких-либо потрясений и крутых перемен.

Если бы различия характеров касались жизни частных лиц, обычной семьи, то они остались бы достоянием семейной хроники. Но в данном случае они приобрели государственное значение. Отец имел полное основание подозревать, что сын, будучи наследником трона, восстановит в

стране старомосковские порядки, обречет ее на вековое отставание.

Отец считал себя слугой государства, верил в возможность повернуть страну лицом к Западу, опережавшему Россию во всех сферах жизни, начиная с быта и кончая структурой государства. Сын, напротив, рассматривал трон как средство удовлетворения личных потребностей, как гарантию размеренной жизни царского двора с его пышными церемониями.

Разве предшественники Петра позволяли себе работать топором, находиться в гуще сражений, лично отправляться на «богомерзкий Запад», чтобы овладеть навыками кораблестроения и кораблевождения, беседовать в прокуренной комнате с простыми людьми, обладавшими знаниями и опытом?!

В то же время Петр допускал серьезную ошибку, когда требовал от подданных, в том числе и от сына, такой же самоотдачи, которую для дела щедро расточал сам и которая была не под силу подавляющему большинству подданных. Вспомним письма Петра военных лет военачальникам, в которых часто встречались слова «наискорее», «поспешайте», «не медля» и др. Такой ритм жизни не мог вынести слабый телом и духом царевич.

Первоначально, когда Петр давал задание сыну заготовить фураж для армии и пополнить ее рекрутами, а также укрепить Москву на случай появления у ее стен войска Карла XII, у него не было к нему претензий. Сын выполнял поручения вдали от отца, который и не ведал, чьими усилиями достигались успехи: воевод и губернаторов или сына.

В 1712 году царевич находился при отце, и тот мог вполне оценить усердие сына, которое глубоко не удовлетворило его. Петр отреагировал на это отчуждением от царевича, игнорированием его существования, прекращением общения с ним. Именно в это время у Петра зародилась мысль лишить сына права наследования, а у царевича, почувствовавшего, что над его головой сгущаются тучи, возникла и созрела мысль о бегстве.

В слабом духом и телом царевиче тем не менее горело неистребимое желание овладеть тронem. Петр, как нам представляется, ошибался, когда приписывал вину за бегство сына и его противоправные поступки духовенству. Не отрицая роли советчиков в рясе в событиях, приведших к гибели царевича, надлежит главным виновником трагического конца считать Кикина — подлинного организатора бегства царевича.

Сам по себе побег явился изменнической акцией, каравшейся смертью. Но с побегом связано немало поступков царевича, каждый из которых по законам того времени карался смертью. Горячее желание смерти отца, готовность возглавить бунт против него, если его об этом попросят

восставшие, готовность добывать трон, опираясь на иноземные штыки и т. д. — все это было выяснено во время следствия. Это дало основание отцу посчитать царевича «своим сыном по рождению, но злодеем по делам». Отец и поступил с ним как со злодеем, обычным колодником: у жестокосердного отца не возникло жалости к сыну-злодею, корчившемуся от боли у него на глазах во время пыток.

У Петра было бесспорное право сохранить жизнь сыну. Но следствие показало, что клятвенные обещания сына отречься от трона являлись обманом. Быть может, царь согласился бы сохранить жизнь царевичу, если бы был уверен, что тот, став монахом, окажется в роли пассивного наблюдателя происходивших событий, продолжавшихся преобразований. Но в том-то и дело, что сын грозил повернуть историю страны вспять, вернуться к старомосковским порядкам, отказаться от успехов, достигнутых титаническими усилиями царя и его подданных. Царь в интересах государства пожертвовал жизнью непутового сына. В этом драма жизни и смерти царевича Алексея, в этом же — драма жизни Петра I.

*

Жизненный путь царевича Алексея Петровича, скончавшегося в сравнительно молодом возрасте (ему было 28 лет), надлежит разделить на несколько этапов. Каждый из них был наполнен специфическим содержанием, несхожими заботами.

Родился царевич 18 февраля 1690 года, и первые 16 лет его жизни можно считать годами детства и юности.

Второй этап наступил в 1706 году, когда отец начал привлекать сына к активному участию в правительственных делах.

Самым важным событием третьего этапа в жизни царевича была женитьба в 1711 году и продолжавшаяся три года семейная жизнь.

Четвертый этап — бегство царевича в Австрию и пребывание во владениях цесаря в 1716–1717 годах.

Пятый этап — возвращение царевича в Россию в 1718 году.

Шестой этап, насыщенный важными событиями, проливает свет на личность царевича, причины, побудившие его к бегству. Речь пойдет о следствии и суде над царевичем и его сообщниками. Следствие велось в Москве и Петербурге, причем в московском следствии главными обвиняемыми были Кикин и приближенные царевича, причастные к его бегству. Особое место в следствии в Москве занимает Суздальский розыск,

в котором главными действующими лицами были первая супруга Петра Евдокия Федоровна Лопухина, ростовский епископ Досифей и капитан Степан Глебов.

В следствии, проводившемся в Петербурге, главным обвиняемым стал сам царевич, жизнь которого трагически оборвалась 26 июня 1718 года.

Мы проследим жизнь царевича Алексея Петровича последовательно — этап за этапом. Но сначала несколько слов о происхождении царевича, прежде всего — о его матери, Евдокии Федоровне Лопухиной.

Глава первая. Детство и юность царевича

Алексей Михайлович, второй царь из династии Романовых, был женат дважды. Первая его супруга, Мария Ильинична Милославская, хотя и умерла в 1669 году сравнительно молодой, не достигнув 44-летнего возраста, успела нарожать кучу детей, причем девочки росли крепкими и здоровыми, в то время как сыновья, будущие наследники трона, — физически слабыми и в интеллектуальном отношении, можно сказать, неполноценными.

После шестимесячного вдовства Алексей Михайлович женился второй раз, избрав в жены пышущую здоровьем красавицу Наталью Кирилловну Нарышкину. От нее он имел дочь Наталью и сына Петра, родившегося в 1672 году. В итоге возникли две ветви Романовых, претендовавших на трон: два сына от Милославской, Федор и Иван, и сын от Нарышкиной Петр. Их соперничество оказало немаловажное влияние на последующие события.

После смерти царя Алексея Михайловича в 1676 году трон занял его старший сын Федор, болезненный юноша, проводивший большую часть времени в постели. Он скончался в 1682 году в двадцатилетнем возрасте. Страной в годы его царствования правили проходимцы и казнокрады.

По обычаю трон должен был занять следующий по старшинству сын Алексея Михайловича Иван (1666–1696). Но этот молодой человек с явными физическими недостатками — он был подслеповатым и заикой — не годился на роль правителя огромного государства. Это обстоятельство должно было привести к передаче скипетра младшему сыну Алексея Михайловича — Петру.

Однако восшествие на престол представителя ветви Нарышкиных очевидным образом противоречило интересам Милославских, поскольку лишало их власти и доходных мест. Клан Милославских, возглавляемый отцом умершей царицы и ее крайне честолюбивой дочерью Софьей Алексеевной, поднял против Нарышкиных бунт стрельцов. В ходе восстания были истреблены родственники и близкие Нарышкиных. Трон заняли одновременно два сводных брата — Иван и Петр, а правительницей страны стала царица Софья.

О том, сколь разительно отличались друг от друга братья-цари, восседавшие на специально изготовленном по этому случаю двойном троне, сообщает современник, секретарь шведского посольства, описавший

церемонию посольского приема в Москве в 1683 году: «В приемной палате, обитой турецкими коврами, на двух серебряных креслах сидели оба царя в полном царском одеянии, сиявшем драгоценными камнями. Старший брат, надвинув шапку на глаза, опустил глаза в землю, никого не видя, сидел почти неподвижно; младший смотрел на всех; лицо у него открытое, приятное, красивое; молодая кровь играла в нем, как только обращались к нему с речью. Удивительная красота его поражала всех представших, а живость его приводила в замешательство степенных сановников московских. Когда посланник передал верительную грамоту, и оба царя должны были встать в одно время, чтобы спросить о королевском здоровье, младший, Петр, не дал времени дядькам приподнять себя и брата, как требовалось этикетом, стремительно вскочил со своего места, сам приподнял царскую шапку и заговорил скороговоркой обычный привет».

Такая ситуация, при которой двое братьев считались царями, а страной правила царица Софья, продолжалась до 1689 года, когда повзрослевшему Петру удалось свергнуть правительницу и заточить ее в монастырь^[2]. Но и после этого соперничество двух кланов не прекратилось, но лишь перешло в иную плоскость. Каждый из кланов — и Милославские, и Нарышкины — стремился женить своего ставленника, чтобы скорее обзавестись наследником. Первым женили Ивана. Вслед за тем мать Петра, царица Наталья Кирилловна Нарышкина, поспешила женить своего семнадцатилетнего сына. Вопреки обычаю, согласно которому устраивали смотр невест и жених выбирал на нем приглянувшуюся ему девицу, Наталья Кирилловна сама избрала сыну супругу. Ее избранницей стала красавица Евдокия, дочь стольника Федора Аврамовича Лопухина. 27 января 1689 года Петр, которому было тогда 16 лет и 8 месяцев, сочетался браком с Евдокией Федоровной. Невеста была на два года старше жениха.

Лопухины не отличались ни знатностью рода, ни богатством, ни высоким служебным положением. Дочь Лопухина не принадлежала и к числу высокоталантливых людей, способных соответствовать уровню супруга. Мастер портретных зарисовок Б. И. Куракин оставил не слишком лестный отзыв о Евдокии Федоровне, впрочем, как и о Наталье Кирилловне Нарышкиной. О матери Петра он писал, что она была «править не канабель», что, «будучи принцессой доброго темпераменту, добродетельною, токмо не была прилежна и не искусна в делах и ума легкого». Евдокия же Федоровна, по отзыву Куракина, мало чем отличалась от свекрови: она была «принцессой лицом изрядною, токмо ума посреднего и нравом несходная к своему супругу». Куракин отметил, что любовь между Петром и супругою его «была изрядная, но продолжалась разве

только год».

Как оказалось, внешняя привлекательность не способна была долгое время вызывать любовь Петра, человека импульсивного, непоседливого. Евдокия воспитана была в старорусских традициях. Покорная, не способная воспринимать новизну, она тем более не годилась в помощницы своему энергичному супругу, человеку, несомненно, во всех отношениях выдающемуся. Вскоре Петр влюбился в дочь виноторговца Анну Монс, отличавшуюся от его жены многими свойствами натуры: она была умна, умела кокетничать, покорять сердца сильного пола, вести непринужденную беседу в мужском обществе.

Сохранилось несколько писем Евдокии к Петру и ни одного ответа на них Петра. Быть может, супруга в ярости уничтожила их, но с таким же основанием можно предположить, что ее письма попросту остались без ответа.

Первые два письма относятся к 1689 году, когда Петр, вскоре после свадьбы, отправился на Переславское озеро строить корабли. Они пронизаны нежностью, желанием страстной женщины быть рядом с супругом:

«Государю моему, радости, царю Петру Алексеевичю.

Здравствуй, свет мой, на множество лет! Просим милости: пожалуй, государь, буди не замешкав, а я при милости матушкиной жива. Женишка твоя Дунька челом бьет».

На просьбу «женишки Дуньки» Петр не откликнулся, остался на Переславском озере. Тогда супруга отправляет новую «цидулку» с просьбой разрешить ей самой приехать к нему:

«Лапушка мой, здравствуй на множества лет!

Да милости у тебя прошу: как ты поволешь ли мне х себе быть. А слышала я, что ты, муж мой, станешь кушать у Андрея Кривта; и ты пожалуй о том, лапушка м(уж) мой, отпиши. За сим писавы ж(ена) твоя челом бьет».

Следующие два письма относятся к значительно более позднему времени — 1694 году. В первом из них уже присутствуют тревожные нотки. Основания для нарушения спокойствия и уверенности в супружеской верности действительно имелись. Супруг зачастил в Немецкую слободу, где проводил время в обществе фаворитки Анны Монс. Ласковых выражений, употреблявшихся в первый год семейной жизни, в письмах 1694 года мы уже не встретим:

«Предражайшему моему государю, радости, царю Петру Алексеевичи).

Здравствуй, мой свет, на многие лета! Пожалуй, батюшка мой, не презри, свет мой, моего прощенья: отпиши, батюшка мой, ко мне о здоровье своем, чтоб мне, слыша о твоём здоровье, радоватца. А сестра твоя царевна Наталья Алексеевна в добром здоровье, а про нас изволишь милостию своею напаметовать, а я с Олешенькою (сыном Алексеем. — Н. П.) жива. Ж(ена) т(воя) Д(унька)».

В следующем — последнем из сохранившихся — письме царица уже не скрывает горести брошенной супруги. В письме упреки перемежаются с мольбами. Вместе с тем письмо свидетельствует об ограниченности Евдокии Федоровны, все еще неспособной понять, что ее семейному счастью наступил конец:

«Предражайшему моему государю, свету, радости царю Петру Алексеевичю.

Здравствуй, мой батюшка, на множество лет! Прошу у тебе, свет мой, милости: образуй меня, батюшка, отпиши, свет мой, о здоровье своем, чтобы мне бедной в печалех своих порадоватца. Как ты, свет мой, изволил пойтить, и ко мне не пожаловал — не описал о здоровье ни единой строчки; толко я бедная на свете бещасна, что не пожалуешь — не опишешь о здоровье, свет! Не презри, свет мой, моего прощенья. А сестра твоя царевна Наталья Алексеевна в добром здоровье, отпиши, радость моя, ко мне, как мне изволишь быть? А пра меня изволишь милостию своею спросить, и я с Олешанькой жива. Ж(ена) т(воя) Д(унька)».

А между тем рядом с Евдокией Федоровной подрастал сын Петра, его наследник, царевич Алексей.

Он родился через год с небольшим после брака, 16 февраля 1690 года, в 4-м часу ночи. Известно, что царь был очень обрадован рождением сына, принимал поздравления стрельцов Бутырского полка и через неделю дал великолепный фейерверк на Пресне. Еще через год и восемь месяцев, 5 октября 1691 года, у него родился второй сын, Александр, но он умер во младенчестве 14 мая 1692 года.

Любовь к супруге, как уже говорилось, сохранялась у Петра не более года, а затем начала катастрофически ослабевать, в особенности после смерти в 1694 году матери, удерживавшей сына в рамках приличия. «И к тому же непрестанная бытность его величества началась быть в Слободе Немецкой, так и по другим домам, особливо у Анны Монсовой». Сын же Петра Алексей все это время находился при матери и выпитывал в себя все, что вызывало у той неприязнь: враждебность к сопернице — Анне Монс, к Немецкой слободе и к иностранцам вообще, к отцу, проявлявшему нескрываемую симпатию ко всему, что не воспринимала мать. Ребенок рос

под противоположными влияниями, в нем постепенно формировалось стремление угодить обоим родителям, отчего в его характере возникали такие пороки, как лживость, лицемерие, двуличие.

В детские годы царевича отец проводил большую часть времени вне столицы, а следовательно, и вне семейного очага, и был озабочен то поездкой в Архангельск, то Кожуховскими маневрами, то двумя Азовскими походами, то наконец полуторагодовичным пребыванием в Голландии и Англии. В годы, предшествовавшие заграничному путешествию, Петр лишь эпизодически общался с сыном и с каждой встречей наблюдал усиливавшееся его отчуждение и страх перед отцом за суровую требовательность.

Невнимание отца к сыну объяснялось не только и не столько занятостью, сколько тем, что это был ребенок от нелюбимой супруги, успевшей внушить ему неприязненные чувства. Петр, вероятно, рассчитывал на второй брак и появление наследника, которого он намеревался воспитывать в духе, противоположном тому, который царил в закоснелом окружении Евдокии Федоровны. Ее двор был наполнен юродивыми, монахами, попами, карлами и карлицами, разделявшими умонастроение царицы.

Можно предположить, что редкие свидания отца с сыном не приносили радости ребенку, не сопровождались ласками, на которые не скупилась мать, готовая удовлетворить любой каприз наследника престола. Сам царевич впоследствии очень откровенно показывал: «Со младенчества моего несколько жил с мамою и с девками, где ничему иному не обучился кроме избных забав, а больше научился ханжить, к чему я и от природы склонен».

Вскоре после возвращения Петра из заграничного путешествия, в августе 1698 года, произошел окончательный разрыв между царем и его супругой. Петр еще ранее настаивал на ее добровольном пострижении в монахини, но царица упрячилась. 28 августа Евдокия была вызвана в Преображенское, в дом руководителя почтового ведомства А. А. Винуса. Беседа супругов продолжалась четыре часа. Можно представить, с каким накалом происходил этот разговор: щедрые обещания предоставления монахине всяких благ и привилегий чередовались с угрозами установить жесткий режим проживания в монастыре. Супруга оказалась непреклонной, заживо похоронив себя в монастырской келье она не согласилась, проявив недюжинную твердость. Тем не менее в сентябре Евдокия Лопухина была перевезена в Суздальский Покровский девичий монастырь и вскоре, против своей воли, пострижена в иноческий образ с

именем Елена. Так восьмилетний царевич Алексей оказался оторван от матери.

Забота Петра о сыне проявилась чуть ранее, когда царевич достиг шестилетнего возраста и надобно было обучать его грамоте. Отец подыскал учителя. Им оказался Никифор Константинович Вяземский — человек не шибко образованный, не располагавший способностью внушить к себе уважение, не владевший педагогическими навыками, но честно относившийся к своим обязанностям и справедливо считавший, что его знаний достаточно, чтобы научить наследника читать и писать. Как он доносил в весьма велеречивом послании царю 29 июля 1696 года, «за Божию благодатию, по твоему царскому желанию, сын твой благополучный великий государь царевич и великий князь Алексей Петрович... в немного ж времени совершенное литер и слогов по обычаю азбуки учит Часослов».

Знакомство с эпистолярным наследием Алексея Петровича и повинными сочинениями во время следствия убеждает в том, что Никифор Константинович достиг успехов в обучении своего ученика русскому языку: царевич писал грамотно, разборчивым почерком, умел излагать свои мысли. Но вот уважения к себе со стороны ученика Вяземский так и не вызвал: известно, что впоследствии царевич Алексей нередко бивал своего первого наставника.

Ограниченные возможности учителя Петр прекрасно понимал. Но он не располагал достойным наставником в России, а потому принял небывалое решение — отправить сына для обучения в Дрезден. Однако осуществить это намерение не удалось: в 1700 году началась Северная война, шведский король Карл XII одерживал одну победу за другой, и все пути выезда из России на Запад оказались отрезаны.

В подобной обстановке отправлять сына в Дрезден было крайне рискованно — он мог стать пленником шведского короля. Оставалась единственная возможность воспользоваться знаниями иностранных учителей — пригласить их на службу в Россию. Такая возможность представилась в 1702 году, когда на русскую службу поступил барон Генрих Гюйссен или, как его называли в России, барон Гизен. Он получил университетское образование и скитался по столицам Европы, продавая свои знания то австрийскому императору, то французскому, то датскому королям. В марте 1703 года Гюйссен получил предложение Петра стать наставником царевича Алексея.

Петр принял его лично и в присутствии царевича, а также вельмож (Меншикова, Головкина и др.) обратился к нему с такой речью: «Узнав о

ваших добрых качествах и вашем добром поведении, я вверяю вам единственного моего сына и наследника моего государства вашему надзору и воспитанию. Не мог я лучше изъявить вам мое уважение, как вверив вам залог благоденствия империи. Не мог я ни себе, ни моему государству сделать ничего лучшего, как воспитать моего преемника. Сам я не могу наблюдать за ним; вверяю его вам, зная, что не столько книги, сколько пример будет служить ему руководством».

Гюйссен отказался принять напрямую лестное для него предложение, но заявил, что готов стать помощником главного воспитателя, роль которого должен был выполнять Меншиков. Царь согласился.

Гюйссен составил план, которым намеревался руководствоваться при воспитании и обучении наследника. Он состоял из нескольких статей: в первой части были изложены принципы воспитания, во второй — образования царевича.

Гюйссен намеревался «его высочеству обще все внушения, мнения и правила вкоренять... прилежно учение главных добродетелей и властностей великого принца, яко суть страх Божий, ревность о справедливости, легкосердие, великодушие, сожаление, щедрость, постоянство в решениях, верность и веру держати, прозорливость и остерегательство в советах, внимание и прилежание в правительстве государственном, храбрости и тому подобным мужественным властностям споспешествовати и утверждати тщится». Воспитатель обязывался привить в наследнике «любовь к добродетелям» и утвердить «отвращение и мерзость ко всему, еже пред Богом и человеком злодетельно есть и злодеяние именуется»; того ради, убеждал он царя, «надлежит ему особливо его высочество от злого товарищества и от таких людей остерегати, которые чрез соблазнительные противно учтивству раторствующие нравы, виды и разговоры его высочество ко злодеяниям соблазнят и злой приклад подать могут». Напротив, надлежит сделать так, чтобы окружающие наследника люди «благо и добродетельно поступали» и «особливо, чтоб господские дети, которые при дворе его высочества суть, к доброй науке привержены были».

Образовательная программа предусматривала в первую очередь совершенствование в знании русского языка: «чтоб его высочество непрестанно в чтении и писании русского, яко сего государства, языка... и особливо в чтении всякого письма рук... обучен был». Также упор делался на овладении французским языком, как «легчайшим и потребнейшим» среди всех европейских языков. Предполагалось изучение географии и географических карт, на которых надлежало показывать

наследнику русского престола «особливо европейские королевства, земли и государства... и... чрез разговоры знаемость оных внушать, кому те земли принадлежат, какой народ в них живет, какие правила и обычаи в житии оные имеют, какие великие случаи и перемены в оных бывали и какой интерес или пользу Московское государство при оных имеет». Также «при забавных часах» царевича следовало обучить его употреблению циркуля, геометрии и арифметике. Воспитанник обязан был изучить знаменитое сочинение Самуила Пуффендорфа «О должности человека и гражданина», а также его же «Введение к истории европейских государств»; не забыто было и чтение французских газет, дабы царевич ориентировался в европейской политике. Надлежало иметь представление о политических делах во всем свете, прежде всего в пограничных государствах, уметь понимать, что полезно, а что вредно государству.

Важной отраслью обучения считалось овладение военными экзерцициями, а также изучение фортификации, артиллерии, наступательных и оборонительных действий. Если воспитанник проявит склонность к изучению архитектуры и навигации, то надлежало изучать и эти отрасли знаний.

Конечный итог двухлетнего обучения — доставить государю радость умением управлять государством.

Наставления Гюйссена легли в основу «Наказа», который был подписан Петром в качестве обязательной программы обучения царевича в Шлиссельбурге 22 апреля 1703 года. Сам Гюйссен был назначен обер-гофмейстером царевича с жалованьем в тысячу рублей.

Еще до назначения Гюйссена царь попытался приобщить царевича к военному делу. В 1703 году тот участвовал в должности солдата бомбардирской роты в овладении Ниеншанцем. Отец полагал, что сын должен пройти все ступени военной службы, начиная с самой низшей. В следующем, 1704 году царевич вместе с Гюйссеном принял участие в осаде Нарвы.

Если верить Гюйссену, то царь после овладения крепостью обратился к сыну с назидательной речью:

«Для того я взял тебя в поход, чтобы ты видел, что я не боюсь ни труда, ни опасности. Понеже я, как смертный человек, сегодня или завтра могу умереть, то ты должен убедиться, что мало радости получишь, если не будешь следовать моему примеру. Ты должен при твоих летах любить все, что содействует благу и чести отечества, верных советников и слуг, будут ли они чужие или свои, и не щадить никаких трудов для блага общего... Если ты, как я надеюсь, будешь следовать моему отеческому совету и

примешь правилом жизни страх Божий, справедливость и добродетель, над тобою всегда будет благословение Божие. Но если мои советы разнесет ветер и ты не захочешь делать того, что я желаю, я не признаю тебя своим сыном: я буду молить Бога, чтобы он тебя наказал в сей и будущей жизни».

Царевич со слезами на глазах будто бы схватил руки государя, целовал и жал их с горячностью и сказал в ответ: «Всемиловейший государь батюшка! Я еще слишком молод и делаю, что могу. Но уверяю ваше величество, что я, как покорный сын, буду всеми силами стараться подражать вашим деяниям и примеру. Боже, сохрани вас на многие годы в постоянном здравии, чтобы я еще долго мог радоваться столь знаменитым родителем».

Н. Г. Устрялов, опубликовавший этот черновик записки Гюйсена, датирует ее 1703–1704 годами. Однако есть основание подозревать, что записка была составлена значительно позже, после трагической смерти царевича, — она слишком перекликается с содержанием писем Петра царевичу 1715–1716 годов. Сомнительно также, чтобы четырнадцатилетний отрок способен был произнести столь зрелую речь.

Исполнение Гюйссеном должности помощника главного наставника царевича продлилось чуть больше полутора лет и было прервано — в начале 1705 года царь отправил его в Германию с различными дипломатическими поручениями: присутствовать от имени царя, занятого на театре военных действий, на похоронах прусского короля, вручить в Вене царскую грамоту цесарю Иосифу I по случаю восшествия его на престол, предложить от имени Петра польскую корону Евгению Савойскому, склонить князя Ракоци покориться цесарю.

Помимо поручений дипломатического характера Гюйссену надлежало выполнить еще два деликатных задания. Сыну шел пятнадцатый год, и отец считал, что пришло время позаботиться о подыскании ему достойной невесты. Поскольку Петр взял за правило оказывать свое влияние на европейские дела, используя для этой цели установление родственных отношений с представителями иностранных дворов, то и сыну он решил подыскать иноземную спутницу жизни. Присмотреть невесту должны были Гюйссен и находившийся на русской службе барон Урбих.

Вторая, не менее важная и столь же деликатная задача, возложенная на Гюйсена, состояла в разоблачении клеветнических измышлений о России, сочиненных Нейгебауером — предшественником Гюйсена на должности наставника царевича. Прибыв в Россию, высокомерный Нейгебауер презрительно отнесся к русскому окружению царевича, в том числе и к учителю Вяземскому. Кроме того, он претендовал на должность главного

наставника, которую занимал Меншиков. В итоге Нейгебауер был отстранен от должности, выдворен из России и за рубежом распространял свои сочинения о неприязненном отношении русских к иностранцам, убеждал последних воздерживаться от вступления на русскую службу. Между тем в 1703 году Петр обнародовал манифест, призывавший иностранных специалистов, военных и гражданских, приезжать в Россию. Задача Гюйсена состояла в том, чтобы опровергнуть измышления Нейгебауера.

С отъездом Гюйсена в Германию занятия царевича прекратились — царю не удалось найти ему замену. (Гюйссен возвратился в Россию только в октябре 1708 года.) Наследник был предоставлен самому себе. Сохранились лишь сведения о том, что он успешно овладевал токарным делом. Токарных дел мастер Людвик де Шепер доносил царю 22 октября 1705 года из Москвы: «Его высочество государь-царевич многократно в доме моем был и зело уже изрядно точить изволит, и кажется, что он великую охоту к сему имеет».

Царевич жил в Москве, главным образом в Преображенском, получая на содержание 12 тысяч рублей. Он по-прежнему проводил время в праздности, занимаясь лишь комнатными играми и детскими забавами. Его главный наставник Меншиков пребывал в недавно основанном Петербурге, а самому Петру было и вовсе не до воспитания сына. Решалась судьба России — в Астрахани взбунтовались стрельцы, вслед за ними вспыхнуло восстание на Дону, но главная опасность, грозившая России утратой суверенитета, исходила от шведского короля, готовившегося к вторжению на ее территорию. Петр энергично готовился к отпору неприятеля, отдавая все силы повышению боеспособности армии, увеличению ее численности, обеспечению ее снаряжением и продовольствием.

В сложившейся ситуации Петр решил использовать наследника в качестве своего помощника, приобщить его к участию в делах, ему посильных.

Здесь мы должны отметить одну существенную особенность: со времени участия царевича в военных операциях при овладении Ниеншанцем и Нарвой (1703–1704 годы) отец не давал ему поручений, связанных с походной жизнью и боевыми действиями. Надо полагать, что он руководствовался интересами государства: не обладавший богатырским здоровьем царевич мог не вынести тягот походной жизни и прихватить болячку, способную увести его в могилу. Еще большую опасность таило в себе пребывание наследника на театре военных действий, где шальная пуля могла лишить его жизни, вызвав смуту в государстве после смерти отца.

Руководствуясь этими соображениями, Петр берег наследника, обременяя его поручениями, выполняемыми вдали от фронта, в глубоком тылу, — царевич не участвовал не только в решавших исход войны сражениях у Лесной и под Полтавой, но и в мелких стычках. Не взял царь наследника и в Прутский поход.

Первое поручение царевич получил в 1707 году. Петр вызвал сына в Жолкву (в Галиции, верстах в тридцати от Львова), где тогда находился, и изъявил ему гнев за тайное посещение матери, о чем царя известила его сестра Наталья Алексеевна. Алексей был послан в Смоленск, где ему было велено заготавливать для армии провиант и фураж, а также осуществлять набор рекрутов. Здесь царевич пробыл около пяти месяцев, до 21 сентября.

Изменения в отношениях между отцом и сыном можно проследить по письмам сына к отцу. Отличительная особенность писем, отправленных в 1703–1706 годах, состояла в бедности и стереотипности их содержания: формуляр их заимствован из переписки XVII века, когда автор письма ограничивался главным образом тем, что просил адресата известить его о своем «здравии». Первое письмо, отправленное из Преображенского 25 августа 1703 года, звучало так: «Прошу у тебя, государя моего, милости, прикажи отписать о своем здравии, писанием посетить мне во обрадование».

Письмо, отправленное из того же Преображенского почти три с половиной года спустя, 12 декабря 1706 года, содержит ту же просьбу: «Пожалуй, государь, прикажи меня писанием посетить о своем здравии». Лишь письмо царевича от 21 августа отстывает от стереотипа и содержит конкретную информацию: «Известую тебе, государь, приехал я к Москве августа 19 день, и доктор был у меня, видел и хотел лечить».

Некоторое разнообразие можно обнаружить и в заключительных фразах посланий. В первых двух письмах подпись выглядела так: «Сынишка твой Алексей благословения твоего прошу и поклонения приношу». В последующих письмах уменьшительное «сынишка твой» — видимо, по требованию отца — заменено словами: «сын твой». Текст подписи отличался разнообразием. Здесь встречаются: «Сын твой Алексей, благословения твоего прошу и всепокорно кланяюсь»; в других посланиях «всепокорно кланяюсь» заменено «кланяюсь всеусердно», «благословения твоего прошу».

Письма царевича последующих десяти лет (1707–1716) коренным образом отличаются от писем предшествующего времени. Они носят деловой характер; по их содержанию можно проследить степень усердия царевича при выполнении полученного задания, а также узнать о

достигнутых результатах. Так, получив задание заготавливать провиант и фураж, царевич счел необходимым известить отца, что он прибыл в Смоленск 15 мая и в тот же день приступил к осмотру наличных запасов продовольствия и фуража. Оказалось, что недостает 70 тысяч четвертей зерна и 22 830 четвертей муки и сухарей. Сообщая в деталях о своих действиях, сын стремился показать отцу, сколь усердно он взялся за дело.

Глубже ознакомившись с обстановкой, царевич убедился, что Смоленский уезд не в состоянии обеспечить заготовку недостающего провианта и фуража, и в донесении от 20 мая предложил обширный список уездных городов, где их надлежало собирать. В числе городов значились отдаленные от Смоленска Ярославль, Переславль-Рязанский (нынешняя Рязань), Калуга и др.

26 мая 1707 года Алексей Нарышкин извещал Якова Игнатьева, что царевич в Смоленске определенное ему дело управлять начал «изрядно». Однако результаты «изрядного» управления оказались весьма скромными: спустя почти месяц, 19 июня, Нарышкин сообщал тому же корреспонденту, что «явилось привозу овса и сухарей четвертей с 20, а больше... привозу ниоткуда нет».

Скромные результаты заготовителей понятны — в мае-июне запасы фуража и сена были на исходе, а новому урожаю не пришло время. Лишь в конце сентября было собрано всякого хлеба 98 тысяч четвертей и сена свыше 500 тысяч пудов.

Набор рекрутов, который тоже был поручен царевичу, происходил менее успешно. Ему надлежало поставить в 1707 году 3018 рекрутов, а к 31 мая было поставлено только 308. Впереди было еще много месяцев, чтобы справиться с поручением, однако царевич заболел, и отец проявил заботу о нем, повелев доктору Блюментросту отправиться в Смоленск, чтобы оказать больному помощь. 16 июля 1707 года наследник извещал отца: «Доктор Блюментрост приехал ко мне в 14 день июля в Смоленск, за что всеусердно благодарствую и желаю, дабы не оставлен был я писанием от тебя, государя».

В том же году отец еще раз проявил заботу о сыне. Царевич получил повеление ехать из Смоленска в Борисов через Минск. Узнав, что по пути сына подстерегала опасность оказаться в неприятельском плену, Петр отправил Меншикову указ об изменении маршрута: «Буде... поехал из Смоленска и не доехал до Минска, воротится в Смоленск, а будет проехал Минск, поворотится в Минск». 29 августа 1707 года Алексей Петрович отправил письмо отцу, где сообщил, что действовал в соответствии с полученным предписанием: «...И я по тому письму поехал в Смоленск сего

же числа и буду ожидать впредь указу и управлять определенное мне дело». Вернувшись в Смоленск, царевич продолжал заготавливать провиант и набирать рекрутов, а также заготавливать сено.

Надо полагать, отец остался в целом доволен деятельностью сына в Смоленске. Во всяком случае, претензий к нему он не предъявлял.

Нового поручения царевичу довелось ожидать недолго. Уже в октябре 1707 года он получил более ответственное задание. К этому времени Петру стало известно, что Карл XII двинулся из Саксонии на восток и уже находится близ границ России. Царю были неизвестны планы короля, не знал он и того, куда тот направит свою победоносную армию — на север овладеть Петербургом и территориями, отвоеванными у шведов, или на восток, к Москве. Царь склонен был считать, что король двинется на Москву, чтобы овладеть столицей государства и продиктовать там выгодные для себя условия мира. В таком случае течение Невы и Петербург окажутся в руках шведов без единого выстрела.

В этих условиях Петр отправил сына в Москву. Ему было поручено надзирать за укреплением Кремля, готовить Москву к возможной осаде, собирать в городе солдат и казаков, а также присутствовать в канцелярии министров.

24 октября царевич доносил отцу: «Приехал я к Москве октября в 24 день в ночи, а на утро осмотра фартецию кругом Китая от приказа Артиллерии до стены в Васильевском саду». Далее сын извещал о том, что уже сделано и что надлежит сделать в будущем: «Гварнизон с сего числа стану смотреть и что явится, буду писать к тебе, государю».

3 января 1708 года Петр подписал «Статьи», представленные царевичем. В них определялись его обязанности по приведению в надлежащий порядок обветшалых укреплений столицы:

«1. Фортецию Московскую надлежит, где не сомкнута, сомкнуть; буде не успеют совсем, хотя борствером и палисадами: понеже сие время опаснейшее суть ото всего года.

2. Гварнизон исправить, таже и конных: понеже настоящее время сего зело требует.

3. Всем здешним жителям сказать, чтоб в нужном случае готовы были все и с людьми, как же указ дан, под казнию.

4. Надлежит (министрам. — *Н. П.*) три дни в неделю съезжаться, хотя и нужных дел нет, в канцелярию в Верх, и все дела, которые определяют, подписывать своими руками каждому.

5. Зело б изрядно было, чтоб, кроме гварнизона, несколько полков пехотных сделать и обучать для всякого нужного дела. Также из недорослей

и которые кроются сыскать человек триста или пятьсот и обучать оных для того, чтобы из оных впредь выбирать в офицеры».

На этом документе Петр собственноручно начертил: «По сему чинить конечно неотложно».

Не будучи уверенным в том, что сын вполне оценил нависшую над столицей угрозу, Петр еще раз, 17 января, напомнил о важности поручения: «Как я при отъезде своем вам "Статьи" даны, на которые и ныне подтверждаю, дабы конечно оные исправлены были, чего на тебе спрошу, а буде тебя в чем не слушают, пиши».

Незамедлительно последовали ответы сына на повеления отца, причем в каждом случае он не забывал напомнить о своем усердии.

16 января 1708 года донесение о выполнении повеления: «Известую тебе, государю: по вся недели три дни съезжаются министры в канцелярию в Верх и что определяют, все подписывают своими руками, и что сделано и подписано, и с того копия послана з господином адмиралом к тебе, государю».

Ответ царевича на повеление отца от 17 января, требовавшее от наследника организации новых полков и привлечения на службу недорослей, тоже не должен был вызывать тревоги у царя. Его Алексей отправил 27 января: «Письмо твое, государь, получил вчера, за что всеусердно благодарствую, чего и впредь желаю. И по тому письму исполнять буду всею силою, а чтоб сделать пять полков, и то каким возможно образом набирать буду. А об офицерах указ сказан прежде сего письма за неделю, чтоб все офицеры, которые кроются, и недоросли все являлись мне. И ныне я по указу твоему пошлю добрых людей с салдаты и стану их искать, а каво не сыщу, велю деревни отписывать вовсе».

Ремонт Кремля и сооружение новых укреплений требовали инженерной подготовки, которой царевич, конечно, не располагал. Его роль была лишь номинальной. Составлением проектов и их реализацией на самом деле руководил опытный инженер Корчмин и восемь вельмож, отвечавших каждый за отведенные им участки. С них Петр и спрашивал по-настоящему.

Тем не менее помимо укрепления Москвы, формирования полков и обучения недорослей Петр взвалил на плечи царевича еще несколько важных заданий. Так, он назначил сына ответственным за подавление Булавинского восстания. Сам царь в это время находился в ожидании вторжения шведского короля на западных границах. Поручение, несомненно, также носило номинальный характер, ибо руководить карательными операциями из Москвы, тем более человеку, не

компетентному в военном деле, было невозможно. Царевич получал донесения и грамоты от воевод, посланных на подавление булавинского бунта, и тотчас по прочтении их в ближней канцелярии отсылал отцу. Практически общее руководство подавлением движения на Дону осуществлял сам Петр. Лишь иногда он пользовался услугами сына. Так, 12 апреля Петр велел царевичу отправить один из созданных им полков в Тамбов и Козлов для участия в подавлении восстания.

В сражении, состоявшемся под Тором, булавинцы потерпели сокрушительное поражение, о чем командовавший карательным войском князь В. В. Долгорукий донес царевичу, а последний — отцу. Петр поблагодарил сына за «уведомление добрых вестей», но тут же упрекнул за упущения карателей: «Только зело мне противно то, что по получении такой победы над ворами возвратилися назад, а зело надлежит по победе аванжировать». Царь велел разорять городки на Дону.

Второе поручение царевичу состояло в нейтрализации пропагандистских усилий неприятеля, распространявшего на территории России враждебные ей листовки. Если таковые появятся в Москве, то их поручалось уничтожать, а распространителей их ловить. Появились ли в Москве листовки и лазутчики, их распространявшие, — неизвестно, как неизвестна непосредственная роль царевича в укреплении морального духа защитников города.

Еще одно поручение на первый взгляд кажется странным, поскольку оно должно было адресоваться Посольскому приказу. Недоумения исчезнут, если учесть, что указ, подлежавший исполнению всеми приказами, мог обнародовать только царевич, исполнявший в отсутствие царя в Москве обязанность главы правительства.

Суть дела состояла в том, что от иностранных дипломатов поступали жалобы на притеснения, чинимые различными приказами сотрудникам посольств. Указ царевича от 11 сентября 1709 года обязывал всех начальных людей приказов, чтобы они «приказали подчиненным своим накрепко, чтоб никакого бесчестия посланникам отнюдь не дерзали чинить и к их особам не прикасались, и естли с кем люди их задерутца и привезут их в которой приказ, то б оных, нимало не держав, отсылали в Посольский приказ».

В эти годы царевич возобновил свое обучение, прерванное с отъездом Гюйссена из России. Если исходить из крайне редких донесений Вяземского царю, то можно сделать вывод о крайне скромных успехах, которых добился на этом поприще царевич Алексей. В январе 1708 года Вяземский извещал Петра, что царевич начал учиться «немецкого языка

чтением истории, писать и атласа росказанием»; по расчетам специально приставленного к нему учителя, «недели две будем твердить одного немецкого языка, чтобы склонениям в твердость было, и потом будет учить французского языка и арифметики». В это время Алексей отвечал за ремонт старых и сооружение новых укреплений в Москве и вокруг нее, и Вяземский докладывал царю, что обучение идет не в ущерб порученному царевичу делу: три дня в неделю царевич «ездит и по пунктам городское и прочие дела управляет, а учение бывает по вся дни». 17 марта последовало еще одно извещение Вяземского: «Сын твой, государь, во учении и цифири четыре части имеет в твердости и в сем еще обретается по вся дни». Показательно, что четыре действия арифметики царевич начал изучать с большим опозданием, в 18-летнем возрасте; ясно, что в предшествующие годы овладение знаниями велось через пень-колоду. 16 ноября того же года Вяземский доносил: царевич все еще «во учении немецкого языка, и ныне начал к тому учиться по-французски». Надо сказать, что немецким языком царевич владел совершенно свободно, отчасти владел и французским.

Петр проявлял заботу о сыне. В январе 1709 года царевич повел из Москвы на Украину пять собранных им полков. На пути, вероятно, от лютого холода, какого никто в тех местах не помнил, он простудился и впал в жестокую лихорадку. Болезнь была так опасна, что царь несколько дней не решался выехать из Сум. С 30 января Алексей начал поправляться, и Петр смог отправиться в Воронеж, оставив при сыне своего доктора Донеля. К середине февраля царевич выздоровел окончательно и также поехал в Воронеж, где присутствовал при спуске на воду двух кораблей. Затем, попрощавшись с отцом, он возвратился в Москву. Здесь его занятия продолжились; преимущественно царевич занимался фортификацией под руководством иностранного инженера, рекомендованного ему Гюйссеном.

Конфликт между отцом и сыном назревал постепенно. Поначалу Петр не высказывал серьезных претензий к сыну, хотя и ставил ему в укор, что он не отдается «со всей силой», как того требует дело, выполнению поручений. В письмах 1708 года уже сквозит недовольство нерасторопными действиями Алексея. Вскоре представился случай убедиться в том, что сын проявлял к поручениям полное равнодушие. Царевич прислал в Преображенский полк, командовал которым сам царь, малопригодных к службе рекрутов. Это вызвало гнев полковника. Петр проявлял снисхождение к ошибкам, но не прощал промахов, порожденных отсутствием прилежания и должной ответственности за порученное дело. «Я зело недоволен присылкою в наш полк рекрутов, которые и в другие полки не все годятся, — писал отец сыну, — из чего вижу, что ты ныне

больше за бездельем ходишь, нежели дела по сей так нужный час смотришь».

Упрек был совершенно справедливым. Сам царевич позднее вспоминал об этом времени так: «А когда уже было мне приказано в Москве государственное правление в отсутствие отца моего, тогда я, получа свою волю (хотя я и знал, что мне отец мой то правление вручил, приводя меня по себе к наследству), а я в большие забавы с попами и чернецами и с другими людьми впал».

Это признание царевич сделал десять лет спустя во время следствия, а в тот день, когда прочитал гневные слова Петра, он вел себя по-иному. Его поступками руководили страх быть наказанным и стремление оправдаться любыми средствами. «А что ты, государь, изволишь писать, что присланные 300 рекрутов не все годятся и что не с прилежанием врученные мне дела делаю, — писал он в ответ царю, — и о сем некто тебе, государю, на меня солгал, в чем я имею великую печаль». Далее следуют слова, рассчитанные на то, чтобы разжалобить отца: «И истинно, государь, сколько силы моей есть и ума, врученные мои дела с прилежанием делаю. А вокруг в то время лучше не мог вскоре найти, а ты изволил, чтоб прислать их вскоре».

Царевич сделал для себя вывод, что следует проявлять осторожность, но ни он, ни его друзья-собутельники не могли установить, кого надо остерегаться, кто сообщает царю о поведении сына. Попробовал царевич обратиться к кабинет-секретарю Петра I А. В. Макарову, пользовавшемуся полным доверием царя: «Алексей Васильевич! Пожалуй, отпиши ко мне, доведаясь, какой и за что на меня есть государя-батюшки гнев, что изволит писать, что будто я, оставя дела, хожу за бездельем, отчего ныне я в великой печали». Ответа не последовало, или же он затерялся. Тогда Алексей Петрович обратился к сердобольной мачехе, стремившейся угождать всем, в том числе и пасынку: между ними велась оживленная переписка, что свидетельствует о добрых отношениях. Письмо царевича Екатерине Алексеевне и ее наперснице, «тетке» А. К. Толстой, выдержано в тех же самых выражениях, что и письмо Макарову: «Прошу вас, пожалуйста, осведомясь, отпишите, за что на меня есть государя-батюшки гнев: понеже изволит писать, что я, оставя дело, хожу за бездельем; отчего ныне я в великом сумнении и печали. О сем, пожалуйста, не умедля отпишите, в чем бы я мог быть известен».

Екатерина Алексеевна взялась уладить конфликт и добилась успеха. 19 декабря 1708 года Петр отправил миролюбивый ответ на письмо сына, написанное в конце ноября: «Пишешь, что рекрутов в то число добрых не

было и для того таких послал; и когда б о том ты так отписал тогда, то б я сердит на тебя не был».

Сохранилось письмо царевича к Екатерине Алексеевне, датированное также декабрем 1708 года: «За вашу ко мне явленную любовь благодарствую всеусердно и впредь прошу, пожалуй, не остави меня в каких прилучившихся случаях, в чем надеюсь на вашу милость». Не подлежит сомнению, что царевич благодарит мачеху не за что иное, как за примирение с отцом.

С небольшой долей риска можно утверждать, что именно во время пребывания царевича в Москве окончательно сложился кружок близких к нему людей, который он, подражая отцу, называл «компанией». В Москве царевич располагал довольно обширными властными полномочиями, и продолжительное время его жизнь протекала без какого-либо контроля со стороны отца и главного наставника Меншикова; последний, как и Петр, всецело был занят войной. На первых порах в состав «компаний» входили родственники царевича по матери, получившие доступ ко дворцу благодаря ее протекции, а также люди, окружавшие царевича с детства.

«Компания» сына коренным образом отличалась от «компаний» отца. Петр формировал свое ближайшее окружение из деловых и талантливых людей, помогавших ему побеждать неприятеля и одновременно активно участвовавших в преобразованиях, занимавших высокие должности на государственной службе. «Компания» царевича состояла из людей не чиновных, не занимавших государственных постов и убивавших время в безделье и попойках. Все они выступали не в роли участников происходивших в стране грандиозных по значению событий, а в роли их пассивных наблюдателей, причем наблюдателей зачастую враждебных.

У Петра I, как известно, имелись две «компании». Одну возглавлял «князь-папа»; она была укомплектована соратниками царя, выдающимися государственными деятелями, отличавшимися как энергией, так и интеллектом. Другая «компания», так называемый «всепьянейший собор», комплектовалась из уродов, обжор, отпетых пьяниц, не обремененных никакими поручениями государственного значения. Прославилась она лишь своими вылазками во время Святков: носясь по ухабистым улицам Москвы в санях или телегах, запряженных свиньями, козлами, овцами, собаками, ее участники появлялись непрошеными гостями в домах вельмож и богатых горожан, требуя от них напитков и закусок.

«Компания» царевича хотя и не имела в своем составе уродов и не совершала вылазок, наводивших панику в столице, но веселиться за столом любила. Она в большей мере напоминала «всепьянейший собор», чем игру

в «князь-папу».

О большинстве членов «компании» писать нечего — это безликая масса людей, среди которых почти не просматриваются более или менее неординарные личности. Лишь немногие заслуживают того, чтобы сказать о них несколько слов.

Прежде всего, это духовник царевича протопоп Яков Игнатъев. Сферу его деятельности можно назвать интеллектуальной. Этот властный человек отличался начитанностью, красноречием, умением внушать свои мысли собеседнику.

Недаром круг его знакомых и почитателей выходил за рамки членов «компании» царевича и простирался на представителей самых разнообразных слоев общества. Среди его корреспондентов встречаем канцлера Гавриила Ивановича Головкина, архимандрита Досифея, священника Терентия Карпова, певчего Прокофия Ярославцева и др.

Помимо властного характера Яков Игнатъев обладал дарованием превосходного психолога. Он быстро уловил слабые свойства натуры своего подопечного: знал, когда в полной мере можно использовать власть, а когда надобно проявить снисходительность, ласку. Яков Игнатъев полностью подчинил себе царевича, добившись от него беспрекословного повиновения во всем, — царевич дал письменное обязательство «во всем слушать и покоряться». Но покорность достигалась не грубым давлением, а внушением, авторитетом, разумными советами наставника. Короче, духовник стал сокровенным другом царевича, от которого у него не было тайн. 27 апреля 1711 года царевич писал ему из Варшавы: «Самим истинным Богом засвидетельствую, что не имею во всей России такого друга и скорби о разлучении, кроме вас». А далее следовали слова, совершенно непристойные для наследника русского престола, даже если они были написаны в состоянии сильного душевного волнения: «...Аще бы вам переселение от здешних к будущему случилось (то есть смерть. — *Н. П.*), то уже мне весьма в Российское государство не желательно возвращение». Так высоко ценил Алексей Петрович дружбу с духовником и так низко оценивал свою привязанность к стране, которой ему предстояло управлять.

Однако что более всего поражает в переписке Якова Игнатъева, да и вообще всей «компании» царевича Алексея, так это отсутствие в ней всякой информации о происходивших в стране бурных событиях. Когда читаешь их письма, то создается впечатление, что в России в те годы не происходило ничего особенного: текла спокойная жизнь, без всяких потрясений, о которой нечего было и сообщить, ибо она была одинаково

бесцветной как в столице, так и в глубокой провинции. В письмах своих корреспондентов ни Яков Игнатьев, ни царевич Алексей не могли обнаружить сведений ни о победах на театре военных действий, ни о появлении в основанном Петром Санкт-Петербурге торговых кораблей, ни о новых учебных заведениях, ни о появлении новых промышленных предприятий. Это можно объяснить либо враждебным отношением окружения царевича к новшествам, либо узостью кругозора окружавших его людей, а скорее всего — и тем и другим.

Содержание писем царевича к духовнику, как, впрочем, и к другим лицам, убеждает, сколь мелки были интересы Алексея и его приближенных. Речь идет почти исключительно о пирушках и попойках.

В письме от 11 марта 1707 года царевич писал из Жолквы в Москву членам «компании»: «Пожалуйте, повеселитесь духовно и телеснее и в письме отпишите». В другом письме из Смоленска он же наставлял «компанию», как надо веселиться: «А мы вчера повеселились изрядно, отец мой духовный Чиж чуть жив отшел до дому, поддержим сыном; также и протчие поджарились». В третьем письме, отправленном в 1711 году, уже после отъезда за границу, из Вольфенбюттеля: «Веселились духовно и телесно и про ваше здоровье пьем — не по-немецки, но по-русски». В другой раз: «И мы по-московски пьем в поминанье прежде бывших с вами благ».

Впрочем, порой царевич проявлял любопытство к событиям, происходившим в стране, — но лишь к тому, что могло изменить его собственное положение и, по его мнению, приблизить его вступление на престол. Его не интересовали ни успехи в войне, ни преобразовательные начинания отца во внешнеполитической, хозяйственной, административной сферах. Внимание царевича было приковано к новостям, порою недостоверным, но свидетельствующим о недовольстве подданных правлением отца: чем хуже шли дела в России, чем больше невзгод приходилось на долю Петра, тем лучше было для него, сына и наследника престола.

Так, особый интерес царевича вызвало событие, связанное с указом Петра о введении в стране института фискалов во главе с обер-фискалом Нестеровым. Учреждая в 1711 году эту должность, царь надеялся при помощи фискалов одолеть такие пороки русской действительности, как взяточничество и казнокрадство, причем из личной неприязни или пользуясь непроверенными слухами, фискал мог оклеветать любого подданного и за неправый донос не нес никакой ответственности. Это вызывало возмущение прежде всего купцов, подрядчиков, чиновников, а

также сенаторов, чья канцелярия была завалена правыми и неправыми доносами, подлежащими разбирательству.

Рязанский митрополит Стефан Яворский, местоблюститель патриаршего престола, осмелился выступить в 1712 году с проповедью в Успенском соборе Кремля с критикой указа, узаконившего полный произвол фискалов. Под свое выступление митрополит подвел теоретическую базу: «Закон Господень непорочен, а законы человеческие бывают порочны». Далее митрополит обрушился на пункт указа, освобождавший фискала от наказания за ложный донос: «А какой ми то закон, например: поставите назирателя над судами и дати ему волю, кого хочет обличити, да обличит, кого хочет обесчестити, да обесчестит, поклеп сложить на ближнего судию, вольно то ему; а хотя того не доведет (не докажет. — *Н. П.*), о чем на ближнего своего клеветает, то за вину не ставить, о том ему и слова не говорить: вольно то ему. Не тако подобает сему быти: искал он моей главы, поклеп на меня сложил, а не довел, пусть положит свою голову; сеть мне скрыл, пусть сам ввязнет в узкую; ров мне ископал, пусть сам впадет в он, сын погибельный, чужою бо мерою мерите. А то какова слова ему ни говорити, запинаят за бесчестие. А какой же закон порочен или непорочен, рассуждайте вы: я о законе Господне глаголю».

По существу митрополит высказал верную мысль, но у Петра проповедь вызвала гнев — как посмел подданный, даже если он занимал должность местоблюстителя патриаршего престола, выступать с критикой действий абсолютного монарха?!

Когда митрополит узнал, что оказался в царской немилости, он понял, что допустил оплошность, и обратился с письмом к царю. Не вдаваясь в опровержение обвинений Сената в том, что в проповеди наличествовала мысль о неповиновении указу, митрополит ограничился одной фразой: «Ниже в помышлении моем, кольми паче в намерении такого лукавого дела (призыва к бунту. — *Н. П.*) я и не думал». Далее владыка перечислил свои заслуги: «Уже тринадцать лет, как в царствующем граде по вашему монаршему указу проповеданием слова Божия труждаюся, и вся Москва меня слушала, да и сам ваше царское величество изволили слушать моей убогой беседы».

Опала была кратковременной — царь умел признавать свои ошибки и в следующем году издал указ в духе предложения митрополита: за донос, который фискалу не удалось доказать, ему грозило такое же наказание, как и обвиняемому, если его вина была доказана. Таким образом, на деле казус с митрополитом вовсе не свидетельствовал о каком-либо бунте духовенства.

Тем не менее царевич, по-видимому, расценил его именно так. Получив известие о том, что сенаторы сочли проповедь Стефана Яворского призывом к бунту и мятежу, он, забыв об осторожности, отважился на рискованный шаг — отправил духовнику письмо с просьбой доставить ему текст проповеди: «Прошу, изволь то казанье (буде напечатано), что Рязанский в новый год сказывал, прислать с Даудовым (денщиком царевича. — *Н. П.*)»^[3]. А в другом письме просил сообщить о дальнейшей судьбе митрополита.

В том же году в Дрездене прошел слух о смерти Меншикова, с которым царевич был не в ладах. Это известие тоже обнадежило Алексея — одним противником, готовым в случае смерти отца создать препятствия на его пути к престолу, стало меньше. Алексей проверяет достоверность слуха специальным письмом, причем просит прислать зашифрованный ответ с самым надежным курьером: «Есть ведомость здесь, что князь Меншиков погиге, только мы не имеем подлинной ведомости. О сем, буде у вас есть, напишите сею азбукою (шифром — *Н. П.*)». Слух, однако, оказался ложным; видимо, он возник в связи с обильным выделением крови из легких у светлейшего, происшедшим именно в 1711 году

Переписываясь с духовником, царевич нередко прибегал к эзопову языку, понятному лишь его корреспонденту. В одном из писем царевич просит духовника не отвечать ему, но помолиться, «для того, что сам изволишь ведать... чтобы скорее совершилось, а чаю, что не умедлится». В другой раз царевич писал, что он и его друзья, находясь в Смоленске, молят Бога, «дабы нам скоровременно вся желаемая благая чрез свое заступление даровали». Ясно, что царевич ожидал каких-то значительных перемен, но не известно, с чем эти перемены были связаны, за что надлежало молиться и что подразумевалось под «вся благая». Смысл некоторых писем Алексея не удастся уяснить и сейчас. Однако встречающиеся в них приписки вроде, «чтоб сие было тайно» или «как мочно тайно делать» свидетельствуют о стремлении скрыть от посторонних глаз, и прежде всего от отца как собственные поступки, так и действия своей «компанией»^[4].

Беспрекословное повиновение царевича духовнику продолжалось, вероятно, до 1713–1714 годов, когда между ними произошла серьезная размолвка. Царевич, ранее считавший духовного наставника безгрешным, обнаружил в нем пороки, узнал о каких-то поступках, недостойных пастыря. Яков Игнатьев предпринял попытку восстановить прежнее влияние и отправил царевичу одно за другим четыре письма, из которых наибольший интерес представляет первое: оно превосходит остальные как

размерами, так и содержанием.

Письмо начинается упреками в адрес духовного чада за то, что тот не выполняет данные ему, духовнику, обещания: «мене, отца своего духовного, почитати и за ангела Божия и за апостола имети, и за судию дел свои». «Ныне же, господин мой, — укорял духовник царевича, — все ты обещание свое уничтожил, игру или глумление вменил быти: имеши мя не за ангела Божия, и не за апостола Христова, и не за судию дел твоих, но, забыв свое обещание, сам мене судити, называешь мя во твоём ныне ко мне писании любострастна, лживца, неправедна чужим грехах потакателя и прорицаеши мне от золотые решетки, что наверху у Спаса, на низ падение...» Более того, оказывается, что царевич позволял себе не только причинять обиды своему духовнику, но и избивать его: «А и во прежде бывшие прошедшие времена и годы, егда присутствующему благородию твоему в Москве, многократно ты мене ругал и всячески озлоблял, а в некоем доме и за бороду мене драл...» «А превысочество твое не точию тяжко въздыхати нам учинил, но и плач многий в домишко наш водворил».

Письмо дает основание для суждения о политических взглядах духовника — он придерживался учения патриарха Никона о превосходстве священства над царством: он, хотя «и грешен есть, но такову же имею власть священства от Бога мне недостойному дарованную, и ею могу вязати и решите, какову власть даровал Христос апостолу Петру и прочим апостолам». Надо полагать, что чрезмерная опека духовника опостылела царевичу, и, повзрослев, он решил освободиться от нее.

Что же касается побоев и «дирания» за бороду, то данный случай — отнюдь не исключение. Вспомним, что еще большим истязаниям царевич подвергал своего учителя Никифора Константиновича Вяземского: во время следствия тот жаловался, что царевич его не только драл за волосы, но и бил палкою. Более того, в Дрездене царевич изгнал Вяземского со двора; у учителя не было ни копейки денег, не знал он и немецкого языка, и если бы за него не заступился Меншиков, то его ожидала бы тяжкая участь: заниматься попрошайничеством или умереть от голода. В 1712 году под Штеттином царевич хотел прибить своего учителя до смерти, чему имелись свидетели, а некоего певчего, Дмитрия Сибиряка, злясь на Вяземского, повалил, топтал ногами и избил до крови.

Как видим, лень и безволие причудливо сочетались у царевича с жестокостью. Отец был прав, когда, обращаясь к сыну, писал: «Какова злого нрава и упрямого ты исполнен!»

И все же слабовольная натура царевича нуждалась в опеке, в услугах человека, способного дать разумный совет, подсказать, как избежать

опасностей и необдуманных поступков. Место Якова Игнатьева занял Александр Васильевич Кикин.

Этот незаурядный человек начал службу денщиком Петра. Царю импонировали ум, расторопность, быстрота выполнения его повелений. Кикин сделался любимым денщиком. Вполне оценив способности Александра Васильевича, царь назначил его адмиралтейцем. Однако блестящая карьера Кикина быстро оборвалась. Он был уличен в казнокрадстве, за что расплатился сравнительно легким наказанием — ссылкой. Стараниями супруги царя он был возвращен из ссылки в Петербург и пристроился на службу при дворе царевны Марьи Алексеевны.

Движимый честолюбием и знавший, что Петр не прощал казнокрадов, Кикин решил ориентироваться на наследника престола. Он быстро вошел к нему в доверие и стал его главным советчиком. При этом Кикин проявлял осторожность — избегал частых и публичных встреч с Алексеем Петровичем и общался с ним либо через доверенных посыльных, либо под покровом ночи.

Еще одним человеком, выделявшимся среди членов «компании» царевича, был Алексей Нарышкин. Похоже, он являлся главным помощником царевича в выполнении поручений отца. Из его писем к Якову Игнатьеву (а их известно 36) явствует, что он был в курсе деталей выполнения царевичем заданий и в его отсутствие выполнял их. Лейтмотивом писем Нарышкина духовнику была информация о состоянии здоровья Алексея Петровича; во всех письмах это выражалось вполне стереотипными фразами: «здоровье царевича находится в добром состоянии»; или «находится во всяком благополучии». Когда, например, царь вызвал сына из Смоленска, намереваясь использовать его в другом месте, именно Алексей Нарышкин в трехмесячное отсутствие царевича в Смоленске осуществлял заготовку фуража: на его долю выпало «добирать мне овса — со ста десять тысяч, а сена полтора миллиона пудов».

Царевич переписывался и с другими людьми из своего близкого окружения, помимо названных. Эти письма также содержат некоторую информацию о его характере и образе жизни.

Так, в распоряжении историков имеются письма царевича к кормилице Марфе Афанасьевне Колычевой и ее супругу Василию Ивановичу. Письма эти лаконичны, многие из них в одну фразу и бедны содержанием. Автор интересуется здоровьем адресатов: «Госпожа кормилица, Марфа Афанасьевна, здравствуй на много лето»; или: «Марфа Афанасьевна, здравствуй, на веки. Пожалуй, прикажи к нам, если тебе от болезни», или: «Кормилица, здравствуй, я жив». Подавляющее большинство писем не

датировано; последнее, 49-е по счету, отправлено из Киева, с пути из Жолквы в Москву, в феврале 1716 года. Но письма к кормилице и ее супругу примечательны тем, что отражают характер царевича: он был привязан к этим, надо полагать, добрым и сердечным людям, сохранял благодарность за ласку и добрые чувства, проявляемые ими и в его детские годы, и тогда, когда он стал взрослым. Об уважении царевича к Василию Ивановичу Колычеву свидетельствует незначительный на первый взгляд, но важный по существу факт: в одном из писем царевич запретил ему писаться уменьшительным, уничижительным именем: «Бог тебе простит, что написался Ваською, только впредь не делай сего».

Почти все лица, входившие в окружение царевича, носили особые прозвища, клички, смысл и происхождение которых не всегда понятны. Так, Алексей Нарышкин имел прозвище Сатана, другого, Василия, называли Благодетелем, третьего, Андрея, — Адамом, Ивана — Молохом. (Надо полагать, во всех этих случаях в кличках отразились какие-то черты характера.) Муж кормилицы царевича Василий Колычев именовался Жирондой, протопоп Алексей — Грачом (видимо, из-за некоторого сходства с птицей), подьячий Федор Еварлаков — Засыпкой.

Впоследствии помощник П. А. Толстого по Тайной канцелярии А. И. Ушаков попытался обнаружить в прозвищах членов «компании» конспиративную подоплеку: «...что теми званиями для закрытия писаны некоторых людей, которые в тех письмах подлинные имена и прозвища таили».

Но Ушаков в данном случае ошибался. Прозвища, скорее всего, имели бытовое значение. Члены «компании» и даже сам царевич крайне редко зашифровывали письма — мне известны лишь два таких случая. Подавляющее большинство писем не содержало тайной информации или тайных поручений. Наконец, еще одно противопоказание догадке Ушакова — царевич употреблял прозвища наряду с подлинными фамилиями. Так, 11 марта 1707 года, находясь в Жолкве, он велел пригласить на празднование дня Похвалы Богородицы Благодетеля, Михаила Григорьевича, Василия Ивановича, Федора Борисовича и Грача.

Вернемся, однако, к последовательному изложению событий в жизни царевича Алексея.

После разгрома шведов под Полтавой и изгнания армии Карла XII путь в Германию перестал быть опасным, и Петр решил реализовать давнюю мечту и отправить сына для обучения в Дрезден. Он приказал Алексею прибыть в корпус князя Меншикова, выдвинутый в Польшу для изгнания Станислава Лещинского. «Зоон! — писал Петр Алексею 23

октября 1709 года из Мариенвердена. — Объявляем вам, что по прибытии к вам господина князя Меншикова ехать в Дрезден, который вас туда отправит и кому с вами ехать, прикажет. Между тем приказываем вам, чтобы вы, будучи там, честно жили и прилежали больше учению, а именно языкам (которые уже учишь, немецкий и французский), так геометрии и фортификации, также отчасти и политических дел. А когда геометрию и фортификацию окончишь, отпиши к нам. За сим управи Бог путь ваш».

В дальний путь царевича сопровождали барон Гюйссен, Вяземский, а также князь Юрий Юрьевич Трубецкой и граф Иван Гаврилович Головкин — сыновья знатнейших вельмож из окружения Петра.

Меншиков как главный наставник царевича подписал особую промеморию — подобие инструкции для сопровождавших царевича персон, Трубецкого и Головкина:

«Понеже хотя уповаем, что их милости, яко честные и обученные господа, будучи при его высочестве — государе-царевиче, все то, еже что так к славе государственной, яко и ко особливому интересу его высочества подлежит, хранить и исполнять не оставят; однако ж по нашей должности последующими краткими пунктами подтверждаем:

1) Дабы приехав в указное место инкогнито, бытность свою там отправляли честно и обходились с тамошними людьми учтиво и себя содержали так, как от его царского величества наказано;

2) чтоб его высочество государь-царевич в наказанных ему науках всегда обретался, и между тем сверх того, что ему обучаться велено, на флоретах забавляться и танцовать по-французски учиться изволил;

3) дабы как между собою, так и с господином Гизеном имели доброе согласие и любовь и друг к другу надлежащее почтение, дабы чрез то вящшая честь и слава его царскому величеству происходить могла;

4) которые ефимки даны на расход и те, також и прочую казну, держать с запискою именно, понеже в том и впредь имеют дать отповедь».

Это наставление, подписанное князем 19 ноября 1709 года, названо подобием инструкции на том основании, что настоящие инструкции того времени состояли не из четырех пунктов, а из десятков и предусматривали до подробностей поведение лиц, сопровождавших царевича, определяя меру наказания за любое нарушение. Приведенный же выше текст содержит общие фразы — пожелания, он не определяет ни времени, отводимого для обучения, ни ответственности наставников за несоблюдение ими своих обязанностей.

Обстановка складывалась так, что царевич отправился в путь нескоро. Своевременному отъезду, по словам Меншикова, препятствовало то, что

путь в Дрезден лежал через Варшаву, из которой, по сведениям князя, Август II намеревался отправиться в Саксонию. «Того ради, — доносил Меншиков Петру, — и сына вашего отпустить туда опасаясь».

Опасения Меншикова, видимо, разделял и Петр. Во всяком случае, царевич отправился в Краков и 19 декабря писал оттуда по-немецки отцу, что будет ждать там его дальнейших распоряжений. В марте 1710 года он приехал в Варшаву, где остановился на дворе царского посла князя Г. Ф. Долгорукова, и лишь затем выехал в Дрезден.

Таким образом, в Дрезден Алексей прибыл значительно позже намеченного срока. Но и теперь он далеко не сразу приступил к обучению: из Дрездена царевич отправился в Карлсбад для пользования водами. Здесь, недалеко от Карлсбада, в местечке Шлакенверт, он осмотрел «изрядной огород (парк. — Н. П.)», а также встретился со своей будущей невестой Шарлоттой, принцессой Бланкенбургской.

За границу царевич отправился с охотой. Когда Александр Васильевич Кикин спросил его: «Для чего рад?», Алексей ответил, что рад освобождению от опеки отца: ведь он будет жить так, как хочет. Кикин тогда напомнил царевичу: «Надобно смотреть, с чем назад приехать, понеже государь изволит на нем взysкивать дел, за чем он посылан». У царевича нашелся ответ и на это: «Сколько де мочно, стану учиться».

Возвратившись после вод в Дрезден, царевич делился своими впечатлениями о жизни в этом городе: «Тамошние места мне полюбились». Еще бы не полюбились — царевич жил, не зная забот, распоряжался временем, как хотел. По наблюдениям того же Кикина, царевич приехал из-за границы с таким же багажом знаний, с каким выехал из России.

Кикин, несомненно, был прав. Об этом свидетельствует инцидент, произошедший уже в Петербурге, когда царевич возвратился из-за границы. Отец решил проэкзаменовать сына и, как позже показал сам царевич, спросил, «не забыл ли я, чему учился». На это царевич отвечал, что не забыл. Тогда отец велел сыну показать изготовленные им чертежи. Опасаясь, что отец заставит его выполнить какой-либо чертеж в своем присутствии, и заведомо зная, что с заданием ему не справиться, Алексей решил избавиться от экзамена самым трусливым образом — прострелить из пистолета ладонь правой руки. Решимости выполнить намерение у него, впрочем, не хватило. Когда он нажал курок, то успел отвести дуло пистолета чуть в сторону, поэтому пуля не затронула ладонь, но выстрелом он сильно обжег себе руку. Когда сын явился к отцу с обожженной рукой, тот, не подозревая обмана, освободил его от экзамена.

На этом завершилось образование царевича. В отличие от отца,

проявлявшего любознательность и тягу к знаниям, царевич не питал к ним интереса. А ведь способностей царевича вполне хватало, чтобы усвоить премудрости изучаемых наук. Сам он говорил о себе: «Природным умом я не дурак, только труда никакого понести не могу». Отец в одном из писем сыну тоже подтвердил: «...Бог разума тебя не лишил». Но разум Алексея был на редкость пассивным и ленивым. Обучение, признавался царевич, «мне было зело противно, и чинил то с великою леностию, только чтобы время в том проходило, а охоту к тому не имел».

Чем дальше, тем больше в нем укреплялась ненависть к отцу и его делам, тем острее становилось желание, чтобы зачинатель преобразований скорее отправился на тот свет и у кормила правления страной оказался он, Алексей, законный и единственный наследник.

Попытка прострелить ладонь — не единственный случай, когда он стремился уклониться от выполнения поручений отца. Сам царевич во время следствия признался, что принимал лекарства, «притворяя себе болезнь, когда случались походы, чтобы от того тем отбыть». Да и не только походы вызывали его отвращение. Царевич делал все, чтобы не участвовать в отцовских увеселениях, особенно в торжественных спусках кораблей на воду, отговаривался мнимой болезнью, а своим слугам говаривал, что «лучше де был на каторге или б лихорадкою лежать, нежели там был».

Когда отцу пришло время узнать сына поближе (а это случилось уже после женитьбы царевича, когда отец и сын вместе участвовали сначала в военных операциях в Померании в 1712 году, а затем в Финском походе в 1714-м), то его отношение к делу не доставило царю радости. Впоследствии Петр сам писал сыну, что за эту его леность и полнейшее равнодушие к порученному делу не раз «бранивал» сына, «и не точию бранивал, но и бивал, к тому ж сколько лет, почитай, не говорю с тобою, но ничто сие успело, ничто пользует, но все даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь, только б дома жить и им веселиться».

Отчуждение между отцом и сыном сменилось полной неприязнью. Приходится согласиться на этот счет с мнением знаменитого историка XIX века С. М. Соловьева: «Петр сначала сердился, бранил, бил, потом утомился, перестал говорить с сыном — дурной признак для Алексея: лучше бы отец продолжал сердиться, бранить и бить, а холодность и невнимание, предоставление самому себе, молчание — это страшный признак озлобления родительского чувства, признак ожесточения... Но сын давно уже охладел и ожесточился, давно в присутствии отца на нем лежал тяжкий гнет, и только в отдалении от него дышалось свободно: "не токмо

дела воинские и прочие отца его дела, но и самая его особа зело ему омерзела, и для того всегда желал быть от него в отлучении"...»

Глава вторая. Семьянин поневоле

В западноевропейских дворах издавна сложился обычай подкреплять политические союзы государств брачными узами. В Московской Руси придерживались иных правил — родниться с представителями богомерзкого Запада считалось большим грехом, и царевичу искали супругу внутри страны. Когда царевич достигал достаточно зрелого возраста, девицы на выданье из знатных семейств приглашались в Москву на смотрины, и царевич выбирал из них невесту. Впрочем, в конце XVII века допускались отступления от этого правила: так, Евдокию Лопухину выбрал не сам Петр, а его мать Наталья Кирилловна.

Петр твердо решил следовать примеру западноевропейских держав и использовать династические браки в политических целях. Правда, в начале XVIII века московские невесты котировались невысоко. Россию считали в Европе слабой в военном отношении державой, и поэтому рассчитывать на женихов из влиятельных дворов не приходилось. Оставалось довольствоваться женихами из наследников второстепенных престолов, но Петр готов был мириться и с этим.

В распоряжении Петра находились пять потенциальных невест: три сестры сводного брата, доводившиеся ему племянницами (Анна, Екатерина и Прасковья), и две собственные дочери (Анна и Елизавета), а также один потенциальный жених — сын Алексей.

Упреждая события, заметим, что ни один из браков не оказался удачным. Первой Петр выдал замуж за курляндского герцога Фридриха Вильгельма Анну Иоанновну. Свадебные торжества, отмечавшиеся неумеренными возлияниями горячительных напитков, начались в ноябре, а в январе 1711 года супружеская чета отправилась в столицу Курляндии Митаву. В пути стряслась беда: супруг занемог и скоропостижно скончался. Петр велел племяннице продолжать путь в Митаву, где она провела два десятилетия среди чуждого ей рыцарства, терпя лишения и унижения до 1730 года, когда случай усадил ее на трон Российской империи.

Другая племянница Петра, Екатерина Иоанновна, оказалась в еще более тяжелом положении. Петр выдал ее замуж за герцога Мекленбургского, человека столь же неуравновешенного, сколь и жестокого. Екатерина Иоанновна не выдержала издевательств супруга, переселилась в Петербург, где и скончалась в положении соломенной вдовы.

Третьей племяннице, Прасковье, девице некрасивой и больной, Петру так и не удалось найти жениха, и она скончалась в девичестве.

Не лучшим образом сложилась и жизнь детей Петра. Старшую дочь Анну Петр сосватал за хилого и недалекого герцога Голштинского. Свадьба состоялась после смерти Петра, в царствование Екатерины I. Герцог, опираясь на тещу-императрицу и образованную супругу, предпринял попытку стать правителем России, но встретил сильное противодействие Меншикова и после смерти Екатерины I вынужден был вместе с супругой отправиться на родину, в Киль. Здесь Анна Петровна родила сына Петра — будущего императора Петра III, но вскоре после родов скончалась.

Младшая же дочь Петра Елизавета, необыкновенная красавица, руки которой добивалась уйма женихов, так и осталась незамужней.

Что касается единственного сына, царевича Алексея, то Петр, в нарушение обычая, решил женить его не на русской боярышне, а на иностранной принцессе. С целью поисков подходящей невесты в Германию был отправлен тот самый барон Гюйссен, которого Петр назначил воспитателем сына. Помогал Гюйссену в выполнении этого деликатного поручения русский посол в Вене Урбих. После многолетних поисков оба остановили свой выбор на принцессе Бланкенбургской Шарлотте Христине Софии, из дома Брауншвейг-Вольфенбюттельского, внучке герцога Брауншвейг-Вольфенбюттельского Антона Ульриха. Шести лет от роду она была взята на воспитание своей родственницей, женой курфюрста Саксонского и короля Польского Августа II, союзника Петра.

Выбор этот устроил царя. Через брак сына он вступал в родство (или, точнее, в свойство) с австрийским императором Карлом VI: последний был женат на старшей сестре Шарлотты Елисавете. Помимо высокого положения цесаря в иерархии европейских государей, Петра должно было привлекать то, что у обоих правителей имелся общий неприятель — Османская империя, в начале XVIII столетия еще сохранявшая остатки былого могущества. Таким образом, как и при выборе брачных партий для своих племянниц и дочери, Петр, намереваясь женить сына, руководствовался исключительно политическими мотивами. Мнение самого Алексея, его приязнь или неприязнь к невесте царя совершенно не интересовали.

Царевич предпочел бы жениться на русской красавице, но должен был подчиниться железной воле отца.

Как вспоминал впоследствии Гюйссен, дело о браке было улажено еще в 1707 году, когда невесте не исполнилось и тринадцати лет. Русский посланник в Вене Урбих также писал канцлеру Г. И. Головкину о своих

хлопотах в устройстве этого брака: «Поздравляю ваше превосходительство с этим событием, потому что в нем имеется участие, и я сам немало утешен, потому что... немало трудов положил и докуч претерпел от вольфенбительской стороны. Я эту принцессу всегда считал благовоспитанной и разумной, что из чужестранных принцесс она более всех пригодна для этого брака».

У немецкой стороны имелись сомнения в отношении брака. Пугали различия в вероисповедании, различный уклад жизни и нравов. К тому же в России отсутствовала политическая стабильность — ее сотрясали частые бунты. Родство с петербургским двором прежде всего наводило страх на невесту. В 1709 году она писала Антону Ульриху, что «московское сватовство еще может быть минует».

Колебания венского двора и Шарлотты исчезли после блистательной победы Петра над шведами под Полтавой. Престиж России в Западной Европе достиг небывалых высот, что укрепило позиции сторонников сватовства. Царь отправил в Вольфенбюттель для переговоров графиню Матвееву, прославившуюся красотой, умом и манерами. «Эта женщина, — писал современник, — необыкновенного ума, и ее никогда не примут за москвитянку. Она жила долго при французском дворе, у нее сын, родившийся в Париже, и хорошенькая дочь, рожденная в Голландии».

Как будто исчезли опасения и у невесты, и она примкнула к панегиристам русского царя, восхваляя его ум, храбрость и дарование полководца. От принцессы потребовали письменного подтверждения своего желания выйти замуж за царевича Алексея Петровича, что она сделала без всякого сопротивления. Был составлен проект брачного договора.

Царевич Алексей впервые увиделся с принцессой Шарлоттой в местечке Шлакенверт, близ Карлсбада, куда он прибыл для лечения водами. Принцесса ему не понравилась. Шарлотта не отличалась красотой. При высоком росте она была очень худа и к тому же изуродована оспой. Дед принцессы, Антон Ульрих, весьма откровенно писал в августе 1710 года Урбиху: «Царевич очень встревожен молвою о свидании вашем в Эйзенахе с Шлейницем, догадываясь, что там определены условия брака с принцессою. Русские не хотят его, опасаясь, что многое потеряют с утратою кровного союза со своим государем, и люди, пользующиеся доверенностию царевича, стараются религиозными внушениями отклонить его от заключения брака, которым, по мнению их, чужеземцы думают господствовать в России. Царевич верит им. Если царь упустит время и не повелит окружающим сына склонить его, то дело конечно не состоится, как

ни желает того его царское величество. Царевич начал приятно обращаться с госпожою Фирстенберг и с принцессою Вейсенфельскою, единственно в той мысли, чтобы выиграть время: он просил у отца позволения посмотреть других принцесс, а между тем надеется, что какой-нибудь случай отзовет его в Москву... В намерении царя я не сомневаюсь; но может ли он принудить сына к такому супружеству, предоставляю вашему рассуждению; и чего должна ожидать принцесса, если царевич возьмет ее против воли? Все жалеют об ней».

А вот свидетельство самого царевича.

Перед нами его письмо от января 1711 года к своему духовнику Якову Игнатьеву, с которым царевич делился самыми сокровенными мыслями. Письмо заслуживает полного воспроизведения, поскольку автор сообщает в нем о некоторых подробностях подготовки брачного союза и дает свой отзыв о невесте:

«Известую вашей святыне, помянутый курьер приезжал с тем: есть здесь князь Вольфенбиттельской, живет близ Саксонии, и у него есть дочь девица, а сродник он польскому королю, который и Саксонией владеет, Август, и та девица живет здесь, в Саксонии при королеве, аки у сродницы, и на той кнежне давно уже меня сватали, однакож мне от батюшки не весьма было открыто, и я ее видел, и сие батюшке известно стало, и он писал ко мне ныне, как она мне показалась и есть ли де моя воля с нею в супружество. И я уже известен, что он не хочет меня женить на русской, но на здешней, на какой я хочу.

И я писал, что когда его воля есть, что мне быть на иноземке женатому, и я его воли согласую, чтоб меня женить на вышеписанной княжне, которую я уже видел, и мне показалось, что она человек добр и лучше ее здесь мне не сыскать. Прошу вас, пожалуй, помолись, буде есть воля Божия, чтоб сие совершил, и буде как он хочет, так и творит: отпиши, как твое сердце чувствует в сем деле».

Впрочем, заявление царевича, что «лучше ее здесь мне не сыскать», нельзя расценить иначе как чистой воды браваду, ибо права «искать» ему не было предоставлено. Такое право царь предоставил Урбиху и Гюйссену, с чьим выбором вполне согласился.

Живя в Дрездене, царевич должен был прежде всего пополнять свои знания. Вместе с тем отец желал, чтобы сын произвел на принцессу благоприятное впечатление. Еще до встречи с женихом невеста получила о нем благоприятный письменный отзыв: «Его очень хвалят», считают, «что он умнее и красивее, чем его описывали... лица, окружающие его, все люди умные и достойные».

Нам неведомо, на чьи отзывы о царевиче опиралась принцесса Шарлотта, когда приводила эти слова в письме к матери. Быть может, на мнение герцога Августа Брауншвейг-Люнебургского, который в июне 1711 года писал: «До меня доходят все добрые слухи про царевича. От природы он человек хороший и порицают лишь его неотесанность».

Нам также неведомо, изменил ли герцог отзыв о царевиче, когда ровно год спустя описал эпизод, отнюдь не украшающий поведение наследника русского престола. В июне 1712 года он писал: «О царевиче имеется забавное, хотя уже давнее известие. Говорят, что, будучи в Дрездене, он опростался у себя в комнате и подтерся оконной занавеской». Остается надеяться, что этот эпизод остался неизвестен невесте.

До нее доходили совсем другие известия о том, как царевич проводил время в Дрездене, — однозначно хвалебные. О том, каких успехов достиг он в изучении наук, охотно говорили лица, специально приставленные к царевичу и отвечавшие как за успешное заключение брачного контракта, так и за образование наследника русского престола. Князь Ю. Ю. Трубецкой и А. Г. Головкин 30 декабря 1710 года извещали А. Д. Меншикова: «Государь-царевич обретается в добром здравии и в наказанных науках прилежно обращается, сверх тех геометрических частей (о которых 7-го сего декабря мы доносили) выучил еще продюндиметрию и стереометрию. И так с Божиею помощью геометрию всю окончил».

Об истинных успехах царевича речь шла в предыдущей главе. Здесь же скажем о том, что традиция переоценивать успехи царственных отпрысков их наставниками и учителями хорошо известна. Так, наставник царя Федора Алексеевича француз Невиль восторженно отзывался о способностях и успехах своего ученика; учивший грамоте царевича Алексея Петровича Никифор Вяземский тоже не скупился на похвалы; еще больше хвалебных слов в адрес императора Петра II исходили из медоточивых уст его наставника А. И. Остермана. В тон своих предшественников хвалебно отзывался о способностях царевича Петра Федоровича (будущего Петра III) его наставник Я. Я. Штелин.

Вполне вероятно, что суждениями об успехах и усердиях Алексея Петровича Головкин и Трубецкой делились не только с Меншиковым, но и с саксонскими вельможами. Один из них писал: «Царевич здесь очень прилежен, усердно предается всему, за что принимается, и редко выходит из дома».

Слухи об усердии и успехах царевича достигли и ушей Шарлотты, писавшей матери: «Он теперь учится танцевать у Потти, а его учитель французского языка тот же самый, который учил наследного принца. Он

учится также географии и, как говорят, очень прилежен, другого о нем ничего не слышно». Оба свидетеля, заметим, ничего не сообщают о результатах такого прилежания царевича. К тому же как можно судить о них, если царевич «редко выходит из дома»?

Судя по наблюдениям современников, царевич оставался полностью безразличным к своей будущей супруге. У него «совершенно равнодушный вид, и он не выказывает никакого расположения к княжнам», — писал один из современников. Другой извещал своего корреспондента: царевича каждый раз за обедом «усаживали рядом с княжнами, но царевич все время смотрел в свою тарелку и не говорил с ними». О том, что и в окружении царевича были противники свадьбы (вспомним письмо герцога Антона Ульриха), мы уже говорили.

Сдержанное отношение к предстоящему браку отметила и еще одна современница. Она писала, что «когда царевич прочел в газетах, что скоро можно будет ожидать его бракосочетания с принцессой Вольфенбюттельской, то он очень рассердился и воскликнул, что ему об этом ничего не известно и что отец предоставил ему свободу выбора в женитьбе».

Что отец предоставил сыну «свободу выбора в женитьбе» — досужая выдумка. Алексей должен был подчиниться отцовской воле, так как хорошо знал о бесплодности сопротивления. Шарлотта тоже действовала в соответствии с желанием матери. Она писала ей: «Я с удовольствием подчинюсь в этом деле воле Божией, главным образом в надежде быть вам полезной, и если уже суждено совершиться этому делу, то я желала бы, чтобы оно случилось скорее для того, чтобы избавиться от бесконечных толков по этому поводу».

«Царевич изменился к лучшему в своих манерах, — убеждала Шарлотта мать. — Ко мне он был, как и в Карлсбаде, очень вежлив, а также его кавалеры». В ожидании свадебных торжеств невеста усердно занималась изучением латыни и итальянского.

Таким образом, предстоявший брак являлся не плодом любви будущих супругов, а результатом политического расчета их родителей. Алексей вынужден был подчиниться. И он, и невеста публично выказывали радость. Царевич испросил согласие на брак у польской королевы, а канцлер Г. И. Головкин отправился в Вольфенбюттель от имени царевича просить у родителей руки их дочери. Невеста будто бы пребывала на вершине блаженства. Она заверила родителей, что жених умен, владеет приличными манерами, что она «очень польщена честью, какую царевич и царь оказали ей своим выбором». Юная, не обогащенная жизненным опытом, она

принимала внешнее обхождение за признаки уважения к себе. «Я крайне уверена, — писала она, — что он будет питать ко мне дружбу и уважение; если бы этого не случилось, я бы подумала, что он ко мне питает ненависть, а не любовь». Мать тоже «гордилась дочерью, удостоившейся столь великой чести».

Оформление брачного союза было совершено с необыкновенной поспешностью. Пока дамы занимались изготовлением нарядов, была завершена подготовка проекта брачного контракта, состоявшего из 47 пунктов. Он был подписан в польском местечке Яворове, в Галиции, 19 апреля 1711 года и с немецкой педантичностью предусматривал как важные, так и второстепенные условия проживания Шарлотты в России. Герцог обещал снабдить ее таким же приданым, как и старшую свою внучку Елисавету; кронпринцессе (так стали официально называть супругу наследника престола в русских документах) разрешалось исповедовать лютеранскую веру и иметь в месте своего пребывания для себя и окружающих ее лиц лютеранскую церковь; дети же, родившиеся в браке, должны были исповедовать православную веру. Супругам предписывалось относиться друг к другу «с подобающим уважением, с верностью и любовью». На содержание двора кронпринцессы царь обязался выдавать ежегодно по 100 тысяч талеров; кроме того, он брал на себя расходы по доставке ее имущества из Вольфенбюттеля в Петербург, а по окончании войны обязался увеличить расходы на содержание двора. Царевич обязался подарить супруге 25 тысяч талеров на приобретение украшений. В договоре особо перечислялись чины и звания дам, вошедших в штат кронпринцессы; всего он должен был насчитывать 116 человек.

По заключении брачного договора царевич отправился в Брауншвейг. Он проживал в семействе невесты, преимущественно в Зальцдалене — увеселительном замке недалеко от Брауншвейга.

В то время как в Брауншвейге были озабочены подготовкой к помолвке, а затем и к свадьбе, главная забота Петра состояла в подготовке к Прутскому походу. Злополучный поход, во время которого русской армии довелось с большими трудностями преодолевать колоссальное расстояние, чтобы встретиться с неприятелем у реки Прут, закончился неудачей. Петру с трудом удалось спасти армию от разгрома или пленения, но зато пришлось уступить туркам завоеванный в 1696 году Азов, стереть с лица земли Таганрог.

Тем не менее Петр и в этой тяжелейшей обстановке не отказался от обязательства, данного еще до Прутского похода, непременно присутствовать на свадьбе своего сына: «Это мой единственный сын, и я

охотно доставил бы себе радость по окончании похода лично присутствовать на его свадьбе».

Царь выполнил свое обещание: после заключения 11 июля 1711 года Прутского мирного договора он отправился на лечение в Карлсбад, а оттуда в Торгау, где намечалось отпраздновать свадьбу.

Царь прибыл Эльбою из Дрездена в Торгау 13 октября. Бракосочетание состоялось на следующий день. Королевский замок, в котором состоялись торжества, был соответствующим образом подготовлен: все окна завешаны зеркалами, посреди зала сооружен помост с красным балдахином, под которым стоял стол с четырьмя креслами для царя, польской королевы, жениха и невесты и три стула для матери и деда Шарлотты. В три часа зажгли свечи по стенам и перед зеркалами.

Церемония началась в 4 часа торжественным выходом королевы: впереди шествовали в богатой экипировке кавалеры, за ними — три маршала с жезлами, затем царь с царевичем. Свита невесты во всем повторяла свиту королевы: впереди шли кавалеры, за ними шествовала невеста, которую вел под руку герцог; шлейф ее несли три придворные фрейлины. Шествие завершали придворные, играла музыка.

Честь надеть венец на жениха и невесту была предоставлена царю, а затем над головой невесты держал венец канцлер Головкин.

Совершая обряд, священник сначала говорил по-латыни принцессе, а всю службу совершал по-русски.

После церемонии бракосочетания состоялся торжественный обед, на который по настоянию царя были приглашены присутствовавшие русские вельможи: Головкин, Брюс, князя Василий Долгорукий, Куракин и Трубецкой.

После стола в большом зале начались танцы, по окончании которых царь трогательно благословил новобрачных и отвел в предназначенные для них покои. Рано утром следующего дня царь инкогнито явился в покои супругов и завтракал с ними.

В день свадьбы, 14 октября 1711 года, Петр успел отправить множество писем: Сенату, друзьям и соратникам, а также коронованным особам союзных государств:

«Господа Сенат.

Объявляем вам, что сего дня брак сына моего совершился здесь, в Торгау, в дому каралевы польской, на котором браке довольно было знатных персон. Слава Богу, что сие счастливо совершилось, дом князей Вольфенбительских, наших сватов, изрядной».

Письмо Сенату сходно по содержанию с письмами к соратникам: А. Д.

Меншикову, Ф. Ю. Ромодановскому, Ф. М. Апраксину, И. А. Мусину-Пушкину, Стефану Яворскому. Отличие только в том, что в письмах соратникам Петр позволял себе замечания личного характера. Так, сообщая о присутствии на свадьбе герцога Вольфенбюттельского, «свата моего, со всею фамилией», царь добавлял, что тот «вашему величеству (князь-папе. — Н. П.) поклон передает».

«При сем прочем объявить всешутейшему князь-папе и протчим, — поручал царь супруге Екатерине Алексеевне, — и чтоб пожаловал благословение подал сим молодым, облекшись во все одежды, купно и со всеми при вас будущими. А письма к Москве и в Питербурх посланы».

Дополнительная подробность содержится в письме к Меншикову: «Свадьба была в дому королевы польской, где и от вас присланный арбуз поставлен был, который овощ здесь зело за диво».

Что касается писем королевским особам, то их перечень ограничен союзниками по войне с Швецией — польским королем Августом II и датским королем Фредериком IV. Сочиняя послания к ним, Петр воспользовался случаем, чтобы подтолкнуть союзников к более активным военным действиям против неприятеля — шведского короля Карла XII. Августа II царь благодарил за оказанную помощь при заключении брака и выражал надежду на успешную кампанию в будущем: «Ожидаем счастливых прогрессов от вашего величества слышать, в чем гораздо нас печалит так долгое бездействия замедление». От датского короля царь тоже ожидал «счастливых прогрессов», и со своей стороны обещал усилить натиск на неприятеля: «Что же с нашей стороны принадлежит как сей, а наипаче будущей кампании, и в том можете надежны быть, что не только войсками, но и своею особою в том трудитца обещаем».

На следующий день родственники супруги обратились к Петру с просьбой отправить молодоженов в Вольфенбюттель, где они должны были провести зиму. Но у царя на этот счет были другие планы.

Через четыре дня после свадьбы царь вручил сыну указ — подробную инструкцию, «что делать в небытии моем сыну моему в Польше». Этим указом царевичу предписывалось отправиться в Польшу и Пруссию для приготовления к очередному походу против шведов. В середине ноября он должен был ехать в Торунь для сбора провианта. Шарлотте все же удалось уговорить царя отпустить царевича на несколько дней в Вольфенбюттель. Сопровождать супруга в Польшу она отказалась, и царевич должен был отправляться в одиночестве. Он оставил супругу и выехал в путь 7 ноября 1711 года. Чтобы ослабить неблагоприятное впечатление от столь скорого отъезда, была устроена такая пышная и торжественная церемония

проводов, будто царевич отъезжал для участия в сражении, решавшем судьбу страны.

Отъезд супруга действительно не доставил радость кронпринцессе. Головкин по этому поводу получил такую информацию: «Брак хотя и совершен, однако к великому неудовольствию обеих сторон: кронпринц кронпринцессу оставил, и когда та требовала на два дня сроку, чтоб дорожную постель взять, кронпринц ей жестко ответил и уехал».

Недель через пять Шарлотта также приехала из Брауншвейга в Торунь. Житье здесь ей было не в радость. Правда, отношение к ней супруга, казалось, внушало оптимизм. «Царевич осыпает меня выражениями своей дружбы, — писала она матери. — Почти ежеминутно он дает мне все новые и новые доказательства своего расположения, так что я имею полное право назвать себя совершенно счастливою, хотя место, где я сейчас живу, не совсем приятно». И действительно, вместо роскошных апартаментов ей пришлось коротать время в монастыре, где она была поселена. К тому же молодая супруга, не имевшая опыта в ведении хозяйства, благодаря расточительности придворных оказалась без денег. Меншиков, отправленный Петром, чтобы убедиться в бедственном положении невестки, подтвердил отсутствие у нее денег. «Не мог не донести о сыне вашем, — сообщал он царю 24 апреля 1712 года из Торунь, — что как он, так и кронпринцесса в деньгах великую имеют нужду, понеже здесь живут все на своем коште, а порций и раций (рациона. — *Н. П.*) им не определено; а что с места здешнего и было, и то самое нужное, только на управление стола их высочеств; также ни у него, ни у кронпринцессы к походу ни лошадей и никакого экипажа нет и построить не на что». По словам Меншикова, кронпринцесса «едва не со слезами» просила его о денежной ссуде, и, снисходя к ее мольбам, он выдал ей займы пять тысяч рублей из кассы Ингерманландского полка. «А ежели б не так, — заключал князь, — то всеконечно отсюда подняться ей нечем».

Меншиков привез царевичу повеление отца отправляться в Померанию для участия в военных действиях. Кронпринцесса решила ждать мужа в Элбинге.

Видимость семейного благополучия продлилась недолго. Прошел всего месяц, и принцесса, прежде восторженно отзывавшаяся о супруге, полна сомнениями: «Я совершенно смущена в виду того, что меня еще ожидает, ибо мое горе идет от человека, слишком дорогого, чтобы на него жаловаться... Да ниспошлет мне небо хотя одно удовольствие и да услышит оно молитвы, которые я воссылаю беспрестанно о нашем счастье». «Я замужем за человеком, который меня никогда не любил, а

теперь любит еще менее, чем когда-либо», — более определенно высказывалась она в другом письме.

Вскоре разразился скандал, ранивший честь принцессы. Придворные интриги и сплетни дали повод слухам о близости к ней одного из придворных, некоего Пельница. Молва приписывала его повышение в должности особым к нему расположением кронпринцессы.

Слухи о супружеской неверности, по мнению Шарлотты, исходили от обер-гофмейстера Шлейница. Матери она писала: «Богу известно, что я невинна, что я нежно люблю царевича, моего супруга... Хотя я имею всевозможные поводы опасаться, что он меня не любит, — мне кажется, что мое расположение от этого еще увеличивается... Царевич, хотя он меня и очень мало любит, слишком справедлив, чтобы поверить этой бессовестной лжи, он меня слишком хорошо знает, чтобы считать меня способною к такой низости». Далее в письме следуют жалобы на переживания, связанные со всей этой историей: «Я так огорчена и так убита нанесенным мне оскорблением, которое я считаю самым чувствительным, что не похожа на себя; с каждым днем я бледнею и худею, редко у меня бывает краска на лице. Я почти не сплю и ем очень мало, ибо все, что я вижу вокруг себя, дает мне постоянно новые поводы к огорчению и отчаянию».

Неизвестно, докатилась ли молва об истории с Пельницем до ушей царевича, и если докатилась, то как он на нее реагировал. Автор используемой нами статьи В. Герье безоговорочно доверяет Шарлотте и считает, что ее попросту оклеветали. Но ведь общеизвестно, что польский двор при Августе II пользовался не самой лучшей репутацией: здесь царил необыкновенная легкость нравов, причем тон распущенности задавал сам король. Сомнительно, чтобы нравы двора, в котором жила Шарлотта, не оказали на нее никакого влияния.

«В своем горе кронпринцесса имела только одно утешение — нежность и ласки, выказанные ей царем и Екатериною во время их проезда через Эльбинг», — признает В. Герье. Императрица прислала ей перстень с портретом Петра и заявила, что нежно любит ее. Из бесед с Екатериной Алексеевной кронпринцесса могла понять, что царь «не очень любит царевича». Любопытно и признание самой Шарлотты в письме к матери: «До сих пор, слава Богу, у меня нет ни наперсника, ни наперсницы, ибо Господь мне всех заменяет, в нем я нахожу поддержку и утешение во всех моих несчастиях». Показательно, что нет ни слова о супруге, который должен был бы являться опорой семьи.

Выяснить ситуацию с Пельницем и положить конец слухам взялся дед

кронпринцессы герцог Антон Ульрих. Несмотря на многочисленные обещания внучки отправить Пельница в отставку, он оставался при ее дворе, что давало основания сомневаться в ее искренности. Герцог повелел Шарлотте немедленно прислать к нему виновника молвы, чтобы самому побеседовать с ним. Кронпринцесса, опасаясь огласки, наконец дала Пельницу отставку.

Более всего кронпринцессу должна была тревожить мысль о том, что история с Пельницей станет известна царевичу. И тут неожиданную услугу, сам того не желая, оказал ей Меншиков, находившийся далеко не в лучших отношениях с Алексеем Петровичем.

Однажды во время устроенного Меншиковым обеда, на котором присутствовали высшие офицеры дислоцированной в Померании армии, в том числе и царевич Алексей Петрович, зашел разговор о дворе Шарлотты. Меншиков отозвался о нем самым нелестным образом: по его мнению, двор был укомплектован грубыми, невежественными и неприятными людьми. Князь выразил удивление, как может царевич терпеть таких людей. Царевич встал на защиту супруги: раз она держит своих слуг, значит, довольна ими, а это дает основание быть довольным ими и ему. Завязалась перепалка. Меншиков возразил: «Ты слеп к своей жене, она тщеславна».

Царевич воскликнул в ответ: «Знаешь ли ты, кто моя жена, и помнишь ли ты разницу между ней и тобой?!»

Меншиков: «Я это хорошо знаю, но помнишь ли ты, кто я?»

Царевич: «Конечно, ты был ничем, и по милости моего отца ты стал тем, что ты есть».

Меншиков: «Я твой попечитель, и тебе не следует со мною так говорить».

Царевич: «Ты был моим попечителем, теперь уже ты не мой попечитель, я сам умею позаботиться о себе, но скажи мне, что у тебя против моей жены?»

Меншиков: «Что у меня против нее: она высокомерная немка, и все оттого, что она в родстве с императором, но от этого родства ей, впрочем, будет мало проку, а во-вторых, она тебя не любит, и она права в этом, ибо ты обращаешься с ней очень дурно; кроме того, ты своим видом не можешь возбудить любви».

Царевич: «Кто сказал, что она меня не любит? Я очень хорошо знаю, что это неправда, я ею очень доволен и убежден, что и она мною довольна. Да сохранит Господь ей жизнь, я буду с нею очень счастлив».

Меншиков: «Я своими глазами убедился в противном, она тебя не

любит. Плакала она, когда ты уезжал, от досады, видя, что ты ее не любишь, а нисколько не от любви к тебе».

Царевич: «Не стоил ты того, чтобы на нее смотреть; ее нрав очень кроток, и хотя она не моей веры, должен, однако, сознаться, что она очень благочестива; что она меня любит, в этом я уверен, ибо ради меня она все покинула, и в том тоже я уверен, что она честна; впрочем, неудивительно, что ты так говоришь, ибо ты судишь об имперских княжнах по тем, которые у нас, и особенно по твоей родне, которая никуда не годится, так же, как и твоя Варвара (свояченица Меншикова. — *Н. П.*). У тебя змеиный язык, и поведение твое беспородно. Я надеюсь, что ты скоро попадешь в Сибирь за твои клеветы; моя жена честна, и кто впредь мне станет говорить что-нибудь против нее, того я буду считать отъявленным врагом».

Царевич велел наполнить бокалы, выпили за здоровье кронпринцессы, и все офицеры бросились к ногам царевича.

Нет сомнения, эта пикировка ясно свидетельствовала о том, что царевич ни в чем не подозревал супругу. Слова его и та пылкость, с которыми он произносил их, должны были успокоить кронпринцессу: царевич встал на ее защиту, значит, он уважает и любит ее. (Хотя, насколько искренен был Алексей, сказать трудно: его поведение можно истолковать и как обязанность защитить честь жены, не более того.) С другой стороны, пикировка с Меншиковым могла внести в душу царевича смятение — Меншиков беспощадно наносил удары по самому уязвимому месту его как супруга.

Вполне возможно, что раздражение кронпринцессы было вызвано ее неопределенным положением, истощавшим ее нервную систему. Супруг более полугода находился в Померании, сама она вместо того, чтобы обосноваться в Петербурге и заняться там обустройством семейного гнездышка, разъезжала по городам Германии. Отсюда ее неожиданные поступки, вызывавшие недовольство не только ближних родственников, но и царя. Так, вместо того чтобы отправиться в Петербург, чего требовал царь, она поехала в Брауншвейг. Между тем в конце 1712 года царевич по приказу отца отправился вместе с Екатериной Алексеевной из Померании в Россию. На пути он думал видеться с женой в Эльбинге, но оказалось, что та уже уехала в Брауншвейг. В письме Петра по этому поводу она прочла следующие слова: «Сия ваша скорая и без нашего ведома взятая резолюция нас зело удивила». Дед Антон Ульрих тоже выражал недовольство поведением внучки: «Она некстати стосковалась по родине, некстати требует от царя невыплаченных ей денег и, вероятно, некстати выедет отсюда, когда в Польше начнутся военные действия. Когда дети умничают

и хотят сами собою управлять, это редко ведет к добру».

1 марта 1712 года Шарлотта наконец отправилась в Россию. Ее сопровождал огромный штат слуг, насчитывавший 110 человек. В Петербурге ей был устроен пышный прием. Шарлотта известила о своем приезде в Нарву царевну Наталью Алексеевну. Сестра царя ответила изысканной вежливостью: «Пресветлейшая принцесса! С особенным моим увеселением получила я благоприятнейшее и любительнейшее писание вашего высочества о прибытии вашем в Нарву и о намерении к скорому предприятию пути вашего до Петербурга извещена есмь, от чего мне всеусердная причиняется радость, так что я не хотела нимало оставить ваше высочество о том, чрез сие мое благосклонно поздравить и известить, что имеем в нашем общем сожалении о отбытии царского величества и его высочества государя царевича; елико в силах моих будет, не премину всяких изыскивать способов к увеселению вашему и упованию, что возвращение его царского величества и его высочества вскоре нам общую подаст радость. Ожидаю с нетерпеливостью того моменту, чтоб мне при дружелюбном объятии особы вашей засвидетельствовать, коль я всеусердно есмь вашего высочества Наталья».

Еще более ласковое, любезное и пространное послание отправил Шарлотте канцлер Г. И. Головкин: «Светлейшая и высочайшая принцесса, моя государыня! С толикою радостью, колико я имею респекту и благоговения к особе вашего царского высочества, получил я уведомление чрез господина Нарышкина о счастливом прибытии вашего царского высочества в Нарву и милостивом напоминании, которым ваше царское высочество изволили меня почтить в присутствии сего генерального офицера, и понеже я всегда професовал жаркую ревность к вашему царскому высочеству, того ради я не мог, ниже должен был оставить, чтоб ваше царское высочество не известить чрез сие о нижайших моих респектах и чтоб не отдать должнейшего моего поздравления о прибытии вашего царского высочества, и такожде не возблагодарить покорнейше за то, что ваше царское высочество благоволили меня высокодушно в напмятовании своем сохранить».

Приезд и торжественная встреча кронпринцессы описаны австрийским послом Плейером: «Когда экипаж Шарлотты подъехал к Неве, к берегу подошла новая красивая шлюпка, обитая красным бархатом и золотыми галунами. На шлюпке находились бояре, которые должны были приветствовать кронпринцессу и перевезти ее на другой берег. На этом берегу стояли министр и другие бояре в одеждах из красного бархата, украшенных золотым шитьем. Не в далеком расстоянии от них царица

ожидала свою невестку.

Когда Шарлотта приблизилась к ней, она хотела согласно этикетам поцеловать у нее платье, но Екатерина не допустила ее до этого, сама обняла и поцеловала ее, и потом проводила в приготовленный для нее дом. Там она повела Шарлотту в кабинет, украшенный коврами, китайскими изделиями и другими редкостями, где на небольшом столике, покрытом красным бархатом, стояли большие золотые сосуды, наполненные драгоценными камнями и разными украшениями, это был подарок на новоселье, приготовленный царем и царицей для их невестки».

Среди встречавших кронпринцессу не было супруга, находившегося в походе в Финляндию. Вскоре он вернулся в Россию, но вновь не смог увидеться с женой: отец, словно испытывая прочность семейных уз, послал сына в Ладугу смотреть за постройкой кораблей.

Царевич не виделся с супругой больше года и рад был встрече, положившей конец его кочевой жизни и выполнению им тяготивших его поручений.

Супруги жили в отдельном дворце, построенном в 1712 году на левом берегу Невы, близ церкви Всех Скорбящих Божией Матери. В собственном владении царевича находились еще несколько дворов и сел. Известно, что царевич тщательно занимался своим хозяйством и пытался вникнуть в хозяйственные дела: в архиве сохранились ведомости и наказы по имению со множеством собственноручных его резолюций и заметок.

Кронпринцесса была вполне довольна жизнью в Петербурге. На короткое время между супругами, как казалось, воцарилась полная идиллия. Шарлотта была приласкана всеми. «Царь во время своего пребывания здесь был очень ласков ко мне, — писала она матери, — он говорил со мною о самых серьезных делах и уверял меня тысячу раз в своем расположении ко мне. Царица со своей стороны не упускает случая выразить мне свое искреннее уважение». Особо обращает на себя внимание следующее признание принцессы: «Царевич любит меня страстно; он выходит из себя, если мне недостает хоть малейшей вещи, а я без ума от любви к нему».

Нежную любовь между молодоженами отметили и другие современники. Барон Левенвольд извещал вольфенбюттельский двор: «Нежность и любовь его высочества кронпринца сильнее, чем я могу выразить, а уважение и расположение к ней царя и царицы, особенно же царя, нисколько не меньше».

И все же полного семейного счастья не было даже в эти недолгие дни взаимной любви между супругами. Мир и покой нарушали придворные.

Кронпринцесса жаловалась матери: «Мои проклятые придворные приводят меня в бешенство, особенно же графиня (обер-гофмейстерина Моро де Бразей. — Н. П.)... Сначала она вела себя превосходно, вероятно, ради своего ребенка, но как только умерла ее девочка, она показала себя в настоящем свете, говорила мне постоянно грубости и нелепости, постоянно распевала в моем присутствии...»

Неумение кронпринцессы приструнить своих придворных, их беспардонное поведение отмечал и рижский губернатор Левенвольд, в течение короткого времени наблюдавший двор принцессы Шарлотты, когда та проезжала через подвластную ему территорию: «Придворные кронпринцессы при вольфенбюттельском дворе ведут себя так, что нет ни одного русского, которого они бы не должны стыдиться».

Он нигде не встречал «такого поведения со стороны людей высшего общества относительно их господ». Перед нами явное свидетельство слабохарактерности Шарлотты, которой пользовались ее слуги.

Дошло до того, что гофмейстерина стала распространять сплетню об интимных связях кронпринцессы с Левенвольдом. Об этом рассказала царевичу сама супруга, и только по его настоянию гофмейстерина была наконец уволена.

Умиротворению при дворе царевича не могло способствовать и физическое состояние кронпринцессы. Она и прежде не отличалась богатырским здоровьем, часто недомогала. Теперь же ее болезненное состояние усугублялось непривычным для нее петербургским климатом. Привыкая к педантичному распорядку дня, к раз навсегда установленному течению семейной жизни, она раздражалась поведением супруга, его расхлябанностью.

Все это вместе взятое вело к ссорам не только с царевичем, но и с двором. Прежняя благосклонность к невестке Екатерины Алексеевны сменилась враждебностью. Это объяснялось тем, что обе ждали ребенка. Императрица ревниво относилась к возможному появлению у кронпринцессы наследника мужского пола, то есть соперника ее собственным детям в будущей борьбе за престол.

Ухудшению атмосферы при дворе способствовали и финансовые затруднения, испытываемые кронпринцессой: огромный штат поглощал изрядную долю сумм, ассигнованных на ее содержание, к тому же у Шарлотты напрочь отсутствовали какие-либо хозяйственные навыки, что приводило к постоянному недостатку средств, ставило двор в стесненное положение. Царевич стал упрекать супругу в расточительстве, а та его в скупости, скарденности.

Кратковременный период спокойствия сменился взаимными жалобами супругов. «Одному Богу известно, как глубоко я этим огорчена, — писала кронпринцесса, — ибо, конечно, это доказывает, как мало у него расположения и уважения... Я всегда старалась скрывать характер моего мужа, но теперь личина снята против моей воли. Я несчастнее, чем думают и чем я могу выразить, но что мне приходится делать, как не огорчаться и скорбеть до тех пор, пока небо не облагодетельствует меня и не освободит из этого мира; вот единственное благо, на которое мне остается уповать».

Сомневаться в справедливости этих слов не приходится, если вспомнить поведение царевича и его «компании», его постоянные попойки в обществе попов и разного рода обжор и юродивых. Австрийский резидент Плейер в 1714 году доносил в Вену, что «Алексей проводит время в обществе дурных людей и очень предан пьянству». Когда к чопорной супруге, любившей чистоту и порядок, ночью являлся в сильном подпитии супруг, его появление не могло вызвать у нее ничего кроме раздражения и отвращения.

Пылкая любовь супруга, о которой писали сама Шарлотта и другие современники (если только эта любовь вообще существовала на самом деле, а не являлась следствием притворности царевича), очень быстро сменилась охлаждением и раздражением. Показательна сцена, о которой позднее, во время следствия над царевичем, поведал его камердинер Иван Большой Афанасьев.

Царевич был в гостях, показывал Афанасьев, «приехал домой хмелен, ходил к кронпринцессе, а оттуда к себе пришел, взял меня в спальню, стал с сердцем говорить: "Вот де Гаврило Иванович (Головкин. — Н. П.) с детьми своими жену мне на шею чертовку навязали: как де к ней ни приду, все де сердитует и не хочет де со мною говорить; разве де я умру, то я ему не заплачу. А сыну его Александру, голове его быть на коле, и Трубецкого: они де к батюшке писали, чтоб на ней жениться"».

Наутро, правда, Алексей одумался и не на шутку испугался сказанного накануне. Как свидетельствовал Иван Афанасьев, царевич вызвал его и спросил ласково: «Не досадил ли я вчерась кому?» «Я сказал: нет. "Ин не говорил ли я пьяный чего?" Я ему сказал: говорил, что писано выше. И он мне молвил: "Кто пьян не живет? У пьяного всегда много слишком слов. Я по истине себя очень зазираю, что я пьяный много сердитую и напрасных слов говорю много; а после о сем очень тужу. Я тебе говорю, чтобы этих слов напрасных не сказывать. А буде ты скажешь, ведь де тебе не поверят. Я запруся, а тебя станут пытаться". Сам говорил, а сам смеялся. Я сказал: что мне до этого дело и кому мне сказывать?..»

Чем дальше, тем больше накалялась в семье обстановка — одна ссора следовала за другой. Царевич стал проявлять полное безразличие к беременной супруге, склонной возбуждаться по всякому пустяку. Но речь шла не о пустяках. Во время очередной ссоры царевич заявил, «что не станет выполнять то, что подписано не по моей воле», — так он ответил на упрек кронпринцессы, что не выполняет обязательств, подписанных им в брачном контракте. Ссора эта закончилась оскорблениями. Царевич, видимо, в подпитии, заявил: «Поверь же мне, для вас здесь лучше, если вы возвратитесь в Германию, так как вы здесь недовольны».

На следующий день царевич протрезвел, понял, что наговорил много лишнего, и вновь испугался. Тем более что супруга пообещала уехать из России, испросив прежде разрешение у царя. Этого как раз и боялся царевич более всего. Он вынужден был пойти на попятную: «То, что я вчера говорил о вашем отъезде, сказано было потому, что я был рассержен». Однако принцесса была настолько оскорблена, что отказалась от примирения.

В 1714 году царевич серьезно занемог. По словам Плейера, многие считали даже, что долго он не протянет. Отец велел сыну отправляться в Карлсбад на лечение. Для супруги, которая находилась на восьмом месяце беременности, отъезд царевича стал неожиданностью. Еще большей неожиданностью оказалась холодность царевича при прощании; садясь в карету, он ограничился всего одной равнодушной фразой: «Я отъезжаю в Карлсбад».

Петр в это время вместе с супругой находился в Ревеле. Тем не менее он взял на себя заботу о невестке, которой вскоре предстояло рожать. Вопрос о престолонаследнике, в глазах царя, был исключительно важным. Дабы пресечь возможные слухи (в частности, о подмене ребенка в отсутствие отца), он велел при родах присутствовать трем дамам: супруге канцлера Г. И. Головкина, генеральше Брюс и «князь-игумень» Ржевской. «Я бы не хотел вас трудить, — писал царь Шарлотте, — но отлучение супруга вашего, моего сына, принуждает меня к тому, дабы предотвратить лаятельство необузданных языков, которые обыкли истину превращать в ложь. И понеже уже везде прошел слух о чреватстве вашем вящше года, того ради, когда благоволит Бог вам приспеть к рождению, дабы о том заранее некоторый антштальт учинить, о чем вам донесет канцлер граф Головкин, по которому извольте неотменно учинить, дабы тем всем, ложь любящим, уста заграждены были».

Шарлотта неправильно истолковала обеспокоенность Петра и была страшно оскорблена, расценив произошедшее как «важную интригу»

завистников и врагов. Она отправила негодующее письмо царю, но единственное, чего смогла добиться, так это того, что было объявлено, будто «антштальт» из трех знатных дам создан по ее собственной просьбе; этим, писала она, «все дело приобретает лучший вид в глазах любопытного света; иначе много пойдет толков, более к вашей, чем к моей невыгоде». Екатерине кронпринцесса отправила еще более отчаянное письмо: «Надеюсь, что мои страдания скоро прекратятся, теперь я ничего на свете так не желаю, как смерти, и, как кажется, это единственное мое спасение».

Утром 12 июля 1714 года кронпринцесса родила дочь, названную Натальей. Петр написал ей ласковое письмо. В ответ Шарлотта поблагодарила царя и пообещала исполнить его шутовское пожелание: следующим непременно родить сына.

После рождения дочери в жизни кронпринцессы наступил новый этап. Внешне все казалось вполне благополучным: из писем принцессы матери почти исчезли жалобы на грубость придворных и недовольство поведением супруга. Но это было кажущееся успокоение, объясняемое прежде всего состоянием Шарлотты, чувством обреченности, утратой веры в возможность перемен к лучшему. В действительности же два последних года жизни кронпринцессы были столь же напряженными, как и все предшествующее время, проведенное ею в России. Разве могла себя чувствовать кронпринцесса успокоенной, когда более чем за полгода пребывания супруга в Карлсбаде она не получила от него ни одного письма? Более того, Шарлотта даже не знала адреса супруга, и все ее письма за ненахождением адресата возвращались ей в Петербург.

Молчание царевича объяснимо, если учесть его показание во время следствия, что уже в 1713 году он вынашивал мысль о бегстве из России: он страстно мечтал освободиться как от нареканий сурового отца, так и от упреков супруги. Но от побега Алексея Петровича удерживала неизвестность: он не знал, куда бежать, где его могли принять с распростертыми объятиями.

Царевич возвратился в Петербург в конце декабря 1714 года. На короткое время он успокоил супругу, проявив внимание к ней и дочери. Вскоре кронпринцесса опять забеременела. Однако она очень огорчилась, узнав, что у мужа появилась любовница.

Иметь фаворитку или фаворита для государя или государыни не считалось чем-то зазорным. Возможно, если бы фавориткой царевича стала какая-нибудь красавица из аристократического дома, переживания Шарлотты были бы не столь острыми. Но в том-то и дело, что избранницей царевича оказалась крепостная девка Евфросинья Федорова,

принадлежавшая его учителю Вяземскому. Алексей Петрович зачислил ее в штат своего двора и жил с нею почти открыто. В письмах к матери Шарлотта старалась избегать жалоб на супруга, но не удержалась от того, чтобы не сообщить ей: «...с тех пор как он вернулся (из Карлсбада. — *Н. П.*), он проводит дома только часть ночи, да и в эти часы он не бывает в памяти от сильных попоек».

В последние месяцы жизни Шарлотты в ее письмах к матери появился новый сюжет: за время пребывания в России принцесса успела приглядеться к нравам и обычаям русского двора, к вельможам, вместе с царем правившим страной, отчасти к народу. Она не любила страну, в которой ей довелось жить. «Они лицемерны и вероломны», — писала она матери о русских. Кронпринцессу, например, крайне удивляло поведение не только простых людей, но и вельмож во время Святых, Рождества и Крещения, «когда все удовольствие заключается в еде и питье». В письмах встречаются отзывы и о некоторых вельможах, правда, отзывы эти не отличаются глубиной. Главным критерием оценки было отношение вельмож к самой принцессе. Канцлера Г. И. Головкина Шарлотта считала единственным, кроме царя, человеком, расположенным к ней. Что касается Меншикова, «то лучше об нем думать, чем говорить», но теперь есть другой, хуже, чем он, — Шафиров. «Старик Левенвольд сделался моим главным гонителем — это самый бесчестный человек в мире».

Единственным человеком, благосклонно относившимся к ней, она считала царя. Но постоянно озабоченный делами государственного масштаба и часто находившийся за пределами столицы, Петр не мог уделить ей должного внимания.

Значительно сложнее были отношения с царицей, в особенности после того, как обе вновь одновременно забеременели. Екатерину Алексеевну одолевала ревность — она опасалась, что у нее может родиться дочь, а у кронпринцессы сын; тогда наследником трона окажется потомок царевича. «С царицей я не выдаюсь, — писала кронпринцесса матери, — ибо всякий раз, когда я ее предупреждала о моем посещении, она мне отказывает».

Отзывы о племянницах Петра Великого тоже не отличались благожелательностью. Анна Иоанновна, герцогиня Курляндская, «чрезвычайно некрасива», старшая сестра, герцогиня Мекленбургская Екатерина, «хотя и некрасива, но гораздо умнее, она очень любезна, вкрадчива и любит много говорить; она черная, как цыганка, и вся в морщинах, как будто ей 50 лет, но при этом у нее красивые глаза и довольно хорошее сложение, а приятное обращение ее скрадывает ее недостатки. Младшая молчаливее герцогини, у нее очень хорошенькая

талия и хотя одно плечо выше другого, но она скрывает это довольно искусно; выражение же лица очень глуповато. Все просили меня брать их попеременно с собою на мой остров».

Несложившаяся семейная жизнь кронпринцессы пагубно отразилась на ее здоровье, и без того слабом. После первых родов ее мучили ревматические боли. Вторая беременность еще более расшатала здоровье. За десять недель до родов она упала на лестнице и сильно ушибла левый бок. С тех пор, по ее словам, ее «как будто кололи булавками по всему телу». Матери она писала: «Я постоянно страдаю, ибо я так больна, что принуждена почти всегда лежать на спине; ходить я не могу, и если мне нужно сделать два шага, то приходится меня поддерживать с обеих сторон; а если я посижу хотя одну минуту, я не знаю, куда деться».

12 октября 1715 года кронпринцесса родила сына, будущего императора России Петра II. В первые дни самочувствие ее было как будто удовлетворительным, она встала с постели и приказала вынести себя в креслах в другую комнату, где стала принимать поздравления. Не слушая докторов, она даже принялась кормить сына грудью. Затем, однако, наступило резкое ухудшение. Началась лихорадка. Узнав об этом, царь, будучи сам больным, прислал Меншикова с четырьмя лейб-медиками. Консилиум признал больную безнадежной.

Накануне кончины кронпринцесса отправила письмо к царю. Письмо было озаглавлено: «Всеподданнейшая и последняя просьба моя к его царскому величеству, подписанная мною перед самой смертью».

Этот документ можно назвать завещанием кронпринцессы. В нем она просила царя отправить ее двор на родину за счет казны, изложила распоряжения по хозяйственной части, но, главное, обратилась к царю с просьбой позаботиться о ее детях.

И ни единого слова о царевиче — будто дети остались сиротами! Красноречивое свидетельство об отношении Шарлотты к мужу, о ее представлениях о нем как об отце.

Получив письмо кронпринцессы, Петр, все еще болевший, велел отнести себя в кресле для прощания с умирающей. Невестка была тронута этим. Она умирала с надеждой, что ее дети не останутся без надзора.

Царевич до последней минуты находился рядом с супругой. По свидетельству Плейера, он трижды падал в обморок от горя и был безутешен.

Кронпринцесса скончалась 22 октября на двадцать первом году жизни. Современники-иностранцы виновником ее преждевременной смерти считали царевича, создавшего для супруги невыносимые условия жизни.

Он проявлял холодность, пренебрежение к ней, в семье царицы атмосфера враждебности. Брауншвейглюнебургский резидент Вебер писал в своих мемуарах: «Я постоянно замечал, что царевич в обществе никогда не говорил ни слова со своей женой и тщательно избегал ее». Он же сообщал: «Дом свой царевич запустил до того, что супруга его в своем спальном покое не была защищена от сырости, и когда царь, бывало, строго выговаривал ему за это, то цесаревна должна была выслушивать всевозможные угрозы от своего супруга: он попрекал ее тем, что она клеветает или ябедничает на него царю, а между тем эта разумная принцесса переносила свое несчастное положение с великою твердостью... Потребовалось бы несколько листов бумаги, если бы я захотел войти в подробности злополучия царевны».

Австрийский резидент Плейер отмечал недоброжелательное и даже враждебное отношение царевича не только к супруге, но и к ее детям. «Еще должен всеподданнейше добавить, — доносил он в Вену, — что из бумаг принца видно, что он хотел принца и принцессу, прижитых им с покойной супругой и которых он назвал немецким выводком, при новом правительстве отвергнуть и провозгласить наследниками детей, которых он надеялся иметь от своей любовницы».

Как и многие другие, Плейер тоже считал причиной ранней смерти кронпринцессы не болезни, а горечь печали, сопровождавшую ее супружескую жизнь. Ее смерти много содействовали разнообразные огорчения, которым она постоянно подвергалась. В частности, Плейер считал одной из причин кончины кронпринцессы постоянно испытываемые ею финансовые затруднения, скудность средств, отпускаемых на содержание ее многочисленного двора.

Если руководствоваться письмами кронпринцессы к матери и свидетельствами современников-иностранцев, то действительно следует признать главным виновником смерти Шарлотты царевича Алексея, постоянно досаждавшего супруге своими грубыми выходками и превратившего ее пребывание в России в сплошные мучения. Но, на наш взгляд, причины несчастий немецкой принцессы в России коренятся значительно глубже, а список виновников ее смерти надобно расширить.

Первопричиной смерти кронпринцессы Шарлотты следует считать брак по расчету, к которому были причастны как отец жениха, так и мать невесты. Царевич женился на ней по принуждению отца, руководствовавшегося, как было сказано, политическими соображениями. (Едва ли можно согласиться с мнением Вебера и ученого Лейбница, что Петр остановил свой выбор на Шарлотте, исходя из того, что образованная

и воспитанная супруга окажет благотворное влияние на царевича, не получившего должного воспитания и образования. Быть может, подобные соображения и существовали, но они не имели первостепенного значения.)

Для родственников же невесты лестно было породниться с русским царем, особенно после Полтавской виктории, когда, к изумлению Европы, захудалая Московия стала превращаться в великую державу. Интересы самой принцессы при этом также не принимались во внимание.

Но и сама Шарлотта ничего не сделала для того, чтобы хоть как-то укрепить свое положение в новой стране. Ее поведение уместно сравнить с поведением другой немки, оказавшейся в схожем положении в России, — Софии Фредерики Августы, будущей императрицы Екатерины II. В молодые годы в их судьбах было много общего — их роднило замужество за наследниками престола: Алексеем Петровичем и Петром Федоровичем. Но поведение жен наследников русского престола оказалось совершенно различным.

София Фредерика Августа, прибыв в Россию, приняла православие, стала именоваться Екатериной Алексеевной, в то время как Шарлотта оставалась в лютеранской вере и не изменила своего имени. Екатерина Алексеевна стремилась стать русской и, чтобы преодолеть языковой барьер, усердно принялась за изучение русского языка, отдавая отдыху лишь немногие часы. К ней были приставлены учителя русского языка и русская прислуга. Шарлотта, напротив, не проявляла никакого интереса к русскому языку. Более того, весь двор кронпринцессы состоял из немцев и немцев, представлявших обособленный мирок и пренебрежительно относившихся к русским нравам и обычаям.

Среди русской знати было немало противников женитьбы наследника на иностранке. Своим высокомерным отношением к русским Шарлотта и ее двор укрепляли позиции своих противников. Шарлотта не имела сторонников среди русской знати, а следовательно, не могла воспользоваться их поддержкой и тем самым несколько скрасить свое одиночество и отчужденность.

Вообще, надо сказать, что в семье непременно кто-то должен выполнять функцию главы. Обычно главой семьи становится обладатель более сильного характера и более высокого интеллекта. (Так, например, Екатерина II значительно превосходила в обоих компонентах своего безвольного мужа Петра III.) В случае же с царевичем Алексеем и принцессой Шарлоттой мы имеем дело с супругами одинаково безвольными, не способными навязать другому свои взгляды, манеру поведения, терпимость и пр. При заключении брачного контракта

надеялись на благотворное влияние более воспитанной и образованной Шарлотты на неотесанного супруга, но ошиблись — кронпринцесса оказалась такой же безвольной, к тому же капризной, безалаберной, умеющей не властвовать, а подчиняться. Она жила в изолированном, замкнутом мирке и оказалась неспособной не только влиять на супруга, но и держать в повиновении многочисленный штат своего немецкого двора. Два одинаковых характера, отличавшихся помимо всего прочего замкнутостью, оказались неспособными навязать свою волю друг другу, «притереться» один к другому. В конечном счете это и привело к разладу в семье, к отсутствию взаимного уважения и неизбежно должно было закончиться семейной трагедией.

27 октября (7 ноября по новому стилю) кронпринцессу «с достойным великолепием» погребли в главной крепостной церкви Петербурга — Петропавловском соборе^[5]. А уже на следующий день, 8 ноября, императрица Екатерина Алексеевна разрешилась от бремени царевичем Петром Петровичем, «и по этому случаю устроенные празднества и ликования продолжались целых восемь дней».

Почти одновременное рождение двух потенциальных наследников престола — сына Петра I Петра Петровича и внука Петра Алексеевича — оказало огромное влияние на судьбу царевича Алексея Петровича. С этого момента он перестал быть единственным наследником отца.

Глава третья. Бегство

После погребения кронпринцессы события, связанные с судьбой царевича, начали развиваться с необычайной стремительностью. Столкновение с отцом, внезапное исчезновение, судорожные попытки обнаружить его, выслеживание, погоня, возвращение на родину — все эти сюжеты скорее свойственны детективному жанру. Для полного сходства не хватает лишь драк, стрельбы и убийств — но последующая кончина царевича в царских застенках с лихвой компенсирует этот пробел. Последние три года жизни Алексея Петровича происходили на сцене, где разыгрывалась трагедия, в финале которой он погибает.

В самый день похорон кронпринцессы Шарлотты, как только участники траурной церемонии возвратились в дом царевича, Петр вручил ему письмо. Оно было подписано значительно раньше, 11 октября, в Шлиссельбурге, где царь отмечал очередную годовщину взятия крепости.

Ответить на вопрос, почему Петр вручил письмо только через шестнадцать дней после его подписания, не представляет труда — он ожидал родов кронпринцессы и супруги Кронпринцесса родила сына — Петра Алексеевича, а следовательно, у царя появился еще один наследник. Спустя неделю супруга царя Екатерина Алексеевна тоже родила сына — Петра Петровича, также прямого наследника отцовского престола. Это и дало царю возможность предъявить царевичу Алексею, которому шел двадцать шестой год, ультиматум.

В обширном эпистолярном наследии Петра Великого вряд ли можно обнаружить столь же эмоциональное по накалу сочинение. Лейтмотив, пронизывающий письмо от первой до последней фразы, состоит в заботе о государстве и благе его народа. Автор обнаруживает познания в древней и новейшей истории, а также в тексте Священного Писания, откуда он черпает примеры для доказательства своей правоты. Возможно, царь воспользовался советами кого-либо из своего окружения, например П. П. Шафирова или А. И. Остермана, которые располагали более глубокими знаниями истории, чем он сам, а также услугами кого-то из духовных иерархов. Но это несколько не умаляет литературных достоинств данного послания.

Не подлежит сомнению, что слова письма явились плодом долгих раздумий и сомнений, в нем отсутствует пустая риторика. В то же время тональность письма отличается суровостью и исключением какого-либо

иного подхода к решению вопроса, чем тот, который предлагает автор. Письмо ставит все точки над «і» и лишает адресата права на уклончивый ответ. Все это дает основание привести текст письма полностью, не опустив из него ни единого слова:

«Объявление сыну моему.

Понеже всем известно есть, что пред начинанием сея войны, как наш народ утеснен был от шведов, которые не толико ограбили толь нужными отеческими пристаньми, но и разумным очам к нашему нелюбозрению добрый задернули занавес и со всем светом коммуникацию пресекли. Но потом, когда сия война началась (которому делу един Бог руководцем был и есть), о коль великое гонение от сих всегдашних неприятелей ради нашего неискусства в войне, претерпели, и с какою горестию и терпением сию школу прошли, дондеже достойной степени вышереченного руководителя помощью дошли! И тако сподобилися видеть, что оный неприятель, от которого трепетали, едва не вящшее от нас ныне трепещет. Что все, помогающе Вышнему, моими бедными и прочих истинных сынов Российских равноревностных трудами достигнуто. Егда же сию Богом данную нашему отечеству радость рассмотря, обзрюсь на линию наследства, едва не равная радости горесть меня снедает, видя тебя наследника весьма на правление дел государственных непотребного (ибо Бог не есть виновен, ибо разума тебя не лишил, ниже крепость телесную весьма отнял: ибо хотя не весьма крепкой природы, обаче и не весьма слабой); паче же всего о воинском деле ниже слышать хочешь, чем мы от тьмы к свету вышли, и которых не знали в свете, ныне почитают.

Я не научаю, чтоб охоч был воевать без законной причины, но любить сие дело и всею возможностью снабдевать и учить, ибо сия есть едина из двух необходимых дел к правлению, еже распорядок и оборона. Не хочу многих примеров писать, но точию равноревных нам греков: не от сего ли пропали, что оружие оставили, и единым миролюбием побеждены, и желая жить в покое, всегда уступали неприятелю, который их покой в некончаемую работу тиранам отдал?

Аще кладешь в уме своем, что могут то генералы по повелению управлять, но сие воинству не есть резон, ибо всяк смотрит начальника, дабы его охоте последовать, что очевидно есть, ибо во дни владения брата моего не все ли паче прочего любили платье и лошадей, и ныне оружие? Хотя кому до обоих дела нет, и до чего охотник начальствуяй, до того и все; а от чего отращается, от того все. И аще сии легкие забавы, которые только веселят человека, так скоро покидают, кольми же паче сию зело тяжкую забаву (сиречь оружие) оставит!

К тому же, не имея охоты, ни в чем обучаешься и так не знаешь дел воинских. Аще же не знаешь, то како повелевать оными можешь и как доброму доброе воздать и нерадивого наказать, не зная силы в их деле? Но принужден будешь, как птица молодая, в рот смотреть. Слабостию ли здоровья отговариваешься, что воинских трудов понести не можешь? Но и сие не резон! Ибо не трудов, но охоты желаю, которую никакая болезнь отлучить не может. Спроси всех, которые помнят вышепомянутого брата моего, который тебя несравненно болезненнее был и не мог ездить на досужих лошадях, но, имея великую к ним охоту, непрестанно смотрел и перед очми имел, чего для никогда бывала, ниже ныне есть такая здесь конюшня. Видишь, не все трудами великими, но охотою.

Думаешь ли, что многие не ходят сами на войну, а дела правятся? Правда, хотя не ходят, но охоту имеют, как и умерший король Французский, который немного на войне сам бывал, но какую охоту великую имел к тому и какие славные дела показал в войне, что его войну театром и школою света называли, и не точию к одной войне, но и к прочим делам и манифактурам, чем свое государство паче всех прославил!

Сие все представляя, обращаю паки на первое, о тебе разсуждая: ибо я есмь человек и смерти подлежу, то кому вышеписанное с помощью Вышнего насаждение и уже некоторое возвращенное оставлю? Тому, иже уподобился ленивому рабу евангельскому, вкопавшему талант свой в землю (сиречь, все, что Бог дал, бросил)! Еще же и сие вспомяну, какова злого нрава и упрямого ты исполнен! Ибо сколь много за сие тебя бранивал, и не точию бранивал, но и бивал, к тому ж сколько лет, почитай, не говорю с тобою, но ничто сие успело, ничто пользует, но все даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь, только б дома жить и им веселиться, хотя от другой половины и все противно идет. Однако ж всего лучше, всего дороже безумный радуется своею бедою, не ведая, что может от того следовать (истину Павел святой пишет: како той может церковь Божию управить, иже о доме своем не радит?) не точию тебе, но и всему государству.

Что все я с горестию размышляя и видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо изобрел сей последний тестамент тебе написать и еще мало пождать, аще нелицемерно обратишься. Ежели же ни, то известен будь, что я весьма тебя наследства лишу, яко уд гангранный, и не мни себе, что один ты у меня сын, и что я сие только в устрастку пишу: воистину (Богу извольшу) исполню, ибо за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то како могу тебя непотребного пожалеть? Лучше будь чужой добрый, неже свой непотребный».

Прочитав послание, царевич, похоже, оказался в полной

растерянности — он знал о недоброжелательном отношении к себе отца, но не ожидал с его стороны такого решительного шага, коренным образом менявшего его судьбу. Вожденная царская корона ускользала из его рук. Что оставалось ему делать?

Царевич решил обратиться за советом к своему наставнику Кикину. Тот посоветовал самому отказаться от престола, сославшись на состояние здоровья. В повинном письме 8 февраля 1718 года царевич показывал: «А советовал Кикин отрицаться от наследства: "Тебе покой будет, как де ты от всего отстанешь, лишь бы так сделали; я де ведаю, что тебе не снести за слабостию своею"». Посоветовался царевич и еще с одним своим приятелем — генерал-лейтенантом князем Василием Владимировичем Долгоруким. Тот дал похожий совет: отречься от трона ввиду слабого здоровья, и тут же добавил: «Давай писем хоть тысячу; еще когда то будет; старая пословица: улита едет, когда то будет. Это не запись с неустойкою, как мы преж сего меж себя давывали».

31 октября царевич написал такой ответ царю:

«Милостивый государь-батюшка!

Сего октября в 27 день 1715 году, по погребении жены моей, отданное мне от тебя, государя, выchel; на что иного донести не имею, только буде изволишь за мою непотребность меня наследия лишить короны Российской, буди по воле вашей. О чем и я вас, государя, всенижайше прошу: понеже вижу себя к сему делу неудобна и непотребна, понеже памяти весьма лишен (без чего ничего возможно делать) и всеми силами умными и телесными (от различных болезней) ослабел и непотребен стал к толикого народа правлению, где требует человека не такого гнилого, как я. Того ради наследия (дай Боже вам многолетное здравие!) Российского по вас (хотя бы и брата у меня не было, а ныне, слава Богу, брат у меня есть, которому дай Боже здравие) не претендую и впредь претендовать не буду, в чем Бога свидетелем полагаю на душу мою, и ради истинного свидетельства, сие пишу своею рукою. Детей моих вручаю в волю вашу, себе же прошу до смерти пропитания. Сие все предав в ваше разсуждение и волю милостивую, всенижайший раб и сын Алексей».

Этот поспешный ответ очень не понравился Петру. Он увидел в нем лишь уход от главного вопроса: о нежелании царевича трудиться, стремлении к праздности. Готовность сына отказаться от всяких прав на престол вызвала у отца лишь подозрение в неискренности, в желании поскорее отвязаться от отцовских претензий. Однако сразу на письмо царь не ответил. Тому причиной недомогание, наступившее после празднования именин хлебосольного адмирала Ф. М. Апраксина, во время которого Петр,

видимо, хватил лишку.

Болезнь оказалась настолько продолжительной и опасной, что вельможи в ожидании кончины все время находились в соседних с царем покоях, а сам больной в ожидании смерти причастился. Сын посетил тяжелобольного единственный раз — видимо, поверил нашептыванию Кикина, стремившегося усилить неприязнь сына к отцу: «Отец твой не болен тяжко, он исповедывается и причащается нарочно, являя людям, что гораздо болен, а все притвор. Что же причащается, у него закон на свою статью». Кикин не довел свою мысль до логического конца, но она очевидна: «притвор» царя имел целью выяснить, кто готов оплакивать его смерть, а кто — радоваться.

Лишь 19 января 1716 года, оправившись от недуга, Петр отправил сыну второе письмо, назвав его «Последнее напоминание еще»:

«Понеже за своею болезнию доселе не мог резолюцию дать, ныне же на оное ответствую: письмо твое на первое письмо мое я вычел, в котором только о наследстве воспоминаешь и кладешь на волю мою то, что всегда и без того у меня. А для чего того не изъявил ответу, как в моем письме? Ибо там о вольной негодности и неохоте к делу написано много более, нежели о слабости телесной, которую ты только одну воспоминаешь. Также что я за то сколько лет недоволен тобою, то все тут пренебреженно и не упомянуто, хотя и жестоко написано. Того ради рассуждаю, что не зело смотришь на отцово прещение. Что подвигло меня сие остатнее писать: ибо когда ныне не боишься, то как по мне станешь завет хранить?! Что же приносишь клятву, тому верить не возможно для вышеписанного жестокосердия. К тому ж и Давидово слово: всяк человек ложь. Також хотя б и истинно хотел хранить, то возмогут тебя склонить и принудить большие бороды, которые ради тунеядства своего ныне не во авантаже обретаются, к которым ты и ныне склонен зело. К тому ж, чем воздаешь рождение отцу своему? Помогает ли в таких моих несносных печалех и трудах, достигши такого совершенного возраста? Ей, николи! Что всем известно есть, но паче ненавидишь дел моих, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю, и конечно по мне разорителем оных будешь. Того ради так остаться, как желаешь быть, ни рыбою, ни мясом, невозможно; но или отмени свой нрав и неллицемерно удостой себя наследником, или будь монах: ибо без сего дух мой спокоен быть не может, а особливо, что ныне мало здоров стал. На что по получении сего дай немедленно ответ или на письме, или самому мне на словах резолюцию. А буде того не учинишь, то я с тобою как с злодеем поступлю».

Царь потребовал дать немедленный ответ. Он его получил на

следующий же день. «Желаю монашеского чина и прошу о сем милостивого позволения», — отвечал царевич, подписавшийся под письмом так: «Раб ваш и непотребный сын Алексей».

Этот выбор царевич сделал по совету друзей. «Когда де иной дороги нет, то де лучше в монастырь, когда де так наследства не отлучишься», — советовали ему люди из его окружения. «Клобук вить не гвоздем к голове прибит, — поучал царевича Кикин, — мочно де его и снять». И добавлял: «Теперь де так хорошо; а впредь де что будет, кто ведает?»

Спустя неделю Петр вместе с Екатериной отправился во второе заграничное путешествие, в Копенгаген, а оттуда в Амстердам и Париж. Царь намеревался убедить датского короля активизировать операции против шведов и добивался отказа Франции от финансовой помощи Шведской короне, без которой Швеция не в состоянии была продолжать войну. Накануне отъезда Петр лично посетил сына, который притворно сказался больным. Полагая, что согласие стать монахом дано сгоряча, он предпринял еще одну попытку увещевать сына: «Это молодому человеку не легко; одумайся, не спеша; потом пиши ко мне, что хочешь делать; а лучше бы взяться за прямую дорогу, нежели в чернцы. Подожду еще полгода».

Выражение «одумайся, не спеша» ободрило царевича. «Я и отложил вдаль», — говорил он впоследствии.

Внешняя покорность сына, готовность отречься от престола и постричься в монахи являлась чистейшим обманом. Пребывание в монастыре, на которое так охотно соглашался Алексей, могло устроить лишь человека, решившего полностью отказаться от мирской суеты и мирских забот. Подобных намерений у царевича не было и в помине. Келья вовсе не казалась ему лучшим местом пребывания. Ведь хотя клобук и не был прибит к голове гвоздем, но, как остроумно заметил В. О. Ключевский, сменить его на корону представлялось затруднительным, а от мыслей о короне Алексей в душе отнюдь не отказался. Кроме того, уход в монастырь означал отказ от мирских удовольствий, и в частности потерю Евфросиньи, которая занимала все больше места в сердце царевича.

Полгода, отпущенные Петром сыну на размышление, давно истекли, но царевич молчал. Тогда царь обратился к сыну с третьим письмом, отправленным из Копенгагена 26 августа 1716 года, в котором вновь потребовал сделать окончательный выбор и либо немедленно отправиться к нему, чтобы взяться наконец за ум и принять участие в военных действиях против шведов, либо определить точное время пострижения и назвать монастырь, в котором он намеревается жить в качестве монаха. «И буде первое возьмешь, — писал царь, — то более недели не мешкай, поезжай

сюда, ибо еще можешь к действиям поспеть».

Письмо отца вызвало у сына несказанную радость. Вызов в Копенгаген предоставлял ему возможность без всяких хлопот выехать из России. Не в монастырь и не в Копенгаген решил он держать путь, а на чужбину, в страну, где бы его приняли и где бы он мог укрыться от отца и спокойно дожидаться его кончины.

Мысль бежать из России появилась у царевича задолго до 1716 года. Напомним, еще в 1711 году он писал духовнику из Дрездена, что лишь теплые чувства к нему, духовнику, заставляют его возвратиться в Россию. Еще одна возможность остаться на чужбине представилась в 1714 году, когда царевич принимал воды в Карлсбаде. Это ему усиленно советовал Кикин. «Когда де ты вылечишься, — учил он царевича, — напиши отцу, что еще на весну надобно тебе лечиться, а между того поедешь в Голландию, а потом, после вешнего кура, можешь во Италии побывать, и тем отлучение свое года два или три продолжить». Когда же царевич возвратился в Россию, Кикин спрашивал его: «Был ли де кто у тебя от двора французского?» Узнав же, что никто не был, стал сетовать: «Напрасно де ты ни с кем не видался от французского двора и туды не уехал: король человек великодушный, он де и королей под своею протекциею держит, а тебя де ему не великое дело продержать».

Тогда, в 1714 году, царевич так и не решился на побег. Он не знал, куда бежать, где его не выдадут царю. Единственной страной, где он мог бы рассчитывать на гостеприимство, была Австрия, которой правил император Карл VI, его родственник по супруге. Но в 1714 году была жива кронпринцесса Шарлотта, и появление в Вене беглеца, оставившего в России супругу и дочь Наталью, вряд ли вызвало бы восторг у императора и его родственников.

Но в Россию царевич возвращался с явной неохотой. Он предвидел свою возможную участь. Однажды в подпитии он говорил окружающим: «Быть мне пострижену, и буде я волею не постригусь, то неволею постригут же... Мое житье худое». А уже по возвращении, в 1715 году, стал жаловаться одному из своих служителей, Федору Эварлакову, что не послушался Кикина и «что такое не зделал, как мне Кикин приговаривал, чтоб ехать во Францию, там бы я покойнее здешнего жил, пока Бог изволил».

— Для чего тебе там делать? Изволь выпросить здесь дело у отца и живи здесь у отца, — заметил Эварлаков.

— Не такой де он человек, не угодит на него никто. Я де ничему не рад, только дай мне свободу и не трогай никуды и отпусти де меня в

монастырь в Киев или бы де лутче жить в полону в неволе, нежели здесь, два де человека на свете, как боги: из духовных поп, римской, да другой де царь московской: как хотят, так и делают».

В 1716 году кронпринцессы уже не было в живых. Правда, в России оставались двое детей царевича, однако Алексей Петрович не испытывал к ним никаких родительских чувств. В его сердце безраздельно господствовала любовница Евфросинья. Но главное преимущество побега в 1716 году состояло в том, что все было готово помимо участия царевича. Ему оставалось послушно выполнять предписание царя да слушаться советов Кикина, подсказавшего ему место, где его примут. Отправляясь еще прежде того на лечение в Карлсбад, Кикин шепнул царевичу: «Я де тебе место какое-нибудь сыщу».

Сборы на этот раз были недолгими. Перед отъездом царевич нанес визиты Сенату и князю Меншикову. «В сенаторах, — показывал позже Алексей Петрович, — я имел надежду таким образом, чтоб когда смерть отцу моему случилась в недозрелых летах брата, то б чаял я быть управителем князю Меншикову, и то б было князь Якову Долгорукову и другим, с которыми нет согласия с князем, противно. И понеже он, князь Яков, и прочие со мною ласково обходились, то б чаю, когда я возвратился в Россию, были бы моей стороны. К сему же уверился я, когда при прощании в Сенате ему, князю Якову, молвил на ухо: "пожалуй, меня не оставь", и он сказал, что "я всегда рад, только больше не говори: другие де смотрят на нас". А прежде того, когда я говаривал чтоб когда к нему приехать в гости, и он отвечал: "пожалуй ко мне не езд; за мною смотрят другие, кто ко мне ездит"».

Царевич был уверен в благожелательном отношении к нему и других сенаторов: П. П. Шафирова, Т. Н. Стрешнева, П. А. Толстого, Г. И. Головкина, И. А. Мусина-Пушкина, Ф. М. Апраксина и его брата Петра, то есть всех активных соратников царя. Своими верными друзьями Алексей Петрович считал киевского губернатора князя Дмитрия Михайловича Голицына и его брата, талантливого военачальника Михаила Михайловича. «А на князь Дмитрия Михайловича, — читаем в показаниях царевича, — имел надежду, что он мне был друг верный и говаривал, что "я тебе всегда верный слуга". А князь Михайло Михайлович мне был друг же; к тому же стал и свой, и на него надеялся, что он меня не оставит». Иноземцев Алексей Петрович недолюбливал, но наемного генерала Боута зачислил тоже в свои друзья.

Думается, что царевич пребывал в заблуждении, назвав всех сенаторов своими сторонниками. Энергичные соратники Петра едва ли всерьез

воспринимали вялого и ленивого наследника, неспособного к самостоятельным действиям. Заискивающие взгляды, подобострастные улыбки, обычную приветливость вельмож царевич воспринимал как знаки дружбы, в то время как это обозначало всего лишь стремление сохранить свое положение и при наследнике в случае, если тот, паче чаяния, все-таки станет царем. Даже А. Д. Меншиков, человек сильной воли и дерзкого нрава, оказал услугу царевичу, когда тот перед отъездом совершил прощальный к нему визит, чтобы объявить о повелении отца ехать к нему.

— Где же оставишь Евфросинью? — спросил Меншиков.

— Я возьму ее до Риги и потом отпущу в Петербург.

— Возьми ее лучше с собою, — посоветовал Меншиков. Царевич лукавил, когда объявил о намерении расстаться с любовницей в Риге. Он уже не представлял жизни без нее и вовсе не собирался отсылать ее от себя.

После визита к Меншикову царевич пригласил к себе своего камердинера Ивана Большого Афанасьева и сообщил ему, единственному человеку, остававшемуся в России, о своем бесповоротном намерении:

— Не скажешь ли кому, что я буду говорить? Иван дал обещание молчать.

— Я не к батюшке поеду; поеду я к цесарю или в Рим.

— Воля твоя, государь, только я тебе не советник.

— Для чего?

— Того ради: когда тебе удастся, то хорошо; а если не удастся, ты же на меня будешь гневаться.

— Однако ж ты молчи и про сие никому не сказывай. Только у меня про это ты знаешь, да Кикин, и для меня он в Вену проведывать поехал, где мне лучше быть. Жаль мне, что с ним не увижусь, авось на дороге.

Камердинер ехать с царевичем отказался, сославшись на болезнь, но обещал все держать в тайне.

С такими радужными надеждами царевич отправился в дорогу из Петербурга 26 сентября с немногочисленной свитой: с ним были Евфросинья, ее брат Иван Федоров, служители Яков Носов, Петр Судаков и Петр Мейер. Царевич располагал значительной суммой денег на путевые расходы: 1000 червонных выдал ему Меншиков, 200 °Сенат; кроме того, он одолжил в Риге у обер-комиссара Исаева 5000 червонных и 2000 мелкими деньгами. Еще 3000 рублей царевич одолжил у сенатора Петра Матвеевича Апраксина. Итого у него было 13 тысяч рублей — очень крупная по тому времени сумма. Если перевести ее на золотые рубли конца XIX — начала XX столетия, то получится 133 тысячи золотых рублей.

Кортеж миновал Ригу. В четырех милях от Либавы царевич встретился

со своей теткой царевной Марией Алексеевной, возвращавшейся из Карлсбада в Россию. Между племянником и теткой состоялась примечательная беседа.

— Куда едешь? — спросила царевна.

— Еду к батюшке, — отвечал царевич.

— Хорошо, надобно отцу угождать, то и Богу приятно. Что б прибыли было, если б ты в монастырь пошел?

— Я уже не знаю, буду ль угоден или нет; уже я себя чуть знаю от горести. Я бы рад куды скрыться. — Тут царевич заплакал.

— Куда тебе от отца уйтить, везде тебя найдут.

Потом зашел разговор о матери.

— Забыл ты ее, — укоряла царевна, — не пишешь и не посылаешь ей ничего. Послал ли ты после того, как чрез меня была посылка?

Царевич отвечал, что передал ей деньги через Дубровского, а на просьбу написать письмо отвечал:

— Я писать опасаюсь.

Царевна возразила:

— А что, хотя бы тебе и пострадать? Так ничего: ведь за мать, не за кого иного.

— Что в том прибыли, — отвечал царевич, — что мне беда будет, а ей пользы никакой. Жива ль она?

— Жива. Было откровение ей самой и другим, что отец твой возьмет ее к себе и дети будут таким образом: отец твой будет болен и произойдет некоторое смятение; он приедет в Троицкий монастырь на Сергиеву память; мать твоя будет тут же; он исцелет от болезни и возьмет ее к себе, и смятение утишится. А Питербурх не устоит за нами — быть ему пусто.

Зашел разговор и о царице Екатерине Алексеевне.

— Что хвалишь ее? — говорила царевна. — *Ведь она не родная мать. Где ей так тебе добра хотеть!* Митрополит Рязанский (Стефан Яворский. — *Н. П.*) и князь Федор Юрьевич (Ромодановский. — *Н. П.*) объявление ее царицею не благо приняли. К тебе они склонны. Я тебя люблю и всегда рада всякого добра; не много вас у нас; только бы ты ласков был.

Во много крат важнее была другая встреча в Либаве — с Кикиным, сообщившим важные сведения. Он ездил в Карлсбад только для вида, а на деле договаривался в Вене о предоставлении убежища царевичу. Царевич сразу же стал спрашивать о результатах: нашел ли Кикин ему место какое? «Нашел, — отвечал Кикин. — Поезжай в Вену к цесарю; там не выдадут. Сказывал мне Веселовский (русский резидент в Вене. — *Н. П.*), что его спрашивают при дворе, за что тебя лишают наследства? Я ему отвечал:

знаешь сам, что его не любят; я чаю, для того больше, а не для чего иного. Веселовский говорил о тебе с вице-канцлером Шёнборном, и по докладу его цесарь сказал, что примет тебя как сына; вероятно, даст тысячи по три гульденов на месяц».

Кикин дал царевичу и несколько практических советов, как уйти от погони: если кто будет прислан от отца, учил он, то «уйди де ночью один, или возьми детину одного, а багаж и людей брось; а будет де два присланы будут, то притвори себе болезнь, а из тех одного пошли наперед, а от другого уйди». По его же совету царевич отправил «обманное письмо», «а нарочно написано из Королевца (Кенигсберга. — *Н. П.*), чтоб не признали... а писано для того, чтоб навстречу присылки не было». Напоследок Кикин добавил: «Если по тебе отец пришлет, отнюдь не ездй».

Обрадованный этими известиями, царевич проехал Данциг и, вместо того чтобы продолжить путь к отцу, круто повернул в сторону Вены. Последние сведения о нем сообщил курьер Сафонов, доставивший в Петербург письмо отца с вызовом прибыть в Копенгаген и затем отправившийся обратно к Петру. 21 октября Сафонов донес царю, что вслед за ним едет царевич. Однако истекло два месяца, а царевич не появлялся.

Петра беспокоила тревожная мысль: не стал ли царевич, ехавший без конвоя, жертвой нападения разбойников, не оказался ли он в качестве заложника у шведов? 9 декабря 1716 года царь поручил генералу Вейде, войска которого дислоцировались в Мекленбурге, отправить несколько отрядов во главе с надежными офицерами для поисков исчезнувшего сына. Одновременно царь вызвал Аврама Веселовского из Вены в Амстердам и 20 декабря вручил ему собственноручное повеление, «что где он проведает сына нашего пребывания, то разведав ему о том подлинно, ехать ему и последовать за ним во все места, и тотчас о том, чрез нарочные стафеты и курьеров, писать к нам; а себя содержать весьма тайно, чтоб он про него не проведал».

Вполне вероятно, что Петр подозревал, что сын бежал в Австрию. Иначе зачем он поручил поиск сына не какому-либо дипломату, представлявшему интересы России в Берлине или Париже, а именно резиденту в Вене? О догадке Петра свидетельствует и его послание к цесарю, которое должен был вручить Аврам Веселовский. Не располагая точными сведениями о том, что сын укрывается во владениях цесаря, Петр в собственноручном письме к Карлу VI извещал об исчезновении сына и деликатно просил, «ежели он в ваших областях обретается тайно или явно, повелеть его с сим нашим резидентом, придав для безопасного проезда

несколько человек ваших офицеров, к нам прислать, дабы мы его отечески исправить для его благосостояния могли, чем обяжете нас вечно к своим услугам и приязни».

Между тем в донесениях Вейде отсутствовало что-либо утешительное. Он отправил двух офицеров в Немецкую землю и одного в Польшу. 22 января 1717 года Вейде извещал царя: «Из Бреславля пишет один из посланных, что там в городе был в одном доме и сказывался купцом из русской армии тому назад с девять недель и имеет при себе двух сыновей и единую дочь и поехал, не мешкав, по Венской дороге. Должен быть он». Однако царевича сопровождали не три, а четыре человека, а главное, Евфросинья никак не могла представляться дочерью царевича, равно как и два взрослых человека не могли называться его сыновьями — царевичу шел двадцать седьмой год.

Другие посланцы тоже сообщали не более радостные сведения. Один из них доносил, что имярек был в Гданьске и Кенигсберге, в то время как царевич не доехал до Кенигсберга. Другой сообщил, что беглец провел в Вене одну ночь и скрылся в неизвестном направлении.

Царевич и в самом деле сумел запутать следы. В почтовой карете, выехавшей из Ливавы, сидел уже не наследник русского престола, а московский подполковник Кохановский с супругой и поручиком. В другой карете разместились его служители. В пути произошло еще несколько метаморфоз. Подполковник Кохановский стал регистрироваться на почтовых станциях как польский кавалер Кременецкий. Чтобы изменить внешность, он начал отращивать бороду. Наконец, не доезжая Вены, царевич обрядил Евфросинью в мужское платье и стал выдавать ее за офицера.

Царевич сбил с толку даже своего слугу Ивана Большого Афанасьева, оставшегося в Москве. Он послал ему письмо, в котором велел отправиться вслед за ним. Пунктом своего пребывания Алексей Петрович назвал Гамбург. Быть может, царевич, зная о перлюстрации писем, умышленно вызвал камердинера в Гамбург и тем пытался запутать в первую очередь отряды сыщиков?

Отъезд Ивана Афанасьева к царевичу был сопряжен с большим риском. Но камердинер не посмел послушаться и отправился в путь, однако нигде никаких следов пребывания наследника не обнаружил и ни с чем возвратился в Петербург.

Успешнее оказались действия Аврама Веселовского. Однако здесь немало загадочного, и подлинная роль Веселовского в деле поиска царевича остается неясной. В общей сложности русский резидент отправил

царю 25 донесений: первое из них датировано 3 января 1717 года, последнее — июлем 1717 года.

В донесениях названы города, в которых довелось побывать Веселовскому: Франкфурт-на-Одере, Бреславль, Прага, Вена и др. Из первого же донесения из Франкфурта следует, что Веселовский напал на след беглеца. Он извещал царя, что почтовые служащие сообщили ему сведения «о проезде русского офицера с женою и четырьмя служителями: на некоторых почтах сказали, что памятуя проезд такого офицера». Щедрая плата Веселовского развязала языки почтовым работникам, а также позволила познакомиться с записями воротных писарей, регистрировавших имена проезжающих и места их остановки. Веселовскому сообщили некоторые подробности об интересовавшем его лице, назвавшемся подполковником Кохановским: «Двое служителей его едут на почтовой телеге за ним, а не вместе; а с ним де сидит токмо один поручик в коляске против его, а служитель позади коляски». Хозяин гостиницы «Черный орел» описал внешность проезжавшего, которая сошлась с внешностью царевича, «токмо с тою прибавкою, что опущены вновь черные уски французские», и добавил, что он «имеет жену при себе малого роста, одного поручика и одного служителя; только де по дву часех, как он обедал, приехали еще два служителя на почтовой телеге». Вскоре путешественники отправились в Бреславль.

Полученная информация убеждала, что через город проезжали царевич и его спутники.

«Я еду далее, — заключал свое донесение Веселовский, — и буду от почты до почты осведомляться фундаментально, как и здесь, и ехать с теми же почтальонами, которые его отвозили».

Выяснилось, что царевич побывал и в Бреславле, проживал там в гостинице «Золотой гусь», но это было еще 13 ноября (по новому стилю). Донесение же Веселовского датировано 17 января 1717 года.

Из Бреславля дорога вела к Вене и Праге. В Неусе выяснилось, что «русский офицер» поехал «прямою почтового дорогою» к Вене, но от Неуса «поворотил к Праге». Прибыв сюда 19 ноября предыдущего 1716 года, он остановился в гостинице «Золотая гора», где пробыл пять дней, и затем «на экстрапочте» отправился в Вену. К сожалению для царя, поиски Веселовского приостановились: на пути в Вену у него обострилась «почечуйная болезнь» (геморрой) «с жестокою лихорадкою». Доктора полагали, что она произошла от долговременного пути, и настоятельно советовали Веселовскому задержаться недели на две. Веселовский ограничился неделей и двинулся «за известною персоною» в Вену.

Из Вены Веселовский доносил, что «известный подполковник» прибыл сюда еще 25 ноября и остановился в гостинице «Черный орел», за городом; имя свое он назвал иначе, чем прежде, — «польский кавалер Кременецкий». Здесь, однако, след царевича затерялся. «Постояв одни сутки в том месте, — доносил Веселовский царю 24 января, — вещи свои вечером перевез на наемном фурмане в иное место, а сам на другой день, заплатя иждивение, пешком отшел от них, так что они неизвестны, куды он перешел и не отъехал ли куцы». Удалось узнать также, что перед отъездом незнакомец купил «готовое мужское платье кофейного цвету своей жене, и оделась она в мужской убор». В этом письме Веселовский высказал предположение, что царевич мог поехать в Рим: «Это может быть сходно, нежели ему здесь жить инкогнито. А явно и тайно у цесаря он не являлся». 3 февраля Веселовский доносил царю о безуспешных попытках обнаружить следы царевича «по двум почтовым дорогам, ведущим отсюда к Италии»; 7 февраля — о столь же безуспешных поисках беглеца «во всех партикулярных домах» и в предместьях Вены.

Тем не менее царь 24 февраля велел Веселовскому «послать двух верных и не глупых людей, одного в Италию до Риму, а другого до Швейцарской земли, и повелеть им накрепко о том же проведывать и тебе писать. Также надобно еще в Вене проведывать, в Неаполе, Милане, Сардинии». У Веселовского, однако, не было резона выполнять это повеление, так как ко времени получения письма ему стало точно известно о пребывании царевича именно в Вене.

В донесении от 21 февраля Веселовский сообщил царю, что располагает подлинной информацией, «что Коханский обретается здесь инкогнито, токмо у цесаря еще не являлся», но обнаружить, где именно находится царевич, не удалось. При этом Веселовский убеждал царя, что «мочно его тайно, имея 4 или 5 русских офицеров, увезти отсюда в Мекленбургю или куда потребно».

Царь внял этому совету. 19 марта 1717 года в Вену прибыл гвардии капитан Александр Иванович Румянцев с тремя офицерами. Ему велено было тайно выкрасть царевича. «Капитану Румянцеву тот весь секрет от нас сообщен, — извещал Петр своего резидента, — и с ним с одним ты откровенно в том поступаи и советуй, а ему велено все то исправлять, что ты ему велишь. И тако приложи старание, дабы ту особу *каким-нибудь способом*^[6] в Мекленбургю к войску нашему вывезть».

Но оказалось, что Веселовский не владел ситуацией, и Румянцев опоздал: ко времени его прибытия Алексея Петровича перевели из Вены в Тироль, в крепость Эренберг.

Из донесения Веселовского от 7 апреля следует, что его действия вызвали гнев Петра. Царь заподозрил своего резидента в том, что тот морочит ему голову, сообщая противоречивые сведения: «письма одно с другим не сходны»; к тому же Веселовский ничего не сделал для того, чтобы арестовать или по крайней мере удержать беглеца в Вене. Веселовский оправдывался: «Здесьние министры мне говорили, что здесь его нет. Посему не мог я и собственноручную грамоту вашего величества цесарю представить. Как скоро получу известие от Румянцева, буду действовать».

Отправленный в Тироль Румянцев быстро выяснил, что царевич был доставлен в крепость Эренберг еще в январе 1717 года. Как только Румянцев прибыл в Вену и информировал об этом Веселовского, тот попросил у цесаря аудиенции и наконец вручил ему послание царя от 20 декабря 1716 года. Помимо вручения грамоты Веселовский объявил цесарю, «что вашему величеству зело чувственно будет слышать, что от его министров именем цесаря мне ответствовали, что будто известной персоны в землях его нет и ему, цесарю, о том неизвестно, а ныне уведомлен я подлинно чрез нарочного, отправившегося курьера, который его и людей его сам видел, что оная обретается в Эренберхе на цесарском кошту, и дабы его величество по известному праводушию требование вашего величества исполнил». Цесарь опять слукавил, заявив, что ему о прибытии «известной персоны» ничего не известно и что он будет наводить справки.

После аудиенции у цесаря Веселовский велел Румянцеву немедленно вновь отправиться в Тироль, поселиться инкогнито близ крепости и не спускать глаз с царевича, старательно стеречь его. Сам же Веселовский отправился к вице-канцлеру Шёнборну с упреком, что тот его обманывал, когда заявлял об отсутствии известной персоны во владениях цесаря.

Только через месяц после вручения письма Петра, 12 мая, цесарь удосужился отправить ответное послание. Ответ был уклончивым; цесарь не говорил ни «да», ни «нет» относительно пребывания царевича в его владениях и лишь клялся «особливо любезному приятелю» в преданности и готовности «сколько от меня зависит со всяким попечением мыслить буду, дабы ваш сын Алексей... не попал в неприятельские руки».

Насколько искренен был Веселовский в своих поисках? Возможно, что он всего лишь делал вид, что его старания не дают результатов, а сам вел двойную игру. Вспомним слова Кикина, сказанные царевичу в Либаве, о том, что цесарь примет царевича как родного сына. Кикин ссылаясь при этом именно на Веселовского, который будто бы и провел предварительные переговоры с австрийским вице-канцлером графом Шёнборном. При этом

Веселовский, по словам Кикина, уже тогда заявил ему, что не намерен возвращаться в Россию. (Забегая вперед, скажем, что Веселовский действительно отказался вернуться в Россию. Впрочем, после того, как царевича доставили в Россию и началось следствие, выяснилась роль Веселовского в поисках места, где беглец мог найти безопасное и надежное убежище. Веселовский не мог не понимать, что в случае возвращения ему не снести головы, и предпочел бежать в Англию, где и скончался в преклонном возрасте.)

Надо полагать, что после бесед с Кикиным и переговоров с Шёнборном Веселовскому нетрудно было догадаться, где искать царевича. Однако вместо прямого пути в Вену он стал следовать из города в город по маршруту царевича, вел расспросы у почтмейстеров и кучеров, осаждал донесениями царя, описывал в деталях каждый свой шаг. Не для того ли он избрал кружной путь, чтобы дать венскому двору время для более надежного укрытия беглеца? Не с этой ли целью он задерживал вручение письма Петра цесарю до того времени, когда стало точно известно место пребывания беглеца в цесарских владениях? Объяснение Веселовского, почему он не мог «собственноручную грамоту вашего величества цесарю представить» — потому якобы, что «здешние министры мне говорили, что здесь его (царевича. — *Н. П.*) нет», явно надуманное, ибо в письме Петра отсутствовало утверждение, что император предоставил убежище Алексею Петровичу.

С появлением в Вене Румянцева и особенно П. А. Толстого Веселовский стал вполне добросовестно сотрудничать с ними, не саботировал ни одной их просьбы и оказал царю неоценимые услуги в возвращении Алексея на родину. Почему он так поступал? Чтобы не вызвать подозрений в своей причастности к побегу царевича? Или потому, что убедился в том, что бесполезно оказывать сопротивление агентам царя, в том, что цесарь не выдержит напора Петра и непременно выдаст беглеца?

Вернемся, однако, к царевичу Алексею. Что же произошло с ним после того, как 10 ноября (21-го по новому стилю) он появился в Вене? Надо сказать, что его появление здесь усложнило жизнь не только русского резидента Веселовского, но и всего венского двора.

О первых месяцах пребывания царевича на чужбине обстоятельные сведения обнаруживаем в черновых записях вице-канцлера графа Шёнборна. Они были найдены в Венском архиве Н. Г. Устряловым и опубликованы им в 1859 году. Эти записи настолько уникальны и ценны, что заслуживают полного воспроизведения.

«1716 года 21/10 ноября поздно вечером, около 10 часов, офицер,

проходя из кабинета вице-канцлера с подписанными бумагами для отправлений на почту, встретил на лестнице неизвестного человека (то был слуга царевича Яков Носов, как видно из его позднейших собственных показаний. — Прим. Н. Г. Устрялова), который ломаным языком немецко-французским требовал, чтобы его немедленно допустили к вице-канцлеру, и как ему сказали, что уже поздно, то хотел ворваться силою. На вопрос офицера, что ему надобно, незнакомец отвечал, что он прислан к самому графу и имеет повеление непременно сегодня с ним говорить. Доложили вице-канцлеру, который уже ложился в постель: он велел сказать незнакомцу, чтобы пришел завтра в 7 часов утра; если же имеет письмо, подал бы чрез офицера и сказал бы свое имя. Незнакомец настоятельно требовал видеть графа, угрожая в противном случае идти во дворец прямо к императору, потому что имеет такое дело, о котором еще сегодня должно быть донесено его величеству.

Допущенный, наконец, к вице-канцлеру, бывшему уже в шлафроке, он сказал: "Наш государь-царевич стоит здесь на площади и хочет видеться с вашим сиятельством". Поступки и слова незнакомца так были странны, что вице-канцлер спросил, правду ли он говорит, и каким образом мог прибыть сюда царевич? Тот отвечал: "Царевич слышал много хорошего о вице-канцлере, и как все чужестранцы, к здешнему двору приезжающие, являются к графу, то и он обращается к нему; впрочем желает быть в величайшей тайне, чтобы никто его не видел; для того прибыл вчера в близлежащую гостиницу под вывеской Кларрегер, оставив свою свиту из трех персон и несколько багажа в Леопольдштадте". Вице-канцлер хотел немедленно одеться и идти к кронпринцу, но посланный сказал, что царевич уже здесь, у подъезда, и ждет только приглашения, по которому сам немедленно явится. Вице-канцлер послал офицера почтительно пригласить принца; сам между тем спешил одеться, и прежде, чем успел кончить свой туалет, царевич уже явился, сопровождаемый офицером и своим служителем.

Первым словом его было учтивое изъявление особой доверенности к вице-канцлеру и желание переговорить с ним наедине. Как скоро посторонние лица удалились, он сказал в сильном волнении следующее:

"Я пришел сюда просить императора, моего шурина, о покровительстве, о спасении самой жизни моей. Меня хотят погубить, меня и детей моих хотят лишить престола". Произнося эти слова, царевич с ужасом озирался и бегал по комнате.

Вице-канцлер, при внимательном наблюдении удостоверясь по описаниям, что это точно царевич, и принимая в соображение, что другой

человек не дерзнул бы так положительно выдавать себя за принца, старался успокоить и утешить его, уверяя, что здесь он в совершенной безопасности, причем спрашивал, чего желает. Царевич отвечал:

"Император должен спасти мою жизнь, обеспечить мои и детей моих права на престол. Отец хочет лишит меня и жизни, и короны. Я ни в чем пред ним не виноват, я ничего не сделал моему отцу. Согласен, что я слабый человек, но так воспитал меня Меншиков. Здоровье мое с намерением расстроили пьянством. Теперь говорит мой отец, что я не гожусь ни для войны, ни для правления; у меня однако ж довольно ума, чтоб царствовать. Бог дает царства и назначает наследников престола, но меня хотят постричь и заключить в монастырь, чтобы лишит прав и жизни. Я не хочу в монастырь. Император должен спасти меня".

Говоря это, царевич был вне себя от волнения, упал на стул и кричал: "Ведите меня к императору!" Потом потребовал пива, а как пива не было, то стакан мозельвейну.

Вице-канцлер успокаивал его и говорил, что здесь он в совершенной безопасности, но доступ к императору во всякое время труден, теперь же за поздним временем решительно невозможен, и царевич должен сперва открыть всю истину, ничего не умалчивая и не скрывая, чтобы можно было представить его величеству самым основательным образом столь важное и столь трогательное царевича дело, ибо здесь ничего подобного до сих пор не слышали, да и трудно ожидать таких поступков от отца, тем менее от столь разумного государя, как его царское величество.

Царевич сказал: "Я не виноват пред отцом; я всегда был ему послушен, ни во что не вмешивался; я ослабел духом от гонений и смертельного пьянства. Впрочем отец был ко мне добр, но с тех пор, как пошли у жены моей дети, все сделалось хуже, особенно, когда явилась новая царица и сама родила сына. Она и Меншиков постоянно вооружали против меня отца; оба они исполнены злости, не знают ни Бога, ни совести". Потом снова повторил, что он отцу ничего не сделал, ни в чем против него не погрешил, любит и чтит его по предписанию 10 заповедей, но не может согласиться на пострижение и лишит права своих бедных детей. Царица же и Меншиков ищут или постричь его, или погубить.

Когда царевич несколько успокоился, вице-канцлер для основательнейшего выяснения дела расспрашивал его о разных подробностях. Царевич рассказал всю жизнь свою, сознаваясь, что к войне он никогда охоты не имел. За несколько лет пред тем отец поручил ему управление государством, и все шло хорошо: царь был им доволен. Но с тех пор, как пошли у него дети, и жена его умерла, а царица также родила

сына, то вздумали запоить его вином до смерти: он не выходил из своих комнат. За год пред сим отец принудил его отказаться от престола и жить частным человеком или постричься в монахи; а в последнее время курьер привез повеление либо ехать к отцу, либо заключиться в монастырь. Исполнить первое, значит погубить себя озлоблением и пьянством, исполнить второе — потерять тело и душу. Между тем ему дали знать, чтобы он берегся отцовского гнева, тем более царицы и Меншикова, которые хотят отравить его. Он притворился, будто едет к отцу, и по совету добрых людей отправился к императору, своему шурину, государю сильному, великодушному, к которому отец его имеет великое уважение и доверенность, — только он один может спасти его. Покровительства же Франции или Швеции он не искал, потому что та и другая во вражде с его отцом, которого раздражать он не хочет. Причем, заливаясь слезами, сетовал об оставленных детях и снова требовал видеть императора, чтобы просить его за свою жизнь.

"Я знаю, — говорил царевич, — что императору донесено, будто я дурно поступил с сестрою императрицы. Богу известно, что не я, а отец мой и царица так обходились с моею женою, заставляя ее служить, как девку, к чему она по своему воспитанию не привыкла, следовательно, очень огорчалась; к тому же я и жена моя терпели всякий недостаток. Особенно дурно с нами обращались, когда кронпринцесса стала рождать детей". Новое повторение просьбы видеть императора: "Он бедных детей моих не оставит и отцу меня не выдаст. Отец мой окружен злыми людьми, до крайности жестокосерд и кровожаден! Думает, что он, как Бог, имеет право на жизнь человека, много пролил невинной крови, даже часто сам налагал руку на несчастных страдальцев; к тому же неимоверно гневен и мстителен, не щадит никакого человека, и если император выдаст меня отцу, то все равно, что лишит меня жизни. Если бы отец и пощадил, то мачеха и Меншиков до тех пор не успокоятся, пока не запоят или не отравят меня".

Царевич был в таком беспокойстве и страхе, что хотел насильно идти к императору и императрице. Вице-канцлер снова удержал его, представив позднее время, и старался внушить ему, что в настоящем положении дела, при высоком сане отца и сына, при строгом *incognito* царевича лучше всего не говорить ему с самим императором, а оставаться в непроницаемой тайне и представить венскому двору явно или скрытно подать ему помощь; даже, может быть, найдется средство примирить его с отцом. Царевич, отвергая всякую надежду на примирение, с горькими слезами просил принять его при цесарском дворе открыто и оказать покровительство, повторяя, что

император — великий государь и ему шурин. Напоследок убедился, что лучше всего держать себя тайно и ждать ответа императора. После того с надлежащею предосторожностью возвратился в свою квартиру.

По всеподданнейшему докладу о случившемся император одобрил распоряжение вице-канцлера о сохранении прибытия царевича в секрете и немедленно повелел собраться Тайной конференции для рассмотрения, как поступить в настоящем случае сообразно с обстоятельствами, не теряя из виду ни достоинства императора, ни родства и любви христианской.

Вследствие доклада Конференции вице-канцлер в тот же день вечером объявил царевичу высочайшую резолюцию, что хотя его императорское величество не может понять, почему его царское величество преследует родного сына, покорного своему отцу и государю, как явствует из слов царевича, при всем том, принимая императорское участие в его огорчениях и опасностях, соглашается по великодушию, родству и любви христианской оказать ему покровительство и употребить свое ходатайство пред отцом; для сего признает лучшим средством, чтобы царевич держал себя тайно и до окончательного устройства дела не искал случая говорить с их императорскими величествами, тем более, что беременность императрицы не позволяет ей видеть его.

После долгого размышления царевич согласился исполнить волю императора, умоляя об одном: не выдавать его отцу, потому что тогда гибель его неизбежна; с отцом он готов примириться, но идти к нему ни за что на свете не согласен: в таком случае он погибнет и телом, и душою; он всегда имел пред глазами десять заповедей и никогда отца своего не оскорблял; если же не более имеет ума, то это происходит от Бога и от Меншикова, который дал ему дурное воспитание, всегда его утеснял, не заставлял его учиться и от юности окружил дурными людьми или дураками. Просил сверх того не посылать его в Богемию или Венгрию, где язык и религия могут изменить ему и где легко его схватить.

23/12 ноября по высочайшему повелению для лучшего сохранения тайны царевич с величайшею тишиною перевезен был из Вены в близлежащее местечко Вейербург, где пробыл до 7 декабря, когда приготовили в Тирольской крепости Эренберге для него помещение».

Из Вейербурга 24 ноября царевич написал вице-канцлеру собственноручное письмо с выражением благодарности:

«Я благополучно прибыл на место и нахожусь в полном довольствии. Премного благодарен за предоставленное содержание и оказание его цесарским величеством милости. Также прошу и впредь не обходить меня вашими заботами. Я же во всяком случае постараюсь отблагодарить его и

вашу светлость».

«В то же время, — продолжает Шёнборн, — царевич убедительно просил прислать ему тайно и оставить при нем греческого священника для утешения его в горестях и для спасения души. Желание иметь при себе священника он изъявил в первые дни своего приезда; впоследствии, при наступлении великого праздника, особенно просил о том. Вообще строго соблюдал посты и все обряды своей религии, невзирая на увещания, что тем может возбудить против себя подозрение.

5 декабря его императорское величество послал к царевичу одного из своих министров с поручением: 1) исследовать в подробностях весь ход дела, чтобы впоследствии, смотря по обстоятельствам, тем вернее можно было действовать; 2) выведать намерение царевича и рассмотреть отношения его к отцу; 3) узнать о его детях; 4) распорядиться отъездом в назначенное для него место и дальнейшим там пребыванием. Причем велено объявить, что греческого священника теперь найти невозможно, особенно такого, который согласился бы жить с царевичем в заключении, как требуют того обстоятельства, иначе откроется его убежище; между тем главное условие его безопасности состоит в том, чтобы царь не проведал о нем, пока откроется случай примирить их.

Царевич принял это объявление с необыкновенною радостью и согласился на все условия предложенного ему заключения, также относительно священника, с тем только, чтобы в крайней необходимости для него или для людей его не было ему отказано в присылке духовника.

По 1-му пункту касательно отречения от престола и пострижения в монашество царевич повторил все вышеизложенное и рассказал почти то же самое, что объявлено в царском манифесте (опубликованном позднее, уже после возвращения царевича в Россию. — *Н. П.*), с тем только различием, что царь и министры его старались всеми силами уверить публику, будто царевич добровольно отказался от престола; он же напротив того положительно говорил, что никогда не соглашался ни за себя, ни за своих детей, и только силою и страхом принудили его подписать отречение: он опасался невольного пострижения, смертных побоев, опоения, отравы. Много говорил о царском жестокосердии и кровопийстве. Гнев же и немилость к себе отца приписывал жестокой, в низких чувствованиях воспитанной, с тем вместе ненасытно честолюбивой и властолюбивой мачехе, также Меншикову, которого в особенности винил в дурном своем воспитании, в своей неспособности к делам и во всех несчастных последствиях, от того происшедших: Меншиков не заставлял его ничему учиться, всегда удалял от отца, обходился с ним, как с пленником или

собакою, даже бранил его при людях поносными словами. Так продолжалось до 1709 года или до женитьбы царевича.

С тех пор пошло несколько лучше, особенно в отсутствие Меншикова, когда он опустошал Польшу. В то время царь назначил царевича председателем Тайного совета и правительства, посылал его для военных дел в Торн в Померанию и, сколько ему известно, вполне был им доволен. Но когда царевич и мачеха в 1712 или 1713 году возвратились в Петербург, а кронпринцесса по причине дурного с нею обращения уехала, тогда начали вооружать против него отца, стараясь всеми средствами лишить его уважения и милости. Тут царь объявил, что сын его ни к чему не способен. Он должен сказать поистине, что ему ничего не поручали, следовательно, ничего полезного не мог и сделать, хотя все, что ему ни вверяли, исполнял послушно и хорошо.

По возвращении кронпринцессы и по разрешении ее от бремени все пошло хуже происками Меншикова, который боялся, что престол со временем достанется роду царевича. В день погребения кронпринцессы царь обнаружил свою немилость и написал царевичу жестокое письмо, а на другой день по рождении царского сына объявил ему, что он должен постричься в монахи и отказаться от престола. Царевич, принужденный страхом и силою, согласился; но за детей своих никогда не отказывался и в сердце своем все предоставил Богу. В самом деле Бог не дал его брату ни здоровья, ни талантов, и тем доказал, что владыки мира в Его деснице.

По 2-му пункту царевич призывал Бога в свидетели, что никогда ничего не сделал отцу или его правлению противного долгу сына и верноподданного, никогда не думал о возмущении народа, хотя это не трудно было бы сделать, потому что народ его, царевича, любит, а отца ненавидит за его недостойную царицу, за злых любимцев, за уничтожение старых добрых обычаев и за введение всего дурного, также за то, что отец, не щадя ни крови, ни денег, есть тиран и враг своего народа; посему не без опасения, что подданные его погубят и Бог его накажет. Причем рассказал многие подробности о царской армии, о министрах и боярах, присовокупляя, что многие из них, в особенности Меншиков и лейб-медик, самые низкие льстецы и злые люди, наводящие царя на сотни дурных дел, чему доказательством служит фантазия его о титуле императорском. Искательство этого титула причинило одни досады и ничего существенного не принесло. Причем спрашивал, в каком положении это дело? Ему объяснили, что договором Вестфальским, публичным свидетельством всей почти Европы признано истинное и настоящее достоинство русского государя.

Одобрив изъяснение, он продолжал рассказывать о своем деле, говоря, что все предоставляет Богу, который один царствует во вселенной и своею святою волею назначает, кому принадлежат престолы мира сего. Сердце отца добро и справедливо, если оставить его самому себе, но он легко воспламеняется гневом и делается жестокосердым. Впрочем, никакого зла отцу своему не желает, любит и чтит его, только возвратиться к нему не хочет и умоляет императора не выдавать его и спасти бедную жизнь, также пощадить кровь бедных детей. При этом он горько плакал и сокрушался.

По 3-му пункту, о детях, оставленных без всякого распоряжения, объявил, что надеется на Бога, на доброе сердце отца и на *M-me Rohin*^[7], также поручает их императору и императрице; сам же вполне предается воле его императорского величества, государя великодушного, доброго, могущественного и справедливого. Он готов ехать, куда велит, и жить пленником, где прикажет. Причем благодарил за оказанную милость, благо разумное попечение, также за доставленные деньги и за присланный императрицею на память кошелек для часов с цепочкою и печатью.

По возвращении министра и по донесении императору о всем вышеизложенном решено было скрывать царевича до времени, когда представится случай примирить его с отцом».

Из изложенного явствует, что царевич в своих объяснениях причин бегства повторял одно и то же, словно ученик хорошо заученный урок, причем стремился обелить себя и очернить отца, обвиняя во всех своих пороках не себя, а других — прежде всего царя, а еще больше Екатерину и Меншикова.

Через несколько дней, продолжает Шёнборн, к царевичу послан был секретарь Кейль объявить, что император возобновляет все милостивейшее обещание покровительства и защиты и по желанию его назначает для убежища горную крепость в Тироле Эренберг. Алексей «изъявил необыкновенную радость, сказал, что готов ехать сию минуту куда угодно и что милостивое обещание императора будет для него утешением во всяком месте, причем просил Кейля не говорить людям его ни слова о несчастиях его и о предполагаемом заключении, потому что им вовсе ничего неизвестно. Им дано знать под рукою, что он прислан сюда для заключения тайного союза между его отцом и императором и что для избежания подозрения неприятелей намерен удалиться от самой Вены на некоторое расстояние и на короткое время. Людям же своим прикажет под опасением своего гнева дорогою вести себя как можно скромнее и не говорить на своем языке при посторонних, иначе, если они узнают настоящее положение дела, с ними нельзя будет сладить, да и невозможно им ничего

доверить.

Таким образом, 7 декабря 27 ноября царевич отправился из Вейербурга в Креме на крестьянских лошадях; из Кремса поехал с наемным кучером в Ашбах, оттуда в Мёлк, из Мелка на почтовых лошадях прямою дорогою чрез Зальцбург до Мильбаха, за полчаса от крепости Эренберг. Здесь провел ночь под предлогом нездоровья. Секретарь же Кейль отправился вперед к коменданту крепости генералу Росту с объявлением о скором прибытии государственного арестанта. 154 декабря он благополучно приехал со своими людьми в Эренберг. Крепость немедленно заперли до дальнейшего повеления. Дорогою люди его предавались пьянству, обжорству и вели себя весьма непорядочно».

Крепость Эренберг находилась в Верхнем Тироле, на правой стороне реки Лех, на пути от Фюссена к Инсбруку, в 78 милях от Вены, на высокой горе. В середине XIX века, по свидетельству Н. Г. Устрялова, от нее сохранились только остатки стен, однако и по ним было видно, что крепость была весьма значительной.

Власти Вены приложили немало усилий, чтобы сохранить в тайне местопребывание царевича. Коменданту крепости было сообщено, что к нему должен прибыть важный преступник и главное, что надлежит сделать, это обеспечить полную его изоляцию от внешнего мира.

Эренбергскому коменданту генералу Росту император дал инструкцию, текст которой приведен в той же записке Шёнборна:

«Мы приняли за благо взять под стражу некоторую особу и приняли такие меры, что нет сомнения, через несколько дней она будет в наших руках. Теперь в высшей степени необходимо приискать для содержания ее такое место, чтобы она не могла уйти или с кем бы то ни было иметь малейшее сообщение, и самое место ее заключения должно остаться для всех непроницаемою тайною. Для этой цели мы избрали наш укрепленный замок Эренберг, как потому отчасти, что, охраняемый не слишком многочисленным гарнизоном^[8], он лежит в горах без всяких сообщений, так и потому наиболее, что имеем к тебе особенную доверенность и не сомневаемся в точном исполнении тобою нашей воли относительно помещения, содержания и охранения означенной особы и людей ее.

Вследствие сего предписываем к самому точному наблюдению под опасением потери в противном случае имени, чести, жизни, следующее:

1. Немедленно по получении сего прикажи с величайшею тайною и тишиною изготовить для главной особы две комнаты с крепкими дверями и с железными в окнах решетками; сверх того, такие же две комнаты подле или вблизи для слугителей, снабдить их постелями, столами, стульями,

скамейками и всем необходимым. Все это приготовить тайно, под рукою, заблаговременно. При том наблюдать: если крепость Эренберг так устроена, что не предвидится возможности к побегу, то не надобно слишком много заботиться о крепких дверях и железных решетках.

2. Устроить кухню со всем необходимым и приискать знающего свое дело повара с помощниками (для чего, кажется, удобнее всего можно употребить живущих в крепости солдаток); причем наблюдать, чтобы люди, назначенные для приготовления пищи, во все время ареста ни под каким видом не были выпускаемы, и все необходимое для кухни доставлять чрез других особо назначенных людей.

3. Наблюдать, чтобы главный арестант, также и люди его были довольны пищею, и какое кушанье им наиболее понравится, готовить по их вкусу; также смотреть, чтобы белье столовое и постельное было всегда чисто, для чего на содержание главного арестанта и его служителей мы назначаем от 250 до 360 гульденов в месяц.

4. Самое бдительное охранение главного арестанта и пресечение всяких с ним сообщений есть главнейшее условие, которое должен ты наблюдать самым тщательным образом, под строжайшею твоею ответственностью. Для сего тебе надобно удостовериться в гарнизоне и во всех людях, которые будут при том употреблены, можно ли положиться на их верность и скромность. Во всяком случае нынешний гарнизон во все время ареста не должен быть сменяем, и как солдатам, так и женам их не дозволять выходить из крепости под опасением жестокого наказания, даже смерти. Караульным у ворот запретить с кем бы то ни было говорить об арестантах, внушив им, чтобы в случае расспросов иностранных лиц они отзывались совершенным неведением. В случае болезни главного арестанта или его людей призвать, смотря по надобности, медика или хирурга, но также с тою предосторожностью, чтобы врач виделся с больным в присутствии доверенной особы и с обязанностью не говорить о том никому ни слова.

5. Для наблюдения за точным исполнением всего вышеизложенного ты должен ежедневно все в замке внимательно осматривать и малейшее упущение исправлять.

6. Если главный арестант захочет говорить с тобою, ты можешь исполнить его желание как в сем случае, так и в других: если, например, он потребует книг или чего-либо к своему развлечению, даже если пригласит тебя к обеду или какой-нибудь игре; можешь сверх того дозволить ему и прогуливаться в комнатах или во дворе крепости для чистого воздуха, но всегда с предосторожностью, чтоб не ушел.

7. Можешь позволить ему и письма писать, но с тем непременно условием, что для отправления они будут вручаемы тебе. Ты же посылай нераспечатанными немедленно к принцу Евгению (Савойскому. — *Н. П.*), которому доноси время от времени о всем случающемся в крепости.

В заключение повторяем строжайше, чтобы содержание вышеупомянутого арестанта оставалось для всех непроницаемою тайною. Посему ты не должен доносить о том ни курфюрсту Пфальцскому, ни военному управлению».

Из Эренберга в третий день по приезде царевич отправил с провожавшим его секретарем Кейлем два собственноручных благодарственных письма: одно к цесарю, другое к вице-канцлеру. Цесаря он просил быть спасителем его бедной крови и жизни и употребить такие средства к примирению его с отцом, какие заблагорассудит, только бы не выдавать его.

Содержали царевича в Эренберге скудно: 15 января 1717 года он жаловался Шёнборну, что «здесь ничего нельзя найти и все нужно доставлять издалека, в результате чего трудно получить продукты». «Ныне надобно еще терпение, — отвечал Шёнборн, — и более, нежели до сих пор».

В этом же письме австрийский сановник сообщал царевичу о новых известиях и слухах относительно его судьбы, приходящих в Вену: «Сообщаю господину графу (Алексею. — *Н. П.*) как новую ведомость, что ныне в свете начинают говорить: царевич пропал. По словам одних, он ушел от свирепости отца своего; по мнению других, лишен жизни его волею; иные думают, что он умерщвлен по дороге убийцами. Никто не знает подлинно, где он теперь. Прилагаю для любопытства, что пишут о том из Петербурга. Милому царевичу к пользе советуется держать себя весьма скрытно, потому что по возвращении государя, его отца, из Амстердама будет великий розыск. Если я что более узнаю, уведомя. Доброму приятелю, для которого господин граф ищет священника, советуется иметь терпение. Теперь это невозможно; при первом случае я берусь охотно исполнить его желание».

Ценность приведенной выше черновой записки графа Шёнборна очевидна. Во-первых, она содержит информацию, отсутствующую в источниках отечественного происхождения, — о прибытии царевича в Вену, о беседах его с вице-канцлером и министром и т. д. Во-вторых, она иначе, чем в отечественных источниках, интерпретирует произошедшие события. Историк и читателю предоставляется возможность сопоставить показания источников и подойти ближе к истине. Наконец, приведенная

записка графа Шёнборна вносит дополнительные штрихи к портрету царевича. Перед нами предстает неуравновешенный, слабовольный, лживый человек, всеми силами пытающийся создать у венского двора благоприятное о себе впечатление и не замечающий, что в своих рассказах он дает исключаящие друг друга оценки лицам, оказавшим влияние на его судьбу.

Так, в одних случаях он называет отца тираном, деспотом, ненасытным кровопийцей, исчадием зла, а в других — человеком с добрым и справедливым сердцем, подверженным, однако, вспышкам гнева и поддающимся влиянию злых людей из своего окружения, прежде всего Меншикова и царицы Екатерины Алексеевны. Царевич клялся в том, что «любит и чтит отца», в то время как следствие выяснило его горячее желание скорой смерти родителя. В одном месте он соглашается с мнением отца о своей неспособности нести бремя управления страной, а в другом осуждает отца за намерение насильно постричь его в монахи, умалчивая об альтернативном предложении отца и предоставлении ему возможности выбора. Умалчивает он и о том, что отец вызвал его в Копенгаген вовсе не за тем, чтобы расправиться с ним, а наоборот, для того, чтобы привлечь его к делу, а он, царевич, воспользовался этим, чтобы бежать.

Царевич, согласно записке Шёнборна, многократно обвинял Меншикова в том, что тот не принуждал его учиться, но умолчал о том, что он, будучи взрослым человеком, сам уклонялся от занятий. Он обвинял царя и царицу во враждебном отношении к своей супруге, в выделении ограниченных средств на содержание ее двора, но умолчал о том, что сам грубо обращался с ней. Он делит отношение к себе царя и царицы на два периода: до рождения кронпринцессой и царицей наследников и после их рождения, когда отношения отца и мачехи резко ухудшились. В действительности же отец был недоволен поведением сына задолго до появления на свет своего младшего сына и внука. Царевич заявил цесарским министрам о том, что отец был доволен выполнением им его поручений, но источники на этот счет не донесли до нас ни единого похвального слова.

Прибытие царевича в Вену, как мы уже говорили, поставило австрийское правительство в весьма затруднительное положение. С одной стороны, открытое предоставление ему убежища означало вызов Петру, что никак не могло устраивать венский двор. Но немедленно выдать царевича в Вене также не сочли целесообразным: в этом случае император выглядел бы не лучшим образом — как-никак царевич доводился цесарю родственником и отказ предоставить ему убежище был бы сурово осужден

в Европе. Поэтому австрийский двор решил приютить царевича тайно: сначала в загородном поместье Шёнборна, а затем в горной крепости в Тироле.

Когда Разумовский на аудиенции с цесарем объявил, что русским точно известно о нахождении царевича в Эренберге, это стало для венского двора неприятным сюрпризом. Было решено немедленно перевезти царевича еще дальше, а именно в Неаполь, принадлежавший в то время Австрии.

«Секретарю Кейлю, — рассказывает в своей записке Шёнборн, — велено было показать царевичу отцовское письмо в оригинале (к цесарю, от 29 декабря 1716 года. — *Н. П.*)... и объявить, что император предоставляет его воле возвратиться в Россию или остаться под защитой и покровительством его величества; в последнем случае признает необходимым перевезти его в другое отдаленнейшее место, именно в Неаполь... Царевич выслушал все сказанное ему с величайшим вниманием; потом прочитал отцовское письмо: оно сильно поразило его. Не говоря секретарю ни слова, он бегал по комнате, махал руками, плакал, рыдал, говорил сам с собою на своем языке; наконец упал на колени и, обливаясь слезами, подняв руки к небу, вскричал: "О умоляю императора именем Бога и всех святых спасти мою жизнь и не покидать меня, несчастного; иначе я погибну! Я готов ехать, куда он прикажет, и жить, как велит; только бы не выдавал меня несправедливо раздраженному отцу!" Жалобам и мольбам не было конца. Секретарю наконец удалось успокоить его неоднократными уверениями в покровительстве императора и завести речь о поездке в Неаполь. Царевич с радостью сказал, что он готов ехать сию минуту... На другой день к трем часам утра все было готово, и, невзирая на шпионов, царевич под видом императорского офицера отправился в путь с секретарем Кейлем и одним служителем (а именно своей любовницей Евфросиньей, переодетой пажом. — *Н. П.*) чрез Инсбрук, Мантую, Флоренцию и Рим».

«До самого Триента встречались нам подозрительные люди, однако ж все благополучно», — доносил Шёнборну из Мантуи Кейль. И добавлял: «Я употребляю все возможные средства, чтобы удержать наше общество от частого и неумеренного пьянства, но тщетно».

6 мая (17-го по новому стилю), в полночь, царевич прибыл в Неаполь, где его поселили в гостинице «Три короля».

Секретарь Кейль не зря упоминал в своем письме о «подозрительных людях», тревоживших его в пути. Это был не кто иной, как капитан Румянцев. Он прибыл в местечко Рейте, около Эренберга, за несколько

дней до отъезда царевича. Его задержали, отобрали паспорт, но затем вынуждены были отпустить и велели выехать в сторону Баварии (противоположную от Инсбрука). Узнав, однако, что царевича повезли в сторону Италии, Румянцев объехал Эренберг кругом и следил за царевичем до самого Неаполя.

Таким образом, сохранить в тайне местопребывание царевича имперским властям снова не удалось.

Получив от Разумовского и Румянцева точные сведения о том, где находится его сын, Петр решил отправить в Вену более авторитетного человека, обремененного чином тайного советника, — Петра Андреевича Толстого. Чтобы убедиться в том, насколько удачным был выбор царя, надо хотя бы вкратце ознакомиться с биографией Толстого.

Толстой родился в 1645 году в небогатой дворянской семье, так что оказался человеком беспоместным, хотя, несомненно, даровитым и энергичным, но лишенным добродетельных свойств характера. В жизни он руководствовался принципами, изложенными Макиавелли (с сочинением которого познакомился значительно позже): для достижения цели все средства хороши.

В 1682 году он активно участвовал на стороне Милославских в их борьбе с Нарышкиными. Его роль в этой схватке трудно переоценить: Толстой разъезжал по улицам Москвы с криками о том, что Нарышкины извели царевича Ивана, сводного брата Петра, который по обычаю должен занять трон. Стрельцы поверили ложному слуху, подняли бунт и добились того, чтобы на троне сидели оба брата, а правительницей до их совершеннолетия стала царевна Софья — женщина, отличавшаяся беспредельным честолюбием и способностями к интригам. Однако правительница никак не отблагодарила Толстого, так что он, как был, так и остался беспоместным.

Во время очередного столкновения в 1689 году Петра с Софьей победу одержал Петр, и Толстой тут же переметнулся на сторону победителя. Перебежчики во все времена вызывали презрение, и Петр относился к Толстому с недоверием. Толстой решил обратить на себя внимание Петра самым неординарным способом. Зная пристрастие царя к морю и флоту, он, будучи дедушкой, сам напросился поехать за границу обучаться морскому делу.

В отличие от молодых волонтеров, обучавшихся кораблестроению с топором в руках и несших на кораблях обременительную службу матросов, Толстой, прибыв в Италию, начал вести жизнь, более подходящую для путешественника, нежели для волонтера, стремящегося овладеть военно-

морским делом. Тем не менее во время почти двухлетнего пребывания в Италии он в совершенстве овладел итальянским языком и обзавелся дипломом, удостоверявшим его участие в морском сражении и овладение навигацией.

Царь не мог не отметить усердия Петра Андреевича к службе. В 1703 году он отправил его во главе посольства в Турцию. На Толстого была возложена важнейшая для судеб страны задача — удержать турок от нападения на Россию.

Толстой блестяще справился с этой задачей в 1709 году, когда войска Карла XII осаждали Полтаву и до вассала Турции Крымского ханства шведам было, что называется, рукой подать. Это избавило Россию от необходимости вести войну на два фронта. Петр Андреевич организовал в Турции широкую шпионскую сеть, одаривал сибирскими мехами жадных до посулов первейших чинов Османской империи и был в курсе событий, происходивших при дворе султана, проявив ловкость в маневрировании между противоречивыми устремлениями придворных группировок.

Ко времени пребывания Толстого в Турции относится эпизод, выпукло раскрывающий его облик. Ему стало известно, что один из сотрудников посольства, некий подьячий, принял магометанство. Опасаясь, что новоиспеченный мусульманин может перебежать к туркам и сообщить им многие секреты как о созданной им шпионской сети, так и о подкупленных чиновниках, Толстой пригласил подьячего в свои покои и собственноручно угостил отравленным вином, о чем спокойно доложил Посольскому приказу в Москву.

Перед отъездом в Вену, 1 июля 1717 года, Толстой и Румянцев получили в Спа, где тогда находился царь, инструкцию, предусматривавшую их действия при любом возможном варианте развития событий. Инструкция составлена в достаточно жестких тонах; она оперировала фактами, которые невозможно было отклонить венским дипломатам, и вынуждала цесаря прекратить игру в кошки-мышки, заявляя, что ему будто бы ничего не известно о пребывании царевича в его владениях. Уже первые фразы инструкции дают представление о решимости царя добиваться от цесаря выдачи беглеца:

«Ехать им в Вену, и, приехав, просить у цесаря приватной аудиенции, и при оной подать нашу грамоту, и изустно предлагать, что мы подлинно известились чрез посланного нашего капитана Румянцева, что сын наш Алексей, не хотя быть послушен воли нашей и быть в компании военной с нами, в прошлом году проехал в Вену и там принят под протекцию цесарскую и отослан тайно ж в Тирольский замок Эренберг, и там

несколько месяцев задержан за крепким караулом.

И хотя наш резидент от его цесарского величества и чрез министров его домогался о пребывании его ведать и потом и грамоту нашу самому ему подал, но на то никакого ответа не получил; но противно тому, вместо удовольствия на наше чрез ту грамоту прошение, отослан сын наш от того замка наскоро и за крепким караулом в город Неаполь и содержится там в замке же за караулом, чему он, капитан наш, самовидец, ибо в пути его везенного и людей его видел, хотя и не без страху, ибо был взят и за караул в Тирольской земле, и что нам чувственнее (оскорбительнее. — *Н. П.*) всего, то есть что его цесарское величество на то наше прошение ни письменно, ни изустно никакого ответа явственно не учинил, но зело в темных терминах к нам чрез свою собственноручную грамоту токмо ответствовал, в которой не токмо иного чего, ни ниже о его пребывании в своей области не объявил, с которой грамоты им сообщается список. И для чего так изволит цесарское величество с нами поступать неприятно, о том требовать декларации».

Если цесарь по-прежнему станет отрицать факт пребывания царевича в его землях, «о чем уже и вся Европа ведает», то надлежит сказать ему, что царь расценит этот ответ как «неприятность к себе», и «против того свои меры брать принуждены будем». Если же цесарь признает пребывание царевича в своих землях, но заявит, что «не может его противно воли его выдать и что он (царевич. — *Н. П.*) к тому не склонен, чтоб к нам возвратиться, и иные отговорки и опасения затейные будет объявлять», то надлежит заявить ему, что «нам не может то иначе, как чувственно быть, что он хочет меня с сыном судить, чего у нас и с подданными чинить необычайно, но сыну надлежит повиноваться во всем воле отцовской». Цесарь обязан выдать сына отцу, «а мы, яко отец и государь, по должности родительской его милостиво паки примем и тот его проступок простим». Надлежало напомнить цесарю и о том, что царевич содержится в его области, «яко невольник или какой злодей за крепким караулом».

Инструкция предусмотрела и тот случай, что сын станет жаловаться, «будто было ему какое от нас принуждение». На это надлежало сослаться на письмо царя к сыну из Копенгагена и даже передать цесарю копию самого письма, из которого ясно видно, «что неволи не было». («А ежели б неволею я хотел делать, то на что так писать? и силою б мог сделать, и кроме письма!») Напротив, «мы желали, чтоб он, сын наш, последовал нашим стезям и обучался как воинским, так и политическим делам, и он не имел к тому никакого склонения и токмо склонен был к обхождению с худыми людьми», несмотря на то, что «мы его всякими образы, и

добродетелью и угрозами, трудились на путь добродетелей привести».

Толстому и Румянцеву предписывалось «стараться всяким образом и домогаться», чтобы цесарь отпустил сына к отцу. Если же цесарь откажет, то «домогаться, чтоб по последней мере пустил их к сыну нашему, дабы они могли с ним видеться».

В случае, если, «паче чаяния», цесарь откажет и в этом, то есть в свидании с сыном, «то протестовать нашим именем и объявлять, что мы сие примем за явный разрыв и показанное нам неприятство и насилие, и будем пред всем светом в том на него, цесаря, чинить жалобы, и искать будем сию неслыханную и несносную нам и чести нашей учиненную обиду отмстить».

Подробно расписывалось в инструкции и поведение царских посланцев в случае предоставления им свидания с царевичем Алексеем. Надлежало «подать ему наше письмо и изустно говорить ему то, что им приказано, також и сие объявлять, какое он нам тем своим поступком безславию, обиду и смертную печаль, а себе бедство и смертную беду нанес и что он то учинил напрасно и без всякой причины, ибо ему от нас никакого озлобления и неволи ни к чему не было». Надлежало обещать царевичу, что если он возвратится, то получит за свой поступок родительское прощение, «и примем его паки в милость нашу и обещаем его содержать отчески во всякой свободе и милости и довольстве без всякого гнева и принуждения» (при этом предписывалось употреблять «удобовымышленные к тому рации и аргументы»). Если сын согласится возвратиться, то потребовать от него письмо к цесарю и, получив письмо, ехать в Вену «и домогаться об отпуске его безотступно и трудиться, чтоб его привезть с собою к нам».

Инструкция заканчивается угрозой сыну: если он решительно откажется возвращаться, «то объявить ему именем нашим, что мы за то его преслушание предадим его клятве отческой, також и церковной... и буде иного способа не найдем, то и вооруженною рукою цесаря к выдаче его принудим».

(Инструкцию эту, по всей видимости, составлял Толстой. Основания для подобного предположения дает совет действовать «лаской и угрозой» — это типичный прием давления, умело применявшийся Толстым. Инструкция составлена именно в этом духе — обещание простить царевича сочетается с угрозой добыть его военной силой.)

В том же духе составлено было и личное письмо Петра цесарю Карлу VI от 10 июля 1717 года, которое Толстой должен был вручить цесарю во время частной аудиенции. Начинается письмо словами благодарности

цесарю за то, что тот (как он сообщал в письме от 12 мая) обещает «сына моего Алексея не допустить в неприятельские руки впасть». Однако далее Петр выражает удивление, что цесарь не объявил ему о пребывании Алексея в своих владениях и продолжает содержать царевича под крепким караулом — сначала в Тирольской крепости Эренберг, а затем и в Неаполе. «Ваше цесарское величество можете сами рассудить, коль чувственно то нам, яко отцу, быть имеет, что наш первородный сын, показав нам такое непослушание и уехав из воли нашей, потом содержится под другою протекциею или арестом, чего подлинно не можем признать и желаем на то от вашего величества изъяснения». Петр извещал цесаря, что он отправил к нему тайного советника Толстого, которому повелел «о всем, касающемся того дела, пространно вашему величеству на приватной аудиенции донести, також и сына нашего видеть и письменно и изустно волю нашу и отеческое увещание оному объявить». Царь надеялся, что цесарь не откажет в просьбе отпустить сына. Заканчивается же письмо скрытой угрозой: царь ожидает скорой резолюции, «дабы мы свои меры потом воспринять могли».

Передано было Толстому и собственноручное письмо царя сыну, написанное в тот же день, что и письмо императору. (Его содержание будет приведено в следующей главе.)

Толстой прибыл в Вену 26 июля 1717 года и свое пребывание в столице империи ознаменовал энергичными действиями. 29 июля он добился аудиенции у цесаря, на которой присутствовали также Румянцев и Веселовский. Толстой вручил цесарю письмо царя и в «учтивых терминах» изложил все, что ему было известно о месте пребывания царевича. Это известие стало полной неожиданностью для венского двора: здесь были уверены, что местопребывание царевича сохранно в полной тайне. Тем не менее цесарь выразил благодарность царю за его желание поддерживать с ним дружбу, но от ответа по существу уклонился, ограничившись обещанием дать его как можно скорее и «ко удовольствию вашему».

На следующий день Петр Андреевич отправился к матери покойной кронпринцессы Шарлотты герцогине Вольфенбюттельской. Та приняла Толстого «приятно», заявила, лукавя или вправду, что ей ничего не известно о том, где находится царевич, но «обещала о том трудиться, чтобы сие дело прекратить, не допустить до ссоры, и что она в том деле сама заинтересована так близким свойством и долженствует искать всяких способов, чтоб де мне сделать такое славное дело, еже бы такого великого монарха примирить с сыном его». На это Толстой ответил, что единственное средство примирения состоит в том, чтобы цесарь отпустил царевича с ним, Толстым, домой. Если же царевич останется во владениях

цесаря, то царь предаст его проклятию. Герцогиня, выслушав угрозу, «зело усумнилась» и ответствовала: «Сохрани де Бог, чтоб до сего не дошло, понеже де сия клятва упадет и на моих внучат». Впоследствии Толстой еще раз посетил герцогиню, которая, по его словам, «показывается весьма прилежно, чтоб сие дело окончить по желанию вашего величества». Так, она обещала написать (и действительно написала) письмо к царевичу. В натуре своего зятя она, похоже, разобралась лучше, чем Петр. «Я де натуру царевичеву знаю, — говорила она Толстому, — и мнится де, что ваше величество изволяет трудиться напрасно, чтоб де царевича принуждать к воинским делам, понеже он лучше желает иметь в руках своих четки, нежели пистолы; только де то мне безмерно печально, чтоб немилость и клятва вашего величества на внука ее не упала; и обнадеживала притом доброжелательством своим к вашему величеству во всех случаях».

От герцогини Толстой по ее совету отправился к министру Зинцендорфу (к другим министрам она обращаться не рекомендовала), которому изложил возможные последствия, «ежели вскоре сына вашего со мною вашему величеству не отошлют». Зинцендорф положительного ответа не дал, заявив, что «вскоре цесарь учинит ответ», а до того он с ним «говорить не может».

В донесении, из которого извлечены приведенные выше сведения, Толстой высказал царю и свое «слабое мнение»: ни в коем случае не соглашаться на посредническую роль цесаря, «понеже, государь, Бог ведает, какие кондиции он предлагать будет. К тому же между вашим величеством и сыном вашим какому быть посредству?!».

Между тем для обсуждения письма Петра и составления официального ответа император созвал особую Конференцию из наиболее приближенных к нему министров. «Рассмотрев каждый термин царского письма к цесарю, столь важного по содержанию», Конференция пришла к следующим решениям, одобренным императором.

Во-первых, скрывать тайну царевича уже не представляется возможным, а потому остается признать, что Алексей находится в цесарских владениях. Однако объяснить причину, по которой цесарь принял его, надлежит тем, что «надеялись оказать царю услугу, устраняя опасность попасть царевичу в неприятельские руки, и тем более без нарушения народного (то есть международного. — *Н. П.*) права могла принять столь высокую особу, что она с вами в свойстве». «Царю же неправильно донесено, что сына его перевозят как арестанта; по его собственному желанию старались доставить ему уединенное и безопасное убежище и трактовали его как принца».

Во-вторых, что касается поездки Толстого и Румянцева в Неаполь для встречи с царевичем, то Конференция приняла решение позволить посланцам царя ехать в Неаполь, видаться с царевичем и говорить с ним. При этом члены Конференции, как им казалось, приняли весьма хитроумное решение: «В этих пересылках и переписках выиграется время и, смотря по тому, как кончится нынешний поход царя, можно будет говорить с ним (с царем. — *Н. П.*) смелее или скромнее». В то же время Конференция признавала, что затеяла очень опасную игру с царем, допуская, что он может вторгнуться на территорию Волфенбюттельского герцогства «и там остаться до выдачи ему сына; а по своему характеру он может ворваться и в Богемию, где волнующаяся чернь легко к нему пристанет».

В тот же день граф Зинцендорф принял Толстого, Румянцева и Веселовского и сообщил им о принятом решении. В обстоятельном послании, отправленном Петру 10 августа, Толстой и Румянцев, со слов Зинцендорфа, сообщили некоторые дополнительные подробности о позиции венского двора. Так, оказывается, решение о предоставлении царевичу убежища принималось не только для того, чтобы предотвратить его пленение неприятелем, но и с намерением, «чтоб де происшедшие несогласия между вашим величеством и сыном вашим не допустить знать другим». Более подробно изложены причины отказа выдать царевича: «Того де цесарю учинить невозможно, чтоб его неволею послать, понеже де то будет предосудительно его цесарской власти и противно всесветным правам, и будет то за знак варварства».

В разговоре с Зинцендорфом выяснилось, что к царевичу намереваются отправить курьера с известием о начавшихся переговорах. Толстой забеспокоился. Ежели послан будет курьер, заявил он, то эта посылка приведет все дело в «большую конфузию»: царевич, не зная, что получит прощение в своем проступке, если возвратится к отцу, не даст другого ответа, кроме того, как прежде, и, больше того, начнет проситься в другую область. Граф Зинцендорф возразил, что цесарю держать царевича в своей области неволею невозможно; впрочем, едва ли царевич захочет выехать в другое государство. Толстой настаивал на том, чтобы, не посылая курьера, разрешили ему ехать в Неаполь и вручить письмо отца и словесный приказ, который, вероятно, будет приятен царевичу. Зинцендорф взялся донести об этом цесарю, добавив: «Ежели де цесарь позволит вам ехать в Неаполь, то де, чаю, пошлет с вами знатную персону, чтобы вам в Неаполе в том деле вспомогать».

В общем, ситуация кардинально изменилась. Дело сдвинулось с

мертвой точки.

Надобно признать: когда Конференция выражала надежду на то, что «в пересылках и переписках выиграется время», она не учла способностей Петра Андреевича, его настойчивости и напора и умения достигать поставленной цели, не пренебрегая даже и не самыми чистоплотными мерами.

В заключение данной главы приведем несколько откликов из России на бегство царевича. В большинстве своем они принадлежат его родственникам или близким к нему людям и извлечены из следственных дел.

Аврам Лопухин: «Сие де он, царевич, учинил добро, и будет де ему в нынешнее время без всякой турбации. Слава Богу, что Бог его унес». Другой вариант его высказывания: «Царевич де хорошо сделал, что он цесаря держится...»

Василий Глебов: «Это де дело хорошо, что он цесаря держитца. И цесарь де ево никаким образом не отдаст. А вить де царевич ни от чево де уехал, что от понуждения. Принудил де отец, первое, от наследства прочь, другое и постричься понуждал».

Гофмейстерша, что состояла при дворе царевича: «Слава Богу, и вы молитесь как де я. Слышу, что царевич в хорошем охранении у цесаря обретается. Пишут де ко мне, что он отсюда светлейшим князем изгнан, только де он ему после заплатит».

Князь Иван Львов: «Хвалил и радовался тому, что царевич отъехал в Цесарию. Там сыскал он себе место изрядно, и цесарь ево не оставит. И если б де меня позвал какой случай отлучица отсюда, я его там сыскал».

Сибирский царевич Василий Федорович говорил Ивану Большому Афанасьеву: «Многие похваляют царевича, что он очень умно сделал, что отъехал в Цесарию». Однако фамилий, кто именно «похваляет» царевича, не назвал.

Отклики, как видим, в большой мере основывались на молве. Ясны и мотивы, которыми руководствовались лица, сочувствовавшие бегству царевича. Они надеялись извлечь пользу из последующего воцарения Алексея Петровича, получить материальные выгоды в виде пожалований и удовлетворить собственные честолюбивые претензии.

Князь В. В. Долгорукий: «Когда царевич будет царствовать, и нам будет добро».

Аврам Лопухин: «Когда де будет царевич на царстве и нам будет добро».

Достоин осуждения поступок, совершенный Алексеем Петровичем

Бестужевым-Рюминым, будущим знаменитым государственным деятелем. Он с разрешения Петра находился на службе у английского короля и, когда узнал о бегстве царевича, то 7 мая 1717 года, побуждаемый честолюбием, прислал ему из Лондона следующее письмо:

«Отец мой, брат и вся фамилия Бестужевых пользовались особенною милостию вашего высочества; я всегда считал обязанностию принести вам мою рабскую признательность и от юности ничего так не желал, как служить вам. Но обстоятельства не дозволяли. Это принудило меня вступить в чужестранную службу, и вот уже четвертый год я состою камерюнкером у его величества короля Английского.

Как скоро верным путем узнал я, что ваше высочество находитесь у его цесарского величества, своего шурина, и я по теперешним конъюнктурам замечаю, что возникли две партии; притом воображаю, что ваше высочество при нынешних обстоятельствах не имеет никого из своих слуг, я же чувствую себя достойным и способным служить вам в настоящее время, то осмеливаюсь к вам написать и предложить себя вам — будущему царю и государю в услужение.

Ожидаю только милостивого ответа, чтобы тотчас уволиться от службы королевской и лично явиться к вашему высочеству. Клянусь всемогущим Богом, что единственным побуждением моим есть высокопочитание к особе вашего высочества».

Перед отъездом в Россию царевич все письма сжег. Письмо Бестужева (в немецком переводе) каким-то образом оказалось в Венском архиве и было обнаружено Н. Г. Устряловым только в 1859 году. Если бы письмо стало известно Петру, Бестужев не избежал бы смертной казни, а так он остался в стороне от трагических событий 1718 года.

Бестужев отличался безграничным честолюбием. Уже будучи в России, он прилагал немало усилий, чтобы услужить Бирону, и активно способствовал объявлению последнего регентом грудного императора Иоанна Антоновича. Казалось бы, с падением Бирона карьера Бестужева должна была прерваться, но изворотливому карьеристу удалось при Елизавете Петровне занять должность сначала вице-канцлера, а затем и канцлера — должность, позволявшую ему свыше полутора десятка лет руководить внешней политикой России.

Глава четвертая. Возвращение беглеца

В предшествующей главе мы оставили царевича в Неаполе, куда его доставили ночью 6 мая 1717 года и где поселили в гостинице «Три короля». Утром следующего дня, сопровождавший царевича секретарь Кейль отправился к вице-королю Дауну, наместнику австрийского императора, и вручил ему письмо цесаря, а также сообщил о прибытии царевича, которого просил, как можно скорее, переселить из гостиницы в более надежное место.

Место, однако, не было подготовлено, и царевича с Евфросиньей (остальные лица, сопровождавшие царевича, остались в Эренберге) тайно перевезли окольными путями из гостиницы в Королевский дворец, где он провел два дня — столько времени понадобилось, чтобы приготовить покои в замке Сент-Эльм, стоящем на высокой горе и господствующем над Неаполем.

В Королевском замке царевич написал два письма: одно цесарю, другое вице-канцлеру Шёнборну с выражением благодарности за заботу о его безопасности. Одновременно он обратился к секретарю Кейлю с устной просьбой передать цесарю, что он ни в чем перед отцом не виноват и желает восстановить его милость. Другая просьба касалась его отношений с покойной супругой. Он просил убедить цесаря, что находился с кронпринцессой не в ссоре, а в добром согласии, проявлял о ней заботу, в то время как отец и мачеха относились не только к нему, царевичу, но и к ней с презрением, что ее крайне огорчало.

Вспомним, как обстояло дело в действительности! Очевидно, что именно для того, чтобы убедить венский двор проявить к нему снисхождение, царевич не стеснялся прибегать к явной лжи.

Когда Кейль уже собирался возвращаться в Вену, царевич попросил его отправить три письма своим друзьям в России для того, чтобы известить их, что он жив и что распространяемые слухи о его гибели являются ложью. Одно письмо было адресовано сенаторам, два других — иерархам Церкви: митрополитам Рязанскому и Крутицкому. Из этих трех писем сохранились два.

Сенаторам царевич писал:

«Превосходительнейшие господа сенаторы!

Как вашей милости, так, чаю, и всему народу не без сомнения мое от Российских краев отлучение и пребывание по се время безызвестное, на

что меня принудило от любезнейшего отечества отлучиться не что иное, только (как вам уже известно) всегдашнее мне безвинное озлобление и непорядок, а паче же, что было в начале прошлого года, едва было и в черную одежду не облекли меня нуждою без всякой (как вам всем известно) моей вины. Но всемилостивый Господь, молитвами всех оскорбляемых утешительницы Пресвятыя Богородицы и всех святых избавил мя от сего и дал мне случай сохраниTM себя отлучением от любезного отечества (которого, аще бы не сей случай, никогда бы не хотел оставить), и ныне обретаюся благополучно и здорово под охранением некоторой высокой особы до времени, когда сохранивый мя Господь повелит возвратиться во отечество паки, при котором случае прошу не оставите меня забвенна, а я всегда есмь доброжелательный как вашей милости, так и всему отечеству до гроба моего

Алексей.

P. S. Будет есть ведомости об мне (хотя память об мне у людей загладить), что меня в живых нет, или ино что зло, не извольте верить: Богу хранящу и благодетелем моим, жив есмь и во благополучии обретаюся; того ради и сие писание посылаю, дабы отразить противное мнение об мне».

В тех же выражениях и в таком же духе царевич обратился и к духовному иерарху (неизвестно какому — письмо осталось безадресным).

Когда венские министры ознакомились с содержанием писем, они благоразумно решили не отправлять их в Россию — письма пролежали в тайном архиве Вены до тех пор, пока их не обнаружил Н. Г. Устрялов. Оставить письма неотправленными министры имели серьезные основания. Их содержание противоречило многократным заявлениям царевича о своей готовности примириться с отцом. Они открыто выражали противостояние отцу, претензии царевича на трон. Совершенно очевидно, рассуждали в Вене, письма приведут не к примирению отца с сыном, а к разжиганию конфликта, поскольку вызовут гнев царя. Кроме того, они дадут повод царю обвинить цесаря во вмешательстве во внутренние дела России, поскольку царю было известно о строгом содержании беглеца, о невозможности совершения им любых действий без ведома караульного начальства.

Письма подтверждают довольно высокую оценку умственных способностей царевича Алексея. Он действительно был «не дурак», по выражению его отца. Царевич не имел в Неаполе секретарей, письма он сочинял сам. Они показывают высокую степень грамотности автора, его умение владеть пером, излагать мысли на бумаге. В то же время письма

насквозь лживы — в них царевич продолжал линию, которой придерживался при появлении в Вене в беседах с Шёнборном и министрами: изображать себя жертвой нерасположения отца. Царевич писал явную неправду, когда сообщал сенаторам и духовным иерархам, что отец его намеревался насильно обрядить в монашескую одежду, умолчав о том, что по совету друзей сам дал письменное согласие на пострижение. Умолчал царевич и о разговоре отца перед отъездом в Копенгаген, когда он, зная об обременительности монашеской жизни, предоставил ему полгода на размышление. Ни единым словом не обмолвился он и о своем вызове в Копенгаген.

Поселившись в крепости Сент-Эльм, царевич в течение пяти месяцев предавался спокойной и беззаботной жизни, обременяя себя лишь письмами оставшимся в России друзьям и слугам в Эренберг да приятным общением с любовницей Евфросиньей.

Между тем он не замечал, как над его головой сгущались тучи, предвещавшие грозу. Его безопасность в цесарских владениях оказалась эфемерной, и он медленно, но верно подвергался натиску сил, способствовавших, явно и тайно, его возвращению в Россию. В этом стремлении к выдворению царевича из пределов Австрийской империи объединились многие: царь и цесарь, Толстой и Румянцев, вице-король граф Даун и теща царевича герцогиня Вольфенбюттельская. Подспудно возвращению царевича способствовала и Евфросинья, в которую он был безумно влюблен. Любовница царевича оказалась женщиной властной, она сумела полностью подчинить своему влиянию безвольного любовника. Расчетливо-меркантильная, она, по-видимому, искала лишь выгод из общения с царевичем, но не отвечала взаимностью на его страстные чувства.

Но главное — изменилось отношение цесаря к проживанию царевича в его владениях. Цесарский двор, предоставляя убежище царевичу, отдавал отчет о возможных последствиях этого шага. С самого начала пребывание царевича в пределах Австрийской империи было крайне неудобно для венского двора. Когда же Петру стало известно, где находится его сын, власти империи постарались сделать все, чтобы поскорее избавиться от царевича. Сохраняя лицо, цесарь решительно отказал в насильственном выдворении Алексея из своих владений, но зато предоставил Толстому и Румянцеву возможность встретиться с царевичем. Тональность его писем, связанных с пребыванием царевича в его владениях, меняется. Показательно в этом отношении его письмо графу Дауну, в котором последнему предписывалось оказывать царским уполномоченным

доброжелательные услуги.

Приведем выдержки из этого письма, отправленного вице-королю 10 августа 1717 года:

«Когда приедет Толстой, примите его учтиво, как царского тайного министра, и как первое требование его, без сомнения, будет видеться с царевичем, то вы назначьте ему день и час. Для этого прежде вручите царевичу присланное ко мне с Толстым письмо на русском языке, или сами, или чрез доверенное лицо, и объявите по доверенности, что присланы к нему Толстой и Румянцев с письменною и изушною комиссиею. Причем можно сказать, что... царь не только дарует царевичу прощение, но соглашается дозволить ему жить в таком месте, какое он сам изберет, в чем, можно сказать, мы будем порукою.

Следовательно, когда царевич согласится видеть Толстого, то внушите ему по доверенности, что как гнев царя на него происходит единственно от того, что он имеет при себе женщину (в мужской одежде), то по удалении ее немедленно последует примирение».

Даун должен был заверить царевича, что цесарь ни в коем случае не выдаст его против его воли. Вместе с тем Даун должен был добиваться, чтобы свидание состоялось непременно. Любопытно, что император знал о том влиянии, какое оказывала на царевича его любовница, и оговорил специально: «Весьма хорошо бы получить резолюцию царевича прежде, чем он переговорит со своею переодетою женщиною, чтобы она его не отклонила».

Итак, необходимо обеспечить следующее:

«1) свидание должно быть непременно; 2) ежели царевич для избежания его захочет удалиться из Неаполя, решительно не позволять; 3) уведомить царевича за несколько часов об имеющей быть аудиенции, чтобы не застигнуть его врасплох и дать ему время приготовиться; 4) вы или другая персона будете при том присутствовать с посылаемым курьером (знающим русский язык. — Н. П.); 5) свидание должно быть так устроено, чтобы никто из москвитян (отчаянные люди и на все способные!) не напал на царевича и не возложил на него руки, хотя я того и не ожидаю».

Что ж, можно признать, что пункты, включенные в письмо, явно соответствовали интересам царя.

В письме предусматривались три возможных результата свидания Толстого с царевичем: 1) царевич согласится ехать с Толстым; 2) согласится, но с известными условиями и предосторожностями; 3) решительно откажется. В первом случае надлежало «дозволить без прекословия возвратиться к отцу и дать верного офицера для охранения в

моих владениях»; во втором случае предписывалось «потребовать от царевича пункты и мне донести, ожидая моей резолюции; Толстому до того времени позволить остаться в Неаполе»; наконец, в третьем случае «вы не должны решительно прерывать дела, — наказывал император, — но повторите Толстому, что вы мне донесете и будете ждать повеления, что ему надобно взять терпение; а дабы ему не было скучно, то посоветуйте осмотреть разные достопамятности. Между тем смотрите за ним тщательно, особенно, чтобы он никого из своих людей курьерами не посылал без вашего ведома; письма же отправлял бы с моими курьерами».

Даун в своем ответе 24 августа (3 сентября) писал цесарю, что царевич в разговоре с его секретарем Вейнгардом заявил, «что ни в каком случае своею охотою не возвратится в отечество, где ничего доброго себе не ожидает: какие бы уверения отец его ни делал, царевич, зная его, ему не поверит: царь никаким словом себя не связывает. Если же поводом к неудовольствию отца находящаяся при нем женщина, почему не требует ее удаления и простирает руки на него самого?» «Из этих слов, — полагал Даун, — очевидно, что трудно будет склонить его к добровольному возвращению».

Далее Даун спрашивал, как трактовать царевича: до того времени, когда он был на положении инкогнито, к нему относились как к государственному арестанту, и только один служитель имел к нему доступ. Теперь стало известно, что он царевич, и он «не может жить так тесно и дурно». Вице-король спрашивал повеление и суммы на содержание.

В то время как в Неаполе были озабочены обустройством жилья для проживания царевича и выяснением условий его содержания, Толстой в Вене безуспешно добивался выдачи царевича. Наконец ему было объявлено о разрешении ехать в Неаполь. Причем Толстой добился согласия министра Зинцендорфа без проволочек отпустить царевича к отцу, как только тот даст на это согласие, и, более того, добился повеления Дауну во всем помогать возвращению сына к отцу.

Толстой и Румянцев выехали из Вены 21 августа, но из-за проливных дождей и плохой дороги прибыли в Неаполь только 24 сентября. На другой день Толстой отправился к Дауну для согласования дня свидания с царевичем. Оно было намечено на 26 сентября, причем не в скромных покоях крепости, а в роскошном зале королевского дворца. Даун объяснил это тем, что царевич до сих пор не знает об их приезде не только в Неаполь, но даже и в Вену, а потому может воспротивиться встрече: «Потому завтра, не объявляя о вашем прибытии, позову его к себе в дом и за вами пошлю. Если же он не захочет с вами видаться, то, по цесарскому повелению, я и

против воли его вас к нему допущу».

На первой же встрече 26 сентября Толстой и Румянцев вручили царевичу письмо отца, датированное 10 июля.

«Мой сын! — писал Петр. — Понеже всем есть известно, какое ты непослушание и презрение воли моей делал, и ни от слов, ни от наказания не последовал наставлению моему, но наконец, обольстя меня и заклинаясь Богом при прощании со мною, потом что учинил? Ушел и отдался, яко изменник, под чужую протекцию, что не слыхано не точию между наших детей, но ниже между нарочитых подданных. Чем какую обиду и досаду отцу своему и стыд отечеству своему учинил!

Того ради посылаю ныне сие последнее к тебе, дабы ты по воле моей учинил, о чем тебе господин Толстой и Румянцев будут говорить и предлагать. Буде же побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и обещаю Богом и судом Его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься. Буде же сего не учинишь, то, яко отец, данною мне от Бога властью, проклиная тебя вечно, а яко государь твой, за изменника объявляю и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцову, учинить, в чем Бог мне поможет в моей истине. К тому помяни, что я не насильством тебе делал, а когда б захотел, то почто на твою волю полагаться? Чтоб хотел то б сделал».

Письмо, как видим, достаточно жесткое. Чтобы понять суть случившейся позднее трагедии, призываем читателя запомнить из него слова: «...Я тебя обнадеживаю и обещаю Богом и судом Его, что никакого наказания тебе не будет...»

Вместе с этим письмом царевичу вручено было и другое — от тещи, герцогини Христины Луизы. Впрочем, содержанием своим оно, наверное, разочаровало Толстого. В разговоре с ним герцогиня не скупилась на обещания энергично помогать ему в возвращении сына к отцу, но на деле ограничилась кратким письмом, в котором значимы были всего несколько слов о том, что герцогиня «желает примирения царевича с отцом». Но и это должно было помочь Толстому и Румянцеву в их многотрудном деле.

Царевич был очень напуган. Внезапное появление Толстого и Румянцева привело его в оцепенение. Мы «нашли его в великом страхе», — доносили Петру Толстой и Румянцев. Царевич «был в том мнении, будто мы присланы его убить, а больше опасался капитана Румянцева». По этой причине царевич не смог дать никакого вразумительного ответа посланцам отца: «не учинил нам никакого ответа, кроме того, что уехал он без воли вашего величества под протекцию цесарскую, опасаясь вашего гнева, будто

ваше величество, изволяя отлучить его от наследства короны Российской, изволил принуждать к пострижению, а о возвращении своем говорил: "Сего де часа не могу о том ничего сказать, понеже де надобно мыслить о том гораздо"»^[9].

О каждом визите к царевичу и о содержании бесед с ним Толстой и Румянцев обстоятельно доносили царю. Эти донесения являются главным источником информации о состоявшихся переговорах. На их достоверность можно положиться, правда, с учетом одного обстоятельства, характерного для документов этого жанра: авторы, стремясь подчеркнуть свое усердие и заслужить похвалу царя за умение и ловкость в преодолении трудностей, усиливали упорство сопротивления и неприятия их предложений. В этом плане способностей у опытного дипломата Петра Андреевича не отнимешь. (Примечательно, что отчет о первом свидании с царевичем Толстой и Румянцев отправили только 1 октября, четыре дня спустя. Столько времени понадобилось им, чтобы обдумать содержание послания и определить свои дальнейшие меры.)

Второе свидание состоялось в том же дворце 28 сентября. Царевич объявил, что «возвратиться к вашему величеству опасен, понеже де пред разгневанное лицо вскоре явиться не безстрашно, и какие де ради причины ныне возвратиться не смею, о том де письменно донесу протектору моему, его цесарскому величеству».

Услышав это, Толстой и Румянцев стали ему «угрожать жестко». «И когда от нас услышал, что ваше величество не оставит его доставать и вооруженною рукою, о том немного усумнился и, вызвав вице-короля. — Н. П.) в другую камору, несколько времени с ним говорил. На остаток сказал, чтоб ему еще дать время к размышлению: "Может де быть, что буду писать, ответствуя вашему величеству на ваше письмо, и тогда де уже дам конечный ответ"».

На 30 сентября назначено было третье свидание, но царевич не явился во дворец, сказавшись, что «занемог головою болезнию».

Положение казалось очень затруднительным. «Сколько можем видеть из слов царевичевых, — делали вывод Толстой и Румянцев, — что многими разговорами с нами только время продолжает, а ехать к вашему величеству не хочет, и не чаем, чтобы без крайнего принуждения поехал».

Перед Толстым и Румянцевым возникла первостепенной важности задача — лишить царевича уверенности в том, что цесарь в случае необходимости будет защищать его военной силой. Для этого прежде всего решили прибегнуть к помощи Веселовского, и оба сели за стол, чтобы сочинить письма резиденту в Вену. «Мои дела в великом находятся

затруднении... — писал Веселовскому Толстой. — Ежели не откажется наше дитя протекции, под которою живет, никогда не помыслит ехать. Того ради надлежит вашей милости тамо во всех местах трудиться, чтобы ему явно показали, что его оружием защищать не будут, а он в том все свое упование полагает. Мы должны благодарить усердие здешнего вицерея в нашу пользу, да может преломить замерзлого упрямства... Сего часу не могу больше писать, понеже еду к нашему зверю, а почта отходит». О том же, только другими словами, писал и Румянцев (его послание, по всей вероятности, носило неофициальный характер).

Нужда в услугах Веселовского, однако, отпала. 3 октября состоялось третье свидание с царевичем. О его результатах немедленно было сочинено царю радостное послание, в котором сообщалось об успешном завершении всего дела:

«Всемиловейший государь! Сего октября в 1 день доносили мы вашему величеству чрез почту о всем подробно, что у нас здесь чинилось и какие трудности находились в нашей комиссии. А сим нашим всеподданнейшим доносим, что сын вашего величества, его высочество государь-царевич Алексей Петрович изволил нам сего числа объявить свое намерение: оставя все прежние противления, повинуется указу вашего величества и к вам в С.-Петербурх едет беспрекословно с нами, о чем изволил к вашему величеству саморучно писать, и оное письмо изволил нам отдать не запечатанное, чтобы его к вашему величеству под своим ковертом послали...»

О согласии вернуться в отечество царевич известил отца собственноручным письмом, подписанным 4 октября:

«Всемиловейший государь-батюшка!

Письмо твое, государь, милостивейшее чрез господ Толстого и Румянцева получил, из которого, также изустного мне от них милостивое от тебя, государя, мне, всякие милости недостойному, в сем моем своевольном отъезде, будет я возвращуся, прощение; о чем со слезами благодаря и припадая к ногам милосердия вашего, слезно прошу о оставлении мне преступлений моих, мне, всяким казням достойному. И надеяся на милостивое обещание ваше, полагаю себя в волю вашу и с присланными от тебя, государя, поеду из Неаполя на сих днях к тебе, государю, в Санктпетербурх.

Всенижайший и непотребный раб и недостойный назваться сыном Алексей»,

Что же произошло в течение этих нескольких дней? Какие события вызвали столь крутой поворот в позиции царевича, когда «замерзлое

упрямство» сменилось согласием вернуться в Россию?

Эти события вызваны были умелыми действиями Толстого, расставившего вокруг царевича хитроумные сети и использовавшего все доступные ему ресурсы, чтобы выманить «зверя» из его укрытия. О своих действиях сам Толстой весьма откровенно поведал в письме к не названному по имени министру Петра I^[10]:

«Начало сему счастливому успеху есть министры цесарские, гишпанцы, о которых я писал из Вены, понеже оные привели цесаря к тому, что саморучно писал к вицерою Неаполитанскому, дабы всеми мерами трудился привести царевича к тому, чтобы он к отцу поехал. Но царевич сначала и слышать того не хотел, о чем вицерой со мною откровенно говорил и требовал в том моего совету, как ему с ним поступать. О чем я ему всегда советовал, чтоб он показал ему явно, что цесарь его оружием защищать не будет, понеже и резона не имеет: и хотя царевич всегда в разговорах упоминает, что цесарь ему обещал свою протекцию, на которую он весьма уповаet, но цесарь уже обещание свое исполнил и протестовал его, доколе царское величество изволил ему обещать прощение, о чем и к цесарю и к самому царевичу изволил писать, заклинаясь Богом, что во всех его винах простить изволит, ежели он токмо с повиновением возвратится; то уже цесарь не должен его протестовать больше, понеже явно есть, что он за своим упрямством к отцу ехать не хочет, и тако повинности цесаревой нет, чтоб за него с царским величеством против правды чинить войну, будучи и кроме того в войне с двух сторон; и ежели до сего дойдет, то принужден будет цесарь и противно воли его выдать отцу.

И вицерой сказал: так де сурово говорить ему не может, однакож де сколько возможно будет показывать, что пристойно рассудить. Сие я учинил для того, чтоб и вицерою положить в голову сумнение, что царское величество и оружием доставать его не оставит».

Как явствует из приведенного отрывка, главная причина в отказе цесаря от намерения защищать царевича состояла в изменении в худшую сторону внешнеполитического положения Австрии. Империя и так с натугой оказывала сопротивление туркам; теперь предстояло открытие второго фронта — война с Испанией. Придерживаться прежних позиций цесарь не мог, ибо в этом случае ему грозило появление третьего фронта — Петр, зная об истощенных ресурсах Австрии, мог перейти от угрозы к действиям и без особых усилий принудить цесаря выдать ему сына.

Толстой задействовал и другие рычаги давления на царевича, быстро нащупав наиболее уязвимое его место. В ход шло все: подкуп, шантаж, ложь, угрозы, несбыточные обещания и др. Продолжим чтение его письма

министру:

«Потом мне вицерой говорил: "Я де намерен его постращать, будто де хочу у него отнять девку, которую он при себе держит; и хотя де мне не можно сего без указа учинить, однако ж де увидим, что из того будет". Я ему то сделать советовал для того, чтоб царевич из того увидел, что цесарская протекция ему ненадежна и поступают с ним против его воли. А потом увещал я секретаря вицероева, который во всех пересылках был употреблен и человек гораздо умен, чтоб он будто за секрет царевичу сказал все вышеписанные слова, которые я вицерою советовал царевичу объявить, и дал тому секретарю 160 золотых червонных, обещая ему наградить впредь, что оный секретарь и учинил.

И возвратясь от царевича, привез ко мне его письмо... прося меня, чтоб я к нему приехал один, что я немедленно и учинил. И приехав, сказал ему, будто я получил от царского величества саморучное письмо, в котором будто изволил ко мне писать, что конечно доставать его намерен оружием, ежели вскоре добровольно не поедет, и что войски свои в Польше держит, чтоб их вскоре поставить на зимовые квартиры в Силезию, и прочая, что мог вымыслить к его устрашению, а наипаче то, будто его величество немедленно изволит сам ехать в Италию... И так, государь, сие привело его в страх, что в том моменте мне сказал, еже всеконечно ехать к отцу отважится. И просил меня, чтоб я назавтрее паки к нему приехал купно с капитаном Румянцевом: "Я де уже завтра подлинный учиню ответ".

И с тем я от него поехал прямо к вицерою, которому объявил, что было потребно, прося его, чтоб немедленно послал к нему сказать, чтобы он девку от себя отлучил; что он, вицерой, и учинил: понеже выразумел я из слов его, что больше всего боится ехать к отцу, чтоб не отлучил от него той девки. И того ради просил я вицероя учинить предреченный поступок, дабы с трех сторон вдруг пришли ему противные ведомости, то есть что помянутый секретарь отнял у него надежду на протекцию цесарскую, а я ему объявил отцев к нему вскоре приезд и прочая, а вицерой разлучение с девкою, и противно воли его учинить хочет, чтоб тем его привести к резону, ибо иного ему делать нечего, кроме того, что ехать к отцу с повинованием. И когда присланный от вицероя объявил ему разлучение с девкою, тотчас ему сказал, чтобы ему дали сроку до утра: "А завтра де я присланным от отца моего объявлю, что я с ними к отцу моему поеду, предложу им токмо две кондиции, которые де я уже сего дня министру Толстому объявил". А кондиции те: первая, чтобы ему отец позволил жить в его деревнях, а другая, чтоб у него помянутой девки не отнимать. И хотя сии государственные кондиции паче меры тягостны, однакож я и без указа

осмелился на них позволить словесно».

Коварные действия Толстого достигли цели — он нанес царевичу два удара в самые уязвимые места. Проницательный сановник, общаясь с царевичем и его «девкой», обнаружил его безумную влюбленность в Евфросинью, а также огромное влияние этой женщины (находившейся тогда на четвертом месяце беременности) на царевича. «Невозможно описать, как ее любит и какое об ней попечение имеет», — писал Толстой в том же письме министру. Кроме того, Толстой сумел «разгадать» и саму Евфросинью — расчетливую и циничную женщину, стремящуюся извлечь из привязанности к ней царевича максимальную выгоду.

Мы не знаем, какими чарами Евфросинья покорила сердце Алексея. О ее внешности источники донесли два несхожих известия. Один из современников писал, что она была маленького роста, а лицо ее украшали толстые губы. Французский же консул в Петербурге Виллардо считал Евфросинью «финкой, довольно красивой, умной и весьма честолюбивой». Скорее всего, прав был Виллардо, ибо едва ли откровенно непривлекательная женщина смогла бы завоевать сердце царевича^[11]. Евфросинье суждено будет, как мы увидим, сыграть роковую роль в судьбе Алексея Петровича. Известно, что еще до бегства из России он заявлял своим приятелям: «Ведайте себе, что на ней женюсь, видь де и батюшко таковым же образом учинил». Петр Андреевич употребил оба привычных для себя способа: угрозу и ласку. Угроза отнять у царевича любимую женщину не могла не привести в отчаяние обоих: и Евфросинью, и ее будущего супруга. Одновременно Толстой, кажется, сумел привлечь любовницу царевича на свою сторону: надо полагать, он использовал все свое красноречие, чтобы убедить Евфросинью в том, что надежда стать супругой наследника престола эфемерна, ибо царь воспрепятствует этому браку.

Француз Виллардо приписывал Евфросинье решающую роль в согласии царевича вернуться на родину. Вот что он пишет:

«До отъезда в Италию был выработан план, с помощью которого он (Толстой. — Н. П.) надеялся добиться успеха. План заключался в привлечении на свою сторону любовницы царевича, которую тот взял с собою из Петербурга». Толстой решил сыграть на ее честолюбии: «он убедил ее с помощью самых сильных клятв (он не затруднялся давать их, а еще меньше — выполнять), что женит на ней своего младшего сына и даст тысячу крестьянских дворов, если она уговорит царевича вернуться на родину. Соблазненная такими предложениями, сопровождаемыми клятвами, она убедила своего несчастного любовника в уверениях

Толстого, что он получит прощение, если вернется в Россию».

Зная нравственный облик Толстого, вполне можно допустить, что он не поспешил на подобные обещания. Однако ни один источник версии о его намерении женить сына на крепостной девке не подтверждает. Но вот что не вызывает сомнений, так это то, что Толстой действительно сумел использовать Евфросинью в качестве своей союзницы. Подтверждением тому является письмо, отправленное Толстым Евфросинье из Твери 22 января 1718 года. Какая надобность была тайному советнику отправлять крепостной девке письмо, когда царевич уже находился в России, а она, ожидая родов, оставалась за ее пределами?! Напрашивается вывод, что услуги Евфросиньи не были полностью исчерпаны, что они еще были нужны во время следствия, и, понимая это, будущий руководитель Тайной розыскных дел канцелярии счел полезным отправить ей письмо как бы от имени ее верноподданного.

Вот это письмо: «Государыня моя, Афросинья Федоровна! Поздравляю вас, мою государыню, благополучным приездом в свое отечество государяцаревича, понеже милостию Божиею все так исправилось, как вы желали. Дай Боже, вашу милость, мою государыню, вскоре нам купно при государе-царевиче видеть. Покорный слуга Петр Толстой».

Обращают на себя внимание слова из письма: «...все так исправилось, как вы желали». Их можно интерпретировать однозначно: Евфросинья желала возвращения царевича в Россию. Сама Евфросинья после прибытия в Петербург показала на допросе: «А когда господин Толстой приехал в Неаполь и царевич хотел из цесарской протекции уехать к папе римскому, но я его удержала».

Что касается другой угрозы Толстого — относительно намерения царя добывать сына силой оружия и сосредоточения войск в Силезии, о чем якобы царь сам извещал Толстого, то эта мистификация оказала еще большее влияние на царевича. Правда, поначалу царевич усомнился в подлинности сообщения и попросил Толстого во время приватной встречи показать ему письмо. Письма, как известно, не существовало. Как Толстому удалось выпутаться из этого положения — неизвестно. Но в итоге, как мы уже знаем, царевич сдался.

О решении Алексея возвратиться к отцу известил цесаря и граф Даун. Он сообщал Карлу VI, что «царевич долго колебался дать положительную резолюцию», но наконец 3 октября согласился ехать. Царевич выразил желание отправить цесарю благодарственное письмо, а также просил разрешения прибыть в Вену для изъявления ему личной благодарности.

Надо сказать, что в Вене решение царевича вызвало вздох облегчения.

Тайная конференция, созванная в связи с письмами царевича и Дауна, постановила рекомендовать цесарю дать аудиенцию царевичу, «тем более что он будет *incognito*». Кроме того, Конференция полагала необходимым направить к царю специального чиновника, с тем чтобы убедить Петра проявить к сыну милосердие, любовь и милость. «На письмо царевича вашему величеству отвечать не следует, — советовали императору члены Конференции, — а можно чрез императорского посла в Венеции объявить Толстому, что царевичу как в Вене, так и в других местах оказано будет все возможное внимание».

Однако согласие царевича отправиться к отцу еще не означало успешного завершения всего дела — надлежало доставить беглеца к русской границе и пересечь ее. Зная неуравновешенность царевича, его способность поддаваться стороннему влиянию, нужно было опасаться того, что в любой момент он может отказаться от принятого им решения, и тогда все старания Толстого и Румянцева пойдут прахом. Перед представителями Петра стояла непростая задача: на всем пути от Неаполя до русской границы держать царевича в полной изоляции, лишить его общения со всеми, кто мог внушить ему мысль о гибельности его поступка.

Насколько было важно сохранить тайну возвращения, явствует собственноручная приписка Толстого к его совместному с Румянцевым письму к царю от 3 октября 1717 года:

«По моей рабской должности я, Тальстой, дерзаю донести: благоволи, всемилостивейший государь, о возвращении к вам сына вашего содержать несколько времени секретно для того: ибо когда сие разгласится, то не безопасно, либо кому то есть противно, чтоб кто не написал к нему какого соблазна, от чего, сохрани Боже, может, устрась, переменить свое намерение». Кроме того, Толстой просил прислать ему царский указ ко всем командирам русских войск, «ежели которые обретаются на том пути, которым мы поедем», чтобы они в случае надобности предоставляли ему охрану.

Толстой дважды предупреждал и Веселовского, чтобы тот соблюдал тайну возвращения царевича: «А буде услышишь в Вене, что государь-царевич изволит возвращаться в свое отечество, о сем не изволь отнюдь ни к кому в С.-Питербурк писать». В другом письме он объяснил причину необходимости соблюдать тайну: «чтобы какой дьявол не написал царевичу и не устрасил бы от его поездки». (Любопытно посланное одновременно с Толстым письмо Веселовскому Румянцева, написанное в несколько шутовском тоне. Сообщая о том, что «некоторую важную тягость с рук сбыли», Александр Иванович коснулся и интимных дел. Имея в виду

известную вольность нравов неаполитанских дам, он успокаивал своего приятеля: «И об моей персоне изволь быть безопасен, ибо я до того не самой охотник».)

Труднее было обеспечить изоляцию царевича. Толстой и Румянцев не спускали с него глаз. Царевич, прежде чем возвращаться в Россию, изъявил желание поклониться мощам святого Николая в итальянском городе Бари. Толстой и Румянцев последовали за ним. Вице-король Даун предложил для этой поездки казенные кареты и эскорт из офицеров, но любезность была отклонена — мало ли как будут себя вести офицеры. «За что мы ему, благодарствуя, весьма то отрекли, — доносил Толстой, — и просили его, чтобы нас отправил как можно больше инкогнито, на нашем иждивении». Решительно откажется Толстой от конвоя и на обратном пути царевича в Россию.

Поездка в Бари заняла около недели. Подлинная ее причина заключалась не столько в особом благочестии царевича, сколько в том, чтобы протянуть время, дождаться согласия царя на те «кондиции», о которых упоминалось выше: чтобы отец позволил ему жить в его деревнях и чтобы у него не отняли Евфросинии.

Известие о благополучном разрешении дела чрезвычайно обрадовало Петра. 17 ноября 1717 года он отправил собственноручное письмо царевичу:

«Мой сын! Письмо твое в четвертый день октября писанное, я здесь получил, на которое отвечаю, что просишь прощения, которое уже вам пред сим чрез господ Толстова и Румянцева письменно и словесно обещано, что и ныне подтверждаю, в чем будь весьма надежен. Также о некоторых твоих желаниях писал к нам господин Толстой, которые также здесь вам позволят, о чем он вам объявит».

Вместе с этим письмом было отправлено и послание Толстому:

«Между другими доношениями писал ты, что сын мой желает жениться на той девке, которая у него, также, чтоб ему жить в своих деревнях — и то, когда сюда прибудет, позволено ему будет; а буде же тогда здесь не похочет, то мочно где и в его деревне учинить, по прибытии сюда».

Сделай, читатель, зарубку в своей памяти о втором обещании царя — разрешить сыну жениться на Евфросинье!

Царевич и сопровождавшие его лица отбыли из Неаполя 14 октября, о чем Алексей Петрович известил отца и мачеху. Последнюю он просил «милостивым своим предстательством не оставить» его.

О выезде из Неаполя Толстой и Румянцев сообщили царю в тот же день. В этом письме они еще раз писали о «некоторых желаниях» царевича:

«Сего числа сын вашего царского величества, государь-царевич, и мы при нем из Неаполя к вашему величеству поехали, наняв лошадей и коляски до Рима, а из Риму, государь, поедем в Венецию... Сын ваш весьма намерен к вам ехать, о чем при сем случае и сам к вашему величеству пишет. И неоднократно нам говорил, чтобы к вашему величеству послать с тою ведомостью, что уже он из Неаполя к вам поехал, дабы ваше величество изволили увериться, что он повинуется повелению вашему и к вам едет, желая ваше величество умиловить и получить от вас позволение, дабы ему жить в его деревнях, которые близь С.-Питербурха, а наипаче, чтобы ему жениться на той девке, которая ныне при нем и уже брюхата, тому четвертый месяц. И когда мы его сначала склоняли, чтоб к вашему величеству поехал, он без того и мыслить не хотел, ежели вышеписанные две кондиции позволены ему не будут... о чем ныне нам говорит, чтоб мы его в том письменно уверили. И ежели, государь, не можно нам будет от него в том отговориться, то мы, чтоб его не привести в отчаяние, дадим ему письмо такое, что ваше величество, когда он с повиновением к вам возвратится, изволите его милостиво принять и позволить ему жить в его деревнях, и что мы указу не имеем предреченной девки от него отлучать».

Чтобы ускорить возвращение царевича, Толстой и Румянцев готовы были пойти на обман:

«Зело, государь, стужает, чтоб мы ему исходатайствовали от вашего величества позволение обвенчаться с тою девкою, не доезжая до вас, и ежели ваше величество изволит ему на то позволить, то безсумнительно к вам поедет. А ежели ваше величество изволит разсудить, что непристойно тому быть, то не изволишь ли его милостиво обнадежить, что может то сделаться не в чужом, но в нашем государстве, чтоб он, будучи обнадежен, ехал к вам без всякого сумнения, и повели, государь, немедленно прислать нам указ, что нам о сем ему сказать, понеже под предлогом, будто хочет смотреть Риму и Венецию и прочих мест, а в самом деле того ради медлить будет в дороге, чтоб ему, не приближаясь к своему отечеству, получить ваш указ о женитьбе своей и по тому бы примать свои меры». «К тому, государь, дороги в горах безмерно злые, — добавляли Толстой и Румянцев, — и хотя б нигде не медля ехать, но поспешить невозможно».

Царь снова дал вполне удовлетворительный ответ на просьбы сына.

«...Что сын мой, поверя моему прощению, с вами действительно уже сюда поехал... меня зело обрадовало, — писал он Толстому и Румянцеву 22 ноября. — Что же пишете, что желает жениться на той, которая при нем, и в том весьма ему позволит, когда в наши края приедет, хотя в Риге или в

своих городах или хотя в Курляндии у племянницы в доме. А чтоб в чужих краях жениться, то больше стыда принесет. Буде же сомневается, что ему не позволят, и в том может рассудить: когда я ему так великую вину отпустил, а сего малого дела для чего мне не позволить? О чем и наперед сего писал... и ныне паки подтверждаю; также и жить, где похочет в своих деревнях, в чем накрепко моим словом обнадежьте его».

Тем же днем датировано и письмо сыну, в котором царь собственноручно обнадежил его:

«Писали к нам господин Толстой и Румянцов о вашем желании, о чем я позволил и писал к ним пространно, в чем будьте весьма благонадежны».

Царевича действительно не покидали сомнения, и Толстой был прав, когда доносил, что он тянет время до получения точных заверений отца. Так, из Неаполя они выехали 14 октября, а прибыли в Рим только 26-го. Инсбрука они достигли спустя еще месяц, 26 ноября. Сего числа, писал Толстой Веселовскому, поедем до Залла, «где у нас заготовлено судно, в котором поедем водой до Вены». Толстой, кстати, предлагал не заезжать в Вену, но царевич очень хотел испросить аудиенцию у цесаря.

До Рима царевича сопровождала Евфросинья. Но затем ее отправили по более спокойному и безопасному северному маршруту — через Германию, дабы она не подвергалась изнурительной тряске, ибо дороги были «зело трудны» и «злы», а Евфросинья, напомним, находилась на четвертом месяце беременности.

Раздельный маршрут принуждал их обмениваться письмами. Письма эти не отличаются богатством содержания, зато свидетельствуют о безмерной и нежной любви царевича к будущей супруге и о трогательной заботе о ней. В переписке с Евфросиньей царевич выглядит совсем другим человеком, разительно не похожим на того, который был супругом нелюбимой им кронпринцессы Шарлоты. В отношениях с Евфросиньей он не позволял себе грубостей, бестактных поступков, невнимательности.

Письма царевича исполнены самых нежных слов, причем чем продолжительнее была разлука, тем нежнее становилось обращение. Первое письмо начиналось со слов: «Маменька, друг мой». В последующем письме нежности и теплоты прибавилось: «Матушка моя, друг мой сердешной, Афросиньюшка, здравствуй о Господе»; «Матушка моя, друг мой сердешной, Ефросиньюшка Федоровна, многодетно здравствуй»; «Друг мой сердешный, Афросиньюшка, здравствуй, матушка моя, на множество лет».

Письма проникнуты заботой о здоровье любимой, о том, как бы обеспечить ее всеми возможными удобствами в пути, поддержать в бодром

настроении.

«Не печалься, друг мой, для Бога, — пишет он из Болоньи. — Я сего часа отъезжаю в путь свой. За сим предаю вас и с братом в сохранение Божие, который сохранит вас от всякого зла».

В другом письме царевич озабочен тем, как бы обеспечить Евфросинью нужными лекарствами: «По рецепту дохторову вели лекарство сделать в Венеции; а рецепт возьми к себе опять; а будет в Венеции не умеют, так же как и в Болоний, то в немецкой земле в каком-нибудь большом городе вели оное лекарство сделать, чтобы тебе в дороге без лекарства не быть».

На это письмо Евфросинья отвечала в более сдержанных тонах с оттенком официальности в обращении: «Батюшка, друг мой, царевич Алексей Петрович, здравствуй на многая лета... Изволите писать, чтобы в Венеции по рецепту дохтурскому лекарство сделать, на сие доношу, что за благодать Христову, нужды в сем не имею, токмо пластырь сделала в Иншпруке, а бальсам могу сделать и в других городех для того, что и старого еще есть. В Венеции приняла басу (паспорт. — *Н. П.*) до Берлина. Доношу вам об моих покупках, которые, быв в Венеции, купила: 13 локтей материи золотой, дано за оную материю 167 червонных, да из камня крест, серги, перстень лаловые, а за оный убор дано 75 червонных...» В этом же конверте была вложена цидулка, адресованная П. А. Толстому: «Превосходительнейший господин Петр Андреевич! Здравствуй на множестве лет. Не остави моего прошения, которое в Болоний просила пред отъездом».

В чем состояла просьба Евфросиньи — неизвестно, но цидулка свидетельствует, что Петру Андреевичу удалось втереться к ней в доверие.

Новое письмо царевич отправил из Инсбрука 26 ноября 1717 года. Сообщив о том, что из Инсбрука «поедем в Вену водою», царевич утешал возлюбленную: «И ты, друг мой, не печалься, поезжай с Богом; а дорогою себя береги. Поезжай в летиге не спеша, понеже в Тирольских горах дорога камениста, сама ты знаешь; а где захочешь, отдыхай, по скольку дней хочешь. Не смотри на расход денежный — хотя и много издержится, мне твое здоровье лучше всего. А здесь, в Инбурхе, или где инде, купи коляску хорошую, покойную... Пиши, свет мой, откуда можно будет, чтобы мне, маменькину руку видя, радоваться».

Следующее письмо — уже из Вены, от 5 декабря 1717 года. Он «зело рад тому, что молодцы у вас, понеже тебе, другу моему, не скучно одной; также Яков (один из слуг. — *Н. П.*) и кушанье про тебя может изготовить, что тебе угодно». О себе царевич сообщил, что «приехал сюда вчера и

поедем, чаю, завтра». В конце же — об ожидаемом наследнике: «...предаю себя, и тебя, и малинькова Селебенова в сохранение Божие».

Под упомянутыми в письме «молодцами» подразумевалась группа слуг царевича во главе с братом Евфросиньи Иваном Федоровичем, которые были оставлены в Эренберге, а теперь отпущены вслед за царевичем и его возлюбленной. Из Гданьска 1 января 1718 года царевич писал Ивану: «Прошу вас, для Бога, сестры своей, а моей (хотя еще не совершенной, однако ж повеление уже имею) жены беречи, чтоб не печалилась, понеже ничто иное помешало которому окончанию, только ее бремя, что дай, Боже, благополучно свободиться». Царевич велел своей нареченной жене, «чтобы осталась в Берлине или будет сможет доехала до Гданьска, и послал к ней бабу отсюда, которая может ей служить до приезде нашего».

«Молодцы» представляли из себя весьма шумную и беспокойную компанию. Зная это, царевич наставляет Ивана Федорова: «Смотри, чтобы молодцы жили меж себя хорошо». На обратной стороне письма две записки: одна адресована «молодцам», другая, ругательная, — одному из сопровождавших, некоему Петру Михайловичу. Обращаясь к «молодцам», Алексей Петрович просил: «Писал я к вам прежд сего и ныне подтверждаю: будьте к моей жене почтительны и утешайте ее, чтоб не печалилась». Петра же Михайловича — неизвестно за что — царевич обругал самыми поносными словами: «Сука, б..., забавляй Афросинью, как можешь, чтоб не печалилась, понеже все хорошо; только за брюхом ее скоро совершить нельзя; а даст Бог по милости своей, и совершение».

Из Бреславля царевич прислал Евфросинье еще одно письмо, текст которого не сохранился. В нем он поделился радостным известием о том, что отец разрешил им жениться. Евфросинья получила письмо под Новый год, 31 декабря, и 1 января 1718 отвечала на него: «Изволишь писать и радость неизглаголанную о сочетании нашего брака возвещать, что всевидящий Господь по желанию нашему во благое сотворит, а злое далече от нас отженет, и что изволили приказать, чтоб брату и господину Беклемишеву и молодцам сию нашу радость объявить, и я объявила им, и повеселились, благодаря сотворшего нас».

Прибыв в Россию, царевич позаботился о присылке Евфросинье разных женщин для услуг. 18 января из Берлина та сообщала о своем намерении ехать до Гданьска, но присланная царевичем из Гданьска бабка «сказала, посмотря на меня, что больше в пути мне быть весьма невозможно за тем, что неровен случай в пути постигнет в неудобном каком месте, что ни доктора, ни лекаря сыскать будет негде». Не преминула

Евфросинья известить о проявленной к ней заботе со стороны Толстого, который поселил ее не в гостинице, а в специально нанятом просторном доме, благодаря чему «никто про нас не ведает и не знает, и по се время, слава Богу, у нас смирно и изрядно». А также попросила прислать «икры паюсной, черной и красной икры зернистой, семги соленой и копченой и всякой рыбы; аще изволишь, малое число и сняточков Белозерских и круп грешневых».

Еще два письма Евфросинье царевич отправил из Твери в один день — 22 января. В первом он сообщал, что Толстой выехал из Риги в Москву без него, царевича, а он отправится вслед за ним: «...и, чаю, меня от всего уволят, что нам жить с тобою, будет Бог изволит, в деревне и ни до чего нам дела не будет».

В тот же день царевич послал и второе письмо, в котором сообщал, что из Петербурга к ней должны отправить священника и повивальных баб, и советовал доехать до Гданьска: «Понеже при тебе поп и бабы будут, то где ни родишь, везде хорошо»; если доехать до Гданьска нет возможности, то можно рожать и в Берлине: «В твою сие волю полагаю, что как лучше, так и делай»^[12].

Вернемся, однако, к маршруту следования царевича. Поздно ночью 4 декабря царевич с сопровождавшими его лицами прибыл в Вену, близ города его встречал Веселовский. Все было обставлено глубокой тайной. Уже утром следующего дня путники покинули Вену и отправились далее в Брюнн, куда прибыли 8 декабря вечером.

Эта поспешность привела к конфликтной ситуации, едва не перечеркнувшей все старания Толстого.

Напомним, что приезд в Вену состоялся по настоянию царевича, собиравшегося лично отблагодарить цесаря, о чем последний был уведомлен заранее. Однако за полтора месяца пути Толстому удалось уговорить Алексея отказаться от аудиенции.

Тайный и поспешный отъезд из Вены задел самолюбие Карла VI. Он решил немедленно отреагировать на грубый, с его точки зрения, поступок Толстого. И когда кареты с царевичем, Толстым и Румянцевым въехали в Брюнн, моравский генерал-губернатор граф Колоредо уже держал в руках следующее предписание цесаря:

«Царевич, испросив дозволения благодарить меня в Вене за оказанное покровительство, 16 декабря (5-го по старому стилю. — *Н. П.*) поздно ночью прибыл в Вену и сегодня рано утром отправился в Брюнн, не бывши у меня; да и Толстой ни у кого из моих министров не был. Из этого беспорядочного поступка ничего иного нельзя заключить, как то, что

находящиеся при царевице люди опасались, чтобы он не изменил своего намерения ехать к отцу. Я счел нужным послать к вам, как можно поспешнее, этого курьера с повелением, когда царевиц приедет в Брюнн, задержите его под каким-нибудь благовидным предлогом и оказанием почестей, постарайтесь видеться с ним наедине и спросите его моим именем, как и по каким причинам допустил он уговорить себя возвратиться к отцу. Действительно ли не был принужден к тому силою и точно ли не имеет он подозрения и страха, побудившего его искать моего покровительства? Если он переменяет свое намерение и скажет, что охотно желает не продолжать своего путешествия, примите все нужные меры к удобному его помещению и смотрите, чтобы люди его чего с ним не сделали; впрочем, поступайте с ними прилично до получения моего дальнейшего повеления. Если же царевиц намерен продолжать свое путешествие, дайте ему полную волю».

Граф Колоредо немедленно приступил к выполнению возложенного на него поручения, однако не тут-то было. Толстой упорно сопротивлялся встрече царевица с представителем имперской администрации.

«Вчера вечером я отправился к царевицу, — доносил генерал-губернатор на следующий день цесарю, — мне объявлено однако ж, что он уже в постели и почивает. Сегодня утром я явился, и когда велел о себе доложить, мне отвечали, что здесь никакого принца нет. Я говорил, что знаю положительно, что он здесь *in persona*. Толстой велел мне сказать, что этому нельзя быть и что они должны немедленно ехать. После того я сам отправился к Толстому и просил его допустить меня к принцу, чтобы от имени вашего величества сказать ему комплимент. Толстой отвечал, что не может никого к нему допустить. Я со всевозможною учтивостью старался его склонить оказать дружбу подождать здесь, пока я донесу вашему величеству и получу ответ. Он отвечал: и этого сделать нельзя. Чем более я убеждал, тем более спешил он отъездом. Я не отставал. Он заявил, что принимает задержание за *affront* и *arrest*, и требует двух курьеров, чтобы одного послать в Вену, другого в Петербург. Со своей стороны, я протестовал, заявив, что намерения моего изъяснить именем вашего величества учтивый комплимент он не должен принимать за арест. Между тем, как этот *casus* вовсе неожиданный, то прошу о резолюции вашего величества, что мне делать».

В письме Толстого, отправленном в Вену 9 декабря к резиденту Веселовскому, инцидент выглядит по-иному. Толстой ссылаясь на нежелание встречаться с графом самого царевица: «царевиц до него не имеет никакого дела и видеться с ним не может, не желая терять времени и

поспешая в отечество»; когда граф стал настаивать, «царевич не изволил его к себе допустить, понеже и я то советовал».

Цель письма к Веселовскому состояла в поручении разведать, какова подлинная причина задержания царевича. Сам Толстой полагал, что допустить коменданта к царевичу «не бесподозрительно». Но он ошибался.

«Казус» в Брюнне был вызван не столько подозрительностью цесаря, сколько тем, что было задето его самолюбие. Кроме того, он стремился выглядеть респектабельно в глазах Европы, казаться монархом, озабоченным судьбой своего родственника и принимающим все меры, чтобы не допустить насильственного возвращения беглеца в Россию. На самом же деле судьба Алексея Петровича волновала его в последнюю очередь, что явствует из мнения министров, высказанного 10 декабря по поводу происшествия в Брюнне.

Гофканцлер граф Зинцендорф правильно оценил поведение Толстого — его наглый отказ Колоредо от встречи с царевичем он объяснил тем, что «они боятся, чтобы царевич не изменил своего намерения». Мнение Зинцендорфа состояло в том, чтобы добиваться свидания с царевичем: «если же Толстой не согласится, не прибегать к силе, а объявить ему, что об его неприязненном поступке будет немедленно донесено царю; между тем дозволить им ехать. Насильное домогательство приведет к крайности; между тем нельзя много полагаться на принца».

Более определенно и откровенно высказал свое мнение вице-канцлер Шёнборн. Ссылаясь на мнение других, он признал «за лучшее избавиться от пребывания здесь царевича... Дай только Боже, чтоб царевич не изменил своего намерения возвратиться к отцу; со стороны его величества сделано все, что предписывали великодушие, честь, родство. Царевич все это сам устранил и отвергнул. Продолжать покровительство царевичу при непостоянстве его и угрожающей государству от силы царя опасности было бы безрассудно; царевич не имеет довольно ума, чтобы надеяться извлечь из него какую-либо надежду или пользу. Тем не менее я думаю однако ж, что граф Колоредо непременно должен видеть царевича и объявить ему комплимент его величества; Толстому же сказать, что он не смеет предписывать законов его величеству в собственном государстве. Колоредо может даже употребить к тому силу и под предлогом свиты может придти с значительным отрядом».

Цесарь последовал этому совету. В повелении, отправленном Колоредо, предписывалось «непременно, каким бы то ни было образом, видеться с царевичем; для сего возьмите с собою большую свиту и проникнете в его комнаты, предоставляя Толстому быть или не быть при

свидании... Толстому же дайте знать, что поведение его, вероятно, не заслужит одобрения его царского величества, что он потерял ко мне весь уважение. После того, если царевич захочет ехать далее, дайте ему волю...»

В соответствии с повелением цесаря Колоредо явился к Толстому и царевичу в сопровождении многочисленной вооруженной свиты. Толстому ничего не оставалось, как уступить, хотя он продолжал разыгрывать комедию. «Я не могу понять, — возмущался он в разговоре с секретарем графа, — достаточна ли причина нежелание царевича принять комплимент нас арестовать и так трактовать?»

Свидание с царевичем состоялось 23 (12) декабря. Его подробно описал Колоредо в донесении цесарю: «Меня ввели в приемную, куда пришел капитан с живущим у них немцем, потом вышел и царевич из своей комнаты с Толстым. Я начал говорить свой комплимент: во-первых, вашему величеству было бы очень приятно его самого видеть; во-вторых, ваше величество заботитесь, чтобы он во всем доволен был в землях ваших; в-третьих, промедление же его здесь происходит от желания вашего величества изъявить ему вашу добрую волю; и, в четвертых, наконец, изъявил удивление вашего величества, что он не повидался с вами.

Принц на это отвечал: он с особенною радостью слышал, что ваше величество велел ему сказать, и обязанностью и долгом его было благодарить ваше величество за оказание благодеяния, но он не имел экипажа и в таком грязном от путешествия виде не решился представиться ко двору вашего величества. Впрочем, поручил резиденту Веселовскому изъявить его признательность; хотя ему больно, что его здесь задержали, но как это случилось для него же, то еще просит меня принести его всепокорнейшую благодарность. Наедине поговорить с ним мне было невозможно; сам же он не входил ни в какие подробности. Толстой, капитан и немец стояли близко и слушали внимательно наши слова».

Не подлежит сомнению, что это неуклюжее объяснение причин отказа от аудиенции у цесаря было подсказано царевичу Толстым. Отговорку нельзя признать серьезной, потому что подобающее сану царевича платье можно было приобрести в Вене, а добыть карету можно было поручить резиденту Веселовскому, которому не представляло труда договориться с дворцовым ведомством.

Подлинная причина отказа Толстого от аудиенции царевича у цесаря, как и его упорное сопротивление встрече с Колоредо, заключалась в опасении, что Алексей Петрович может отказаться от возвращения в отечество. Потому-то Толстой и Румянцев не спускали с царевича глаз: малейшее отступление царевича от заранее составленного сценария

церемонии тут же было бы пресечено Толстым. Как только встреча с графом закончилась, царевич удалился в свою комнату; Толстой, не сказав ни слова, демонстративно последовал за ним и запер двери. «По всему видно, что Толстой крутой и грубый человек», — заключал Колоредо.

Но и для австрийских властей важно было лишь соблюсти церемонию. Встреча носила формальный характер, она ничего не изменила в положении царевича. В семь часов утра следующего дня карета с царевичем к радости обеих сторон — и цесаря, и Толстого — выехала из Брюнна. Царевич, не подозревая того, ехал напрямик навстречу своей гибели.

Пять дней, проведенных Толстым в Брюнне, надо полагать, были самыми напряженными в облаве на «зверя». У царевича появился последний шанс ускользнуть из рук Толстого, но Петр Андреевич мобилизовал всю свою изворотливость и настойчивость, чтобы не упустить добычу.

На этом инцидент, однако, не был исчерпан. Оскорбленный пренебрежением к своей персоне, цесарь 21 декабря отправил письмо царю с жалобой на действия Петра Андреевича: «Сверх всякого чаяния по приезде своем (в Вену. — *Н. П.*), не посетив нас, немедленно отъехал. Зная однако ж опытом его (царевича. — *Н. П.*) учтивость, мы приписываем сие пренебрежение Толстому, доказательством чему служит воспрещение генерал-губернатору нашему в Брюнне видеть царевича, чего между народами, а наипаче связанными родством принципалами, терпеть не надлежало бы».

Петр I откликнулся на послание Карла VI три месяца спустя — в марте 1718 года:

«По жалобе на Толстого, будто он во время проезда царевича чрез Вену не допустил его с вашим величеством видеться и сам от двора вашего удалился, мы спрашивали о том Толстого: он показал, что не он, а сын наш виновен в неотдании вам почтения. Толстой всячески его склонял видеться с вами; но сын не согласился, отговариваясь необыкновенно в таких обхождениях и неимением при себе пристойного экипажа; а вероятнее всего, стыдился с зазрения, что оклеветал нас пред вами... Так же к принятию губернатора Колоредо в Брюнне Толстой долго уговаривал нашего сына и едва в том чрез несколько дней успел склонить. С своей стороны, Толстой жалуется на графа Колоредо, который без всякого уважения держал их за арестом, пока не получил вашего повеления. Предаем сие на ваше рассуждение и уповаем, что вы поступок Колоредо не изволите апробовать (одобрить. — *Н.П.*)».

После Брюнна путешествие протекало без каких-либо приключений. Судя по письмам царевича Евфросинье, 19 декабря они были в Бреславле, 1 января 1718 года в Данциге (Гданьске), 18-го в Новгороде, а 22-го в Твери.

Как ни старался Толстой сохранить приезд царевича в тайне, сведения о его возвращении проникли в Россию через иностранную прессу и вызвали глубокую озабоченность у тех, кто был так или иначе причастен к бегству царевича или сочувствовал его побегу.

Иван Нарышкин сетовал: «Иуда Петр Толстой обманул царевича, выманил; и ему не первого кушать». Князь Василий Владимирович Долгорукий говорил Богдану Гагарину: «Слышал ты, что дурак царевич сюда едет, потому что отец посулил женить его на Афросинье. Жолв ему, а не женитьба. Черт его несет. Все его обманывают нарочно».

Особенно тревожился главный организатор побега Александр Васильевич Кикин.

— Знаешь ли ты, — спрашивал он у Ивана Большого Афанасьева, — что царевич сюда едет?

— Не знаю, — отвечал Афанасьев, — только слышал от царицы, когда была у царевичевых детей, говорила, как царевич в Рим пришел и как встречали.

— Я тебе подлинно сказываю, что едет, только что он над собою сделал? От отца ему быть в беде, а другие будут напрасно страдать.

— Буде до меня дойдет, и что ведаю, скажу, — заявил перетрусивший Афанасьев.

— Что ты это сделаешь? — возразил Кикин. — Ведь ты себя умертвишь. Я прошу тебя и другим служителям, пожалуй, поговори, чтоб они сказали, что я у царевича вовсе не был. Куда-нибудь скрыться? Поехал бы ты на встречу к царевичу до Риги и сказал бы ему, что отец сердит, хочет суду предавать, того ради в Москве все архиереи собраны.

Афанасьев отвечал, что ехать не смеет, боится князя Меншикова. Потом предложил послать брата своего, и Кикин выхлопотал тому подорожную за вице-губернаторской подписью; но Афанасьев и брата не послал, чтобы в беду не попасть.

Тот же Кикин в разговоре с управляющим домом царевича Федором Эварлаковым по поводу возвращения царевича отозвался коротко и выразительно: «Этакой де дурак», и высказал мнение: «Когда де он отца увидит, весь затрепещет».

О своей безопасности заботился не только Кикин. Иван Большой Афанасьев, видимо, внял совету Кикина. В разговоре с Эварлаковым они решили, что если окажутся под следствием, то будут отпираться от всего,

что грозило им гибелью: «Федор и Иван клялись, что они станут между собою про царевича говорить, и им де друг про друга никому не сказывать».

В Твери царевич провел несколько дней, видимо, в ожидании приезда туда Толстого. Последний, как уже говорилось, оставил царевича на попечение Румянцева, а сам отправился в Москву, чтобы рассказать обо всем произошедшем царю. По возвращении Толстого в Тверь царевич был перевезен поближе к Москве, в Преображенское. Здесь он появился 31 января, а 3 февраля в Москве состоялась его встреча с царем, обставленная с подобающей торжественностью.

Сохранилось несколько описаний церемонии встречи. Первое принадлежит перу самого царевича. 3 февраля 1718 года он отправил последнее письмо Евфросинье, в котором коротко изложил все, что произошло в этот день. Это письмо, насколько нам известно, нигде не публиковалось и никем не использовалось, потому воспроизводим его полностью:

«Друг мой сердешный, Афросиньюшка, здравствуй, матушка моя, на множество лет.

Я приехал сегодня, и батюшка был вверху на Москве в Столовой палате. И тут я пришел и поклонился ему в землю, прося прощения, что от него ушел к цесарю, и подал ему повинное письмо, и он меня простил милостиво и сказал, что де тебя наследства лишаю и надлежит де тебе и прочим крест целовать брату, яко наследнику, и чтоб как мне, так и прочим по смерти б» атюшкиною не помышляли о моем возвращении на престол.

И потом велел честь, за что он меня лишает наследства. И потом пошли в Соборную церковь и целовал я и прочие крест. А каково объявление и пред крестом присяга, то пришло тебе видеть так, чтоб мне дожждаться тебя в радость, а ныне за скоростью не успел. Дай, Боже, и впредь так, чтоб мне дожждаться тебя в радости.

Слава Богу, что нас от наследия отлучили, понеже останемся в покое с тобою, дай, Боже, благополучено пожить с тобою в деревне, понеже мы с тобою ничего не желали, только б жить в Рожестве. Сама ты знаешь, что мне ничего не хочется, только с тобою до смерти дожить. А будет что немецких врак будет о сем — не верь, пожалуй. Ей-ей, больше ничего не было.

Верный друг твой. С Преображенска. Алексей».

То, что описал царевич с внешним спокойствием, было для него колоссальным потрясением. И если он нашел в себе силы взяться за перо после клятвы, целования креста и слушания пространного Манифеста о

лишении его наследства, то с единственной целью — уберечь от волнений свою возлюбленную, которой, возможно, станут известны «немецкие враки» о происшедшем 3 февраля. Письмо еще раз свидетельствует о глубоких чувствах царевича к Евфросинье.

Второе описание событий, происходивших в Москве 3 февраля 1718 года, принадлежит перу Семена Баклановского, денщика Петра I, занимавшего при его дворе такую должность, которая позволяла быть в курсе всех разговоров и действий царя. Об услышанном и увиденном Баклановский сообщил в Петербург Кикину, который очень хотел знать обо всем, что происходит с царевичем. Письмо Баклановского хотя и короче письма царевича, но богаче по содержанию:

«Сего числа известная персона прибыла к Москве, которая принесла повинную на письме, которую прочитал Петр Павлович (Шафиров. — *Н. П.*). Также и манифест прочитали, и как читали, тогда государь выходил с царевичем, и послали Сафонова. А куцы — не знаю. И потом пошли в Соборную церковь, где присягали царевичу, что ему короны не искать, а уступает меньшому брату. Потом все присягали, как духовные, так и мирские царевичу Петру Петровичу, и при чем прилагаю присягу, по которой все присягали».

Еще одно описание принадлежит голландскому резиденту при русском дворе барону Якову де Би. Его депеша, отправленная 17 февраля (по новому стилю), содержит такие подробности, которые отсутствуют в русских описаниях. Письмо это (наряду с более кратким донесением австрийского резидента Плейера) — единственное свидетельство стороннего наблюдателя и поэтому тоже заслуживает полного воспроизведения:

«Вечером 11-го числа (31 января по новому стилю) его высочество прибыл в Москву в сопровождении г-на Толстого и имел долгий разговор с его величеством. На другой день, 12-го (1 февраля), рано утром собран был большой совет. 13-го (2 февраля) приказано было гвардии, Преображенскому и Семеновскому полкам, а также двум гренадерским ротам быть наготове с боевыми патронами и заряженными ружьями. 14-го (3 февраля), с восходом солнца, войска эти двинулись и были расставлены кругом дворца, заняв все входы и выходы его. Всем министрам и боярам послано было повеление собраться в большой зале дворца, а духовенству — в большой церкви. Приказания эти были в точности соблюдены. Тогда ударили в большой колокол, и в это время царевич, который перед тем накануне был перевезен в одно место, лежащее в 7-ми верстах от Москвы, совершил свой въезд в город, но без шпаги.

Войдя в большую залу дворца, где находился царь, окруженный всеми своими сановниками, царевич вручил ему бумагу и пал на колени перед ним. Царь передал эту бумагу вице-канцлеру барону Шафирову и, подняв несчастного сына своего, распростертого у его ног, спросил его, что имеет он сказать? Царевич отвечал, что он умоляет о прощении и о даровании ему жизни. На это царь возразил ему: "Я тебе дарую то, о чем ты просишь, но ты потерял всякую надежду наследовать престолом нашим и должен отречься от него торжественным актом за своею подписью". Царевич изъявил свое согласие. После того царь сказал: "Зачем не внял ты прежде моим предостережениям, и кто мог советовать тебе бежать?"

При этом вопросе царевич приблизился к царю и говорил ему что-то на ухо. Тогда они оба удалились в смежную залу, и полагают, что там царевич назвал своих сообщников. Это мнение тем более подтверждается, что в тот же день было отправлено три гонца в различные места. Когда его величество и царевич возвратились в большую залу, то сей последний подписал акт, в котором объявляет, что, чувствуя себя неспособным царствовать, он отрекается от своих прав на наследство престола.

После подписания акта, были громогласно прочитаны причины, вынудившие царя отрешить сына своего от наследования престола. По окончании чтения, все присутствующие отправились в большую церковь, где его величество в длинной речи изложил преступное поведение и послушание своего сына. Вслед за тем его величество отправился во дворец, где был обеденный стол, на котором присутствовал и царевич».

Де Би точно описал церемонию и последовательность происходивших событий. Нам остается расшифровать некоторые фразы депеши: какую бумагу царевич вручил царю, каково содержание подписанного царевичем акта об отречении от наследования престола и наконец какие причины вынудили царя лишить трона своего сына.

Бумагу, переданную царевичем, можно назвать повторной его повинной. Первую он отправил из Неаполя, а в Москве подтвердил ее:

«Всемиловитивейший государь-батюшко. Понеже узнав свое согрешение пред вами, яко родителем и государем своим, писал повинную и прислал оную из Неаполя, так и ныне оную приношу, что я, забыв должность сыновства и подданства, ушел и поддался под протекцию цесарскую и просил его о своем защищении. В чем прошу милостивого прощения и помилования.

Всенижайший и непотребный раб и недостойный назватися сын Алексей».

Подписанный царевичем акт об отречении от наследования престола

назван «Клятвенным обещанием».

«Я, нижеименованный, обещаю пред святым Евангелием, что понеже я за преступление мое пред родителем моим и государем, его величеством, изображенное в его грамоте и в повинной моей, лишен наследства Российского престола, того ради признаваю то за вину мою и недостойнство за праведно и обещаюсь и клянусь всемогущим в Троице славимым Богом и судом Его той воле родительской во всем повиноваться и того наследства никогда ни в какое время не искать и не желать и не принимать ни под каким предлогом. И признаваю за истинного наследника брата моего царевича Петра Петровича, И на том целую святыи крест и подписуюсь собственною моею рукою. Алексей».

Третьим документом, прочитанным вслед за «Клятвенным обещанием», был царский Манифест, излагавший причины лишения царевича права наследовать престол. Этот документ настолько просторен, что его полное опубликование способно утомить читателя, тем более что он частично повторяет содержание двух посланий царя к сыну. Поэтому есть резон изложить его содержание вкратце.

Начинается Манифест с заявления о том, сколь много стараний приложил отец, чтобы дать достойное наследнику образование и воспитание: приставил к нему не только отечественных, но и иностранных учителей, стремился привлечь его к управлению государством, наконец отправил его за границу, «чая, что он, видя так регулярные государства, поревнует и склонится к добру и трудолюбию; но все сие радение ничто пользовало, но сие семя учения на камени пало; понеже не точию оному следовал, но и ненавидел и ни к воинским ни к гражданским делам никакой склонности не являл, но упражнялся непрестанно во обхождении с непотребными и подлыми людьми, которые грубые и замерзлые обыкности имели».

Второй упрек относился к семейным делам сына: ему избрали достойную невесту, «своячину родную его величества, ныне государствующего цесаря Римского», в надежде, что она, умная и образованная девушка, окажет на супруга благотворное влияние, избавит его «от худых обычаев и поступков», но сын еще «больше поддался» воздействию «грубых и замерзлых» людей, жил с супругой «в крайнем несогласии» и еще при ее жизни «взял некакую бездельную и работную девку и со оною жил явно незаконно», так что законная супруга умерла не только от болезней, но и «от непорядочного его жития с нею».

Отец, видя «его упорность в тех его непотребных поступках», грозил лишить его наследия, «не смотря на то, что он у меня один... и дабы он на

то не надеялся, понеже мы лучше чужого достойного учиним наследником, нежели своего непотребного, ибо не могу такого наследника оставить, который бы растерял то, что чрез помощь Божию отец получил, и испроверг бы славу и честь народа Российского, для которого я здоровье свое истратил, не жалею в некоторых случаях и живота своего».

Сын выразил готовность отречься от престола, но когда отец предложил ему прибыть в Копенгаген, бежал в цесарские владения «и отдался под протекцию цесарскую, объявляя многие на нас, яко родителя своего и государя, неправдивые клеветы». «И какой тем своим поступком стыд и бесчестие пред всем светом нам и всему государству нашему учинил, то всяк может рассудить, ибо такого приклада и в историях отыскать трудно!»

Далее в Манифесте рассказывается об усилиях Толстого и Румянцева по возвращении сына в отечество. И хотя сын за совершение побега и «клеветы, на нас рассеянные», «достойн был лишения живота, однако ж мы, отеческим сердцем о нем соболезнуя, в том преступлении его прощаем и от всякого наказания освобождаем». Но, учитывая изложенные выше его пороки и «сожалея о государстве своем и верных подданных, дабы от такого властителя наипаче прежнего в худое состояние не были приведены», властью отеческой и «яко самодержавный государь для пользы государственной лишаем сына своего Алексея за те вины и преступления наследства по нас престола нашего Всероссийского».

Надлежит отметить впечатляющую организацию церемонии. На нее были приглашены двенадцать церковных иерархов: три митрополита, четыре епископа и пять архимандритов. Среди присутствовавших епископов значится епископ Ростовский Досифей, будущий расстрига Демид. Было бы интересно знать, что творилось на душе Досифея, когда он стал свидетелем реальных событий, совсем несхожих с теми, о которых он пророчествовал (и о которых будет рассказано ниже)? Впрочем, об этом мы никогда не узнаем.

Подавляющее большинство присутствовавших составляли светские чины: оказавшиеся под рукой тайные советники и сенаторы, среди которых были фельдмаршал Б. П. Шереметев, три генерал-майора, шесть бояр, четыре окольных, три бригадира, 18 полковников, четыре генерал-адъютанта, пять ближних стольников и пять вице-губернаторов. Итого 53 человека. Кроме них присутствовали ландраты и ландрихтеры, численность которых, как и их фамилии, в источниках не указана.

Бросается в глаза наличие среди присутствовавших лиц, принадлежавших к старомосковским чинам: бояр, окольных, ближних

стольников. Скорее всего, многие из этих отмиравших чинов чувствовали себя неуютно, когда слушали Манифест о лишении права наследства царевича Алексея — сторонники старины.

Вероятно, задержка царевича в Твери была связана с подготовкой в Москве соответствующих документов. Особенность церемонии состояла в ее публичности. Окна помещения, где царевич давал «клятвенное обещание» и где зачитывался Манифест, были открыты настежь, так что стоявшие вне зала могли если не видеть, то слышать все, что происходило в помещении.

В заключение настоящей главы приведем выписки из иностранных газет, сообщавших о возвращении царевича на родину. Правда, надо оговориться, что сведения, печатавшиеся в них, далеко не всегда были достоверными. Например, можно отметить нелепый слух, будто царевич намеревается жениться на вдовствующей герцогине Курляндской — своей двоюродной тетке, будущей императрице Анне Иоанновне, или что он собирается повторно поехать в Германию. Тем не менее сведения газет представляют известный интерес, ибо позволяют судить о слабой осведомленности европейской прессы того времени о драматических событиях, происходивших как в Австрии, так и в России.

Вена, 4 сентября 1717 года: «Российский посол Толстой выехал отсюда, как говорят, недовольный; некоторые уверяют, что он последует за царем, другие же, что он едет в Тироль, чтобы наблюдать за царевичем».

Берлин, 10 ноября: по полученным сведениям российский наследник или царевич последует за родителем своим, царем.

Рим, 6 ноября: царевич, пробывший несколько времени в Неаполе, оттуда прибыл в здешний город; он выезжает в карете кардинала Полуци и осматривает все достопримечательности города.

Рим, 6 ноября: Дон Карло Ал бани водил московского наследника по Ватикану для осмотра оного и при этом случае угостил его отличным завтраком.

Рим, 13 ноября: царевич осмотрел находящиеся в здешнем городе мощи, на которые не обратил, впрочем, большого внимания, и отправился в Вену.

Вена, 20 ноября: царевич решил оставить Италию и возвратиться в С.-Петербург.

Вена, 27 ноября: дом, в котором прежде жил Валашский князь, нанят ныне Российским резидентом для принятия в оном царевича, который имеет с тайным советником Толстым ехать из Неаполя сюда, потому что царевич, как говорят, в скором времени отправится назад в С.-Петербург к

родителю своему, царю.

Данциг, 12 января: третьего дня прибыл в здешний город царевич, а сегодня опять выехал в Кенигсберг, продолжая свое путешествие.

Вена, 12 января: «Здесь рассказывают об обстоятельстве, случившемся будто с царевичем во время проезда его через город Брюнн в Моравии. Говорят, что император поручил коменданту крепости Колоредо при проезде царевича через город приветствовать его от имени его величества, так как он выехал отсюда так поспешно, не выдавшись с его императорским величеством. Когда граф хотел исполнить это поручение, он не был принят, почему тотчас же послал нарочного ко двору за наставлениями.

В то же время и Толстой отправил курьера к императору и другого к царю. Императорский двор, узнав все это, послал двух курьеров: одного в Брюнн с депешою к Толстому с извинениями и уверением, что сделанное графом Колоредо имело целью только оказание вежливости царевичу и с приказанием графу, как можно скорее приготовить все к отъезду наследника; другого же, как говорят, к царю, с тем же уверением и с присовокуплением, что императору было весьма прискорбно, что царевич проехал с такою поспешностью».

Гамбург, 25 января: «Из Петербурга пишут, что царь перед отъездом подарил юному царевичу-сыну, которого он очень любит, портрет свой, богато украшенный алмазами, и произвел его в унтер-офицеры гвардии. Его царское величество не пробудет долго в Москве, но отправится вскоре в Воронеж, чтобы дать нужные приказания и осмотреть строящиеся там корабли».

Гамбург, 22 февраля: «Из Петербурга пишут от 21-го минувшего месяца, что царевич на пути в С.-Петербург, услышав, будто царь выехал оттуда, не поехал в этот город, а отправился в Москву».

Гамбург, 25 февраля: «Из Москвы сообщают, что его царское величество находится там в вожделенном здравии, что он с любопытством расспрашивает обо всем случившемся в его отсутствие, что он к числу, по приезде царевича, который имеет с г. Толстым находиться на пути в этот город, возвратится в С.-Петербург».

Гамбург, 4 марта: «Вдовствующая герцогиня Курляндская, встреченная родительницею своею, вдовою в Бозе почивающего царя Иоанна, принята там со всевозможными изъявлениями радости; поговаривают, будто идет речь о выдаче ее замуж за царевича, который ныне прибыл в Москву».

Гамбург, 15 марта: «Царевич проехал через Новгород в Москву. Утверждают, будто он, с соизволения родителя своего, женится на герцогине Курляндской».

Гамбург, 7 апреля: «Князь Меншиков пользовался великой милостью у царя, но 14 сановников из-за царевича под следствием и им, по-видимому, пришлось заплатить значительную сумму. На изменение положения царевича смотрят с одобрением по всей Москве, потому что он, по кончине родителя своего, наверное, сделал бы опять большие перемены, ибо он не любит немцев».

Гамбург, 8 апреля: «Говорят, будто царевич за несколько дней перед тем поехал опять в Германию: паспорта были выданы только до Риги, а в Курляндию были посланы приказания никому не отпускать лошадей без особых подорожных».

Из Москвы, 1 марта: «Со времени отречения царь открыл еще весьма важные обстоятельства, в которых, по-видимому, замешаны многие знатные лица, намеревавшиеся, как говорят, по смерти его величества возвести на престол старшего великого князя Алексея».

Вена, 9 апреля: «Российский резидент сообщил ныне императору и его министрам отречение царевича от престола; а когда его спросили о причине этого, он ответил, что царь есть государь в своей стране и может делать, что ему благоугодно».

Глава пятая. Московский розыск

Догадка голландского резидента Якова де Би о содержании уединенной беседы отца с сыном оказалась верной: Алексей назвал главных сообщников. Петр, как и во время розыска над стрельцами в 1698 году, взял руководство следствием в свои руки. Подогреваемый гневом, он сразу же после утомительной церемонии отречения царевича от наследования престола садится за стол и сочиняет письмо генерал-губернатору Петербурга князю А. Д. Меншикову. Курьеры царя один за другим отправлялись в новую столицу.

«Майн фронт, — обращается царь к князю 3 февраля 1718 года. — При приезде сын мой объявил, что ведали и советовали ему в том побеге Александр Кикин и человек его (царевича. — *Н. П.*) Иван Афанасьев, того ради возьми их тотчас за крепкий караул и вели оковать».

Через несколько часов в Петербург помчался другой курьер с письмом к тому же Меншикову:

«Майн фронт, писал я давеча о Иване Афанасьеве с Сафоновым, но понеже два Ивана Афанасьева — братья родные, а причинен (причастен. — *Н. П.*) большой, и которого взять надлежит и сковать, а не хуже, чтобы и всех людей подержать, хотя не ковать; может быть, что друг от друга ведали, также у сего Ивана Афанасьева письма и цыфирь (шифр. — *Н. П.*) есть, все надобно взять и у протчих осмотреть».

Кикин, получив известие о возвращении царевича из бегов, смекнул, что его ожидают тяжелые испытания, и не сидел сложа руки. Он проявлял лихорадочную заботу о спасении своей жизни. Однако шансы это сделать у него практически отсутствовали. Бежать за границу или укрыться в своих вотчинах он не мог — Петр еще до своего отъезда из Петербурга в Москву заподозрил его в причастности к бегству сына и велел Меншикову не спускать с него глаз, следить за каждым его шагом.

И все же кое-какие мысли о спасении роились в предприимчивой голове Кикина, иначе ничем нельзя объяснить его поручение царскому денщику Баклановскому сообщать ему, Кикину, о всем, что происходит при царском дворе в связи с ожидаемым возвращением царевича.

Затея, однако, не удалась. 6 февраля царю стало известно, «что от Александра Кикина в Москву присылаваны ис Питербурха денщики ево. И того ради его величество указал оных в Москве сыскать и осмотреть». У одного из них, Тельнова, было обнаружено письмо Кикина к

Баклановскому с просьбой, «дабы не держать ево (Кикина. — Н. П.) безизвестна о деле известном, что чинится ныне, и с тем бы прислать к нему нарочно денщика брата ево Ивана Кикина, а Тельнову бы быть в Москве. И ежели крайняя нужда будет и тогда б ево к нему, Кикину, прислать». Баклановского тут же арестовали, допросили в застенке и выяснили, что «Кикин дружбу с ним имел с того времени, как он, Александр, женился на сестре ево, и что де об нем (Кикине. — Н. П.) слышал от царского величества и от государыни царицы и от других, о том де ему всегда сказывал».

Семен Баклановский добросовестно известил Кикина о прибытии царевича в Ригу, затем в Тверь, а из Москвы прислал описание приема царевича отцом и извещение об отправке курьера Сафонова. Кикин во время следствия объяснил свои интересы к приезду царевича якобы тем, «чтоб де царевич на него чего не налгал».

Отправка письма 3 февраля Баклановским стала последней его услугой Кикину, впрочем, оказавшейся бесполезной: Сафонов прибыл в Петербург раньше Тельнова, и Ментиков успел Александра Васильевича арестовать.

6 февраля царь извещал Меншикова: «Майн фронт! В самый час приезда сына моего, когда уведал о Кикине, тотчас писал к вам с Сафоновым, но ныне зело сомневаюсь: понеже ныне явился в согласии с Кикиным домашний Июда мой, Баклановский, которой, увидя посылку Сафонова, тотчас Кикина денщика к нему послал. Того ради зело опасаясь, чтоб сей враг не ушел, только одну надежду имею, что я вам приказывал при отъезде, чтоб на него око имели, и стерегли, чтоб не ушел. В сем же деле и брат его приметался, также царевич Сибирской и Самарин. И когда сие получишь, то Кикина Ивана и царевича вели взять за караул, а о Самарине, вины не объявля, также возьми за караул, для чего в Сенат посылаю при сем письмо; также дела прикажи иным, чтоб не потерять времени».

7 февраля Меншиков получил еще два повеления царя. В первом из них царь велел пытатъ Кикина и Афанасьева «только вискою одною, а битъ кнутом не вели». Этот указ вызван отнюдь не чувством сострадания или милосердия, а заботой о том, чтобы обоих можно было доставить в Москву пригодными к дальнейшему розыску. Москва должна была стать главным местом следствия.

8 февраля Меншиков предпринял попытку допросить арестованных, но те, в том числе и Афанасьев, отказались отвечать на вопросы. Тогда князь велел поднять Афанасьева на дыбу, после чего тот стал давать

показания. Меншиков рапортовал царю: «Ив том ваше величество не изволите воспрять на меня какого гнева, что я оным пострацал (Афанасьева. — *Н. П.*), а оное чинили мы вместе с господином подполковником князем Голицыным и с майорами Юсуповым, Масловым и Салтыковым. С Кикиным же так поступать без указа не смеем».

Видимо, с этим же курьером царь отправил Меншикову ответы царевича на вопросные пункты, так что князю была известна роль Кикина в бегстве Алексея Петровича.

Вторым повелением царь обязывал Меншикова: «Ни для каких дел партикулярных ни за какие деньги не вели давать почтовых лошадей, кроме государственных курьеров за подорожными за твоею или моею рукою». Повеление царя исключало возможность предупреждения лиц, причастных к побегу, о грозившей им опасности.

Де Би нисколько не сгущал краски, когда 3 марта 1718 года (по новому стилю) отправил тревожную депешу из Москвы: «Отовсюду приходят известия об арестовании в Москве и Петербурге лиц как высшего, так и низших классов. Допросы, которыми их подвергают, заставили царя отсрочить выезд свой из Москвы».

Действительно, в иные дни февраля царь отправлял к Меншикову не одного, а двух курьеров с повелениями о заключении тех или иных лиц под стражу.

Приведем хронику их отправки в Петербург.

16 февраля: «Сын мой еще прибавил в деле своем на генерала князя Долгорукова и на протопопа Егора, которых возми за караул. Пред писал я к тебе, чтоб взять Аврама Лопухина, и что у него писем взято, пришли, а его там держи».

17 февраля: «По получении сего дьяков Воронова, Волкова, князя Богдана Гагарина вели взять и сковать, и как сих, так и всех, кои взяты за караул, немедленно сюда пришли до одного, ибо дело сие зело множитца. Эварлакова вискою сприси против приложенной цыдулы, и кто приключитца, также Петра Апраксина с ними же и сковав.

Р. С. Алексея Волкова вели взять же за караул, а не присылай до указу».

17 февраля: «По написании о присылке ворофской компании и от вас письма и азбук (шифров. — *Н. П.*) разных копий, и по получении сего пришли аригиналы и тех, у кого взяты».

18 февраля: «По получении сего письма Василья Глебова сковаф, пришли, да из Риги подьячева, который у Исаева, Ивана Осипова, сына Протопопова, да в Петербурге вели держать под караулом Ивана

Нарышкина».

22 февраля: «По получении сего архимандрита Симоновского, который, сказывают, в Питербурхе, сыскав, за крепким караулом пришли сюды».

4 марта: «По получении сего сестру бывшей жены моей, Троекурову, Варвару Головину и жену писаря манифеста Богданова, как наискорее пришли сюда, и с письмами, ежели какие найдутся, также письма у гофмейстерины, что у внучат, обрав, пришли же».

11 марта: «По оговору Аврама Лопухина князя Михаилу Володимирова сына Долгорукова вели арестовать в дому ево».

«Дело сие зело множится», — писал Петр Меншикову. Выполняя волю царя, светлейший отправил в Москву находившихся под стражей в Петербурге арестантов на пятидесяти семи подводах. Среди «пассажиров» растянувшегося более чем на полверсты обоза значились Кикин, братья Афанасьевы, Сибирский царевич Василий, сенатор Михаил Самарин, князь Василий Владимирович Долгорукий, брат адмирала Федора Матвеевича Апраксина Петр Матвеевич, брат первой жены царя Аврам Лопухин, дьяки Михаил Воинов, Федор Волков и др. Главе караульного отряда было положено четыре лошади, четверем офицерам, как и каждому арестованному, было определено по три лошади.

Среди взятых под стражу значилась и титулованная персона из царской фамилии — сводная сестра царя царевна Марья Алексеевна. Для нее были созданы особые условия содержания.

17 марта 1718 года царь отправил Меншикову повеление: «По получении сего велите в Шлютельбурхе хоромы свои, которые блиско церкви, хорошенько вычинить для житья сестре моей, царевне Марье Алексеевне, которая вскоре отсель приедет». Светлейший тут же запросил царя об условиях ее содержания и получил ответы. На вопрос, как снабжать ее провиантом и на какие средства, царь ответил: «Давать с ее деревень, что нужно, без чего нельзя», то есть питание должно быть скромным, без излишеств. На вопрос, сколько должно быть при ней служителей мужского и женского пола и какое давать им пропитание, царь наложил резолюцию: «Что самая нужда, стольким быть, и давать жалованья прежнее». «Ежели изволит куда из города ехать, пущать ли?» Резолюция: «Не пускать».

Напряжение в Москве, где следствием руководил царь, и в Петербурге, оставленном на попечение Меншикова, достигло высшего накала. Никто из вельмож не знал, кто еще будет оговорен царевичем в дополнение к 50 человекам, взятым под стражу, у кого оборвется карьера, кому придется расплачиваться пожитками, а кому и «животом» за неосторожно

оброненную фразу, восхвалявшую царевича. Каждый судорожно вспоминал, не сказал ли он чего лишнего царевичу, не обернется ли случайно брошенная реплика трагедией.

В феврале — марте 1718 года Меншиков вел оживленную переписку с Толстым, Ягужинским, Екатериной Алексеевной, адмиралом Апраксиным, кабинет-секретарем Макаровым. Читая их письма, можно подумать, что корреспонденты либо стояли в стороне от драматических событий, либо ни в Москве, ни в Петербурге не происходило ничего заслуживающего внимания. Меншиков отправлял стереотипные послания с извещением, что в Петербурге «при помощи Божий все благополучно», и с просьбой «содержать нас в любительной своей корреспонденции». Корреспонденты в «любительных» ответах тоже умалчивали о самом важном и всех волновавшем. Единственная цель посланий, видимо, состояла в подтверждении друг другу, что каждый из них пока еще находится вне подозрений. Все же изредка проскальзывала кое-какая информация, если не прямо, то косвенно отражавшая события. Так, Екатерина в письме от 4 февраля извещала Меншикова, что царевич Алексей «прибыл сюда (в Москву. — Н. П.) вчерашнего числа». Но зато в следующем послании, отправленном в разгар розыска, 11 марта, о следствии ни слова. Царица сочла возможным лишь предупредить князя о намерении Петра вернуться в Петербург, «ежели еще что не задержит».

В письмах к Екатерине Меншиков тоже не затрагивал существа дела. Лишь однажды он, полагая, что изменнический поступок сына и кровавое следствие вызовет у Петра нежелательные эмоции, «слезно» умолял Екатерину отвращать супруга «от приключающейся печали», которая может вызвать тяжелые последствия «его величества здравью». В одном из писем Толстому Меншиков не ограничился сакраментальной фразой «Здесь при помощи Божий все благополучно» и решил выяснить у корреспондента волновавший его вопрос: «Послал я к царскому величеству Ивана Кикина допрос. А что по оному его величество изволил учинить, известия не имею. Того ради прошу ваше превосходительство о том меня уведомить». Напомним, что царь назначил Петра Андреевича Толстого руководителем Тайной розыскных дел канцелярии — ему Петр был безмерно благодарен за возвращение сына в Россию и именно ему, как специалисту по делу царевича, было поручено вести розыск. Толстой, однако, предпочел отмолчаться и не ответил князю.

Исключение составляют письма братьев Апраксиных. Петру Матвеевичу удалось отвести предъявленные ему обвинения. 8 марта 1718 года Петр отправил Сенату письмо: «Объявляем вам, что Петр Матвеевич

Апраксин и Михайло Самарин по делам своим (для чего они взяты были к Москве) очистились, и для того они ныне отпущены в Петербург по прежнему к делам и для того ныне Михайлы Самарина дом велите распечатать и людей его извольте освободить». Вина Петра Матвеевича Апраксина состояла в том, что он одолжил царевичу перед его бегством 3 тысячи рублей. Оказавшись на свободе, П. М. Апраксин с разрешения царя отправил к Меншикову курьера с извещением, в котором описал свои злоключения: он был доставлен в Москву и «во узах» в 6 утра оказался в застенках Тайной канцелярии в Преображенском. «Там, — продолжал Апраксин, — и была установлена моя правда и невинность». История, однако, имела продолжение, о котором Петр Матвеевич поведал в цидуле, приложенной к письму: «Брата моего Федора Матвеевича от такой великой печали застал едва жива». Сам Федор Матвеевич тоже известил Меншикова о своей болезни, причем сделал это весьма эмоционально. Письмо адмирала дает ключ к объяснению причин, вынуждавших корреспондентов избегать острой темы: «О здешних обстоятельствах вашей светлости верно донести оставлю, ибо в том перу верить не могу и себя нахожу в немалых печалях, о чем вашей светлости уже известно».

События, связанные с розыском, были официально запрещенной темой переписки. Когда в июне 1718 года И. А. Мусин-Пушкин в письме к П. А. Толстому спросил того, «где его царское величество обретается» и что слышно об отъезде из России царевича и о других делах, руководитель Тайной канцелярии сделал ему внушение: «Весьма неприлично и не надлежит о таких делах писать», и предупредил, чтоб «о таких неприличных им делах не писали, за что могут истязаны быть жестоко».

В то время как царь давал одно повеление за другим об аресте подозреваемых, сам царевич, напрягая память, отвечал на предложенные ему семь вопросных пунктов, составленных царем на следующий день после церемонии лишения его права на наследство, 4 февраля.

Эти вопросные пункты царевичу положили начало Московскому розыску, к которому были привлечены десятки лиц. Вряд ли целесообразно приводить показания каждого из них. Достаточно изложить содержание добровольных признаний и пыточных речей главных действующих лиц, чтобы получить представление о сути дела. (При этом надлежит сделать оговорку. В рассказе о предшествующей жизни царевича мы уже не раз прибегали к показаниям как его самого, так и близких ему лиц, из которых и были извлечены многие подробности. Теперь же, при изложении показаний подследственных, для создания целостной картины автор вынужден либо повторять описание уже известных читателю фактов, либо

хотя бы вскользь упоминать о них.)

Центральной фигурой Московского розыска был, разумеется, царевич Алексей Петрович. Среди его сообщников главными оказались Александр Васильевич Кикин, Иван Большой Афанасьев, генерал-лейтенант князь Василий Владимирович Долгорукий, управляющий домом царевича Федор Эварлаков, а также царевна Марья Алексеевна. Следствие над бывшей супругой царя Евдокией Федоровной Лопухиной, ее любовником капитаном Степаном Глебовым, ростовским епископом Досифеем хотя и производилось в Москве, но его целесообразнее было бы назвать первым Суздальским розыском, поскольку он касался лиц, близких к инокине Елене — царице Евдокии, прозябавшей в Суздале в Покровском девичьем монастыре (о нем речь пойдет в отдельной главе книги).

Итак, 4 февраля Петр составил «вопросные пункты», на которые сыну надлежало отвечать со всей искренностью.

«Понеже вчерась прощение получил на том, дабы все обстоятельства донести своего побегу и прочаго тому подобного, — писал царь, — а ежели что утаено будет, то лишен будешь живота; на что о некоторых причинах сказал словесно, но доя лучшего, чтоб очистить письменно по пунктам, ниже писанным».

Эти слова царя нельзя расценивать иначе, как отступление от ранее данных обязательств. Напомним: когда сын находился вне досягаемости царя, он твердо обещал помиловать его без всяких условий и оговорок. Зато эти условия возникли теперь, когда сын оказался в его власти.

Царя интересовали прежде всего сообщники сына, лица, руководившие его поступками, подсказавшими ему мысль об отречении от престола и посоветовавшие бежать за границу. Всего было сформулировано семь вопросов: «1...Понеже во всех твоих письмах, также и при прощении на словах все просился в монастырь, а ныне в самом деле явилось, что все то обман был, с кем о том думал и кто ведал, что ты обманом делал?»; «2. В тяжкую мою болезнь в Питербурхе не было ль от кого каких слов для забегания к тебе, ежели б я скончался?»; «3. О побеге своем давно ль зачал думать и с кем? Понеже так скоро собрался, может быть, что давно думано, чтоб ясно о том объявить, с кем, где, словесно или чрез письмо или чрез словесную пересылку и чрез кого... также и с дороги не писал ли кому?»; «4. Будучи в побеге, имел ли от кого из России письма или словесный приказ, прямо или посторонним образом или чрез иные руки, и чрез кого; также хотя и не из России, а о здешних делах, которые тебе и мне касаются?»; «5. Поп гречанин когда и где и для чего у тебя был?»; «6. Письмо, которое ты сказал, что тебя принудили цесарцы писать... также

кто из цесарцев тебя принуждал? Коли и где и кто из людей твоих про то ведает, и кому ты оные отдал, и нет ли черного (черновика. — *Н. П.*) у тебя и подлинно ль цесарцы принудили?»; «7. Все, что к сему делу касается, хотя чего здесь и не написано, то объяви и очисти себя, как на сущей исповеди».

А в конце пунктов — новая угроза, напрочь перечеркивающая прежние обещания и гарантии: «А ежели что укроешь, а потом явно будет, на меня не пеняй: понеже вчерась пред всем народом объявлено, что за сие пардон (прощение. — *Н. П.*) не в пардон».

8 февраля царевич представил ответы на предложенные вопросы. Внешне его показания выглядят вполне чистосердечными. Так, написав развернутые ответы на все семь пунктов, он вспомнил, что кое-что запамятовал, и по собственной инициативе решил восполнить пробелы. Но когда вчитываешься в эти ответы и дополнения к ним, то нетрудно обнаружить, что царевич, как и всякая слабая натура, перекладывал ответственность за содеянное на других. Если верить Алексею, то он лишь пассивно воспринимал то, что ему подсказывали его многочисленные советчики: Кикин, Долгорукий, Самарин, Иван Афанасьев и другие.

Впоследствии царевич еще несколько раз вынужден был давать показания: 12, 14, 16 и 26 мая, 17, 19, 22 и 24 июня. Это объясняется тем, что у следствия возникали вопросы в связи с допросами других лиц, привлеченных к дознанию, из которых роль царевича вырисовывалась совсем по-другому. Здесь уместно сказать, что память царевича не могла сохранить всего, ранее происходившего, и о некоторых фактах и событиях он попросту не мог вспомнить. Но следствие также установило, что в одних случаях царевич сознательно скрывал истину, пытаясь смягчить свою вину или освободить от ответственности близких ему лиц, в других, напротив, клеветал на невинных, мстя им, потому что питал к ним неприязнь.

Так что же отвечал царевич отцу?

На первый вопрос, с кем он советовался, давая ответ на письма отца и соглашаясь отправиться в монастырь, царевич отвечал, что, получив первое письмо, он советовался по отдельности с Александром Кикиным и Никифором Вяземским, и оба дали одинаковый ответ: «отрицаться наследства и просить о лишении оногo для моей слабости, чего я и сам желал и писал от истинного сердца, без всякого лукавства и обману, понеже что то на себя брать, чего не снести?» Их совет по поводу второго письма царя тоже был однозначным: «Когда де иной дороги нет, то де лучше в монастырь, когда де так наследства не отлучишься». Вскоре после отъезда

царя в Амстердам Кикин, как мы уже знаем, сам пришел к царевичу и заявил, что отправляется в Карлсбад: «Я де тебе место какое-нибудь сыщу».

Кроме Кикина и Вяземского царевич советовался с князем В. В. Долгоруким и Ф. М. Апраксиным. Обоих он просил ходатайствовать перед отцом, чтобы тот дал разрешение постричься. Разговаривал с отцом один Долгорукой: «Я де с отцом твоим говорил о тебе, чаю де тебя лишит наследства, и письмом де твоим, кажется, доволен». И затем добавил: «Я де тебя у отца с плахи снял... Теперь де ты радуйся, дела де тебе ни до чего не будет».

Вспомнил царевич и о похожих словах Кикина: «Тебе де покой будет, как де ты от всего отстанешь, лишь бы так сделали, я де ведаю, что тебе не снести за слабостию своею; а напрасно де ты не отъехал, да уж того взять негде». Последняя фраза содержала упрек царевичу за то, что тот не остался за рубежом еще в 1714 году, когда ездил лечиться в Карлсбад. Кикин утешал царевича, что монашеский постриг можно будет впоследствии предать забвению: «Вить де клобук не прибит к голове гвоздем; мочно де его и снять».

Никифор Вяземский дал другой совет: в монастырь иди, но «пошли де до отца духовного и скажи ему, что ты принужден идти в монастырь, чтоб он ведал; он де может сказать и архиерею Рязанскому о сем, чтоб де про тебя не думал, что ты за какую вину пострижен». Между прочим, оба они во время следствия наотрез отказались от приписываемых им царевичем слов.

Царевич согласился с этим советом и отправил два письма: одно духовнику Якову Игнатьеву, другое Ивану Кикину, брату Александра Кикина, «что по принуждению иду в монастырь». Оба также получили от царевича деньги, которые должны были после его пострижения передать его любовнице Евфросинье. Последнюю царевич всячески выгораживал. Он особо подчеркнул, что ни Евфросинья, ни другие из его окружения ничего не знали о его намерениях: «А когда я намерялся бежать, взял ее обманом, сказав, чтоб проводила до Риги, и отгуды взял с собою и сказал ей и людям, которые со мною были, что мне велено ехать тайно в Вену для делания альянцу (союза. — *Н. П.*) против Турка, и чтоб тайно жить, чтоб не сведал Турок. И больше они от меня иного не ведали».

На второй вопрос, «не было ли каких слов» во время тяжелой болезни отца, сын решительно заявил, что никаких слов он не слышал.

Самый важный вопрос касался замысла побега: как давно царевич задумал бежать и с кем советовался об этом?

Отвечая на этот вопрос, Алексей сообщил то, что нам уже известно:

«О побеге моем с тем же Кикиным были слова многожды в разные времена и годы, и прежде сих писем, чтоб будет случится в чужих краях, чтоб остаться там где-нибудь не для чего иного, только б что прожить, отдаляясь от всего, в покое». Поведал царевич и о совете Кикина задержаться в Европе после излечения от болезни в 1714 году, когда он ездил в Карлсбад, и о его же, Кикина, укорах, когда царевич вернулся обратно в Россию, не переговорив ни с кем «от двора французского»; рассказал и о своей встрече с Кикиным в Либаве, и о том, как Кикин сыскал ему место в Вене, куда ездил не для чего иного, кроме как для царевичевых дел. Как известно, именно Кикин продумал до тонкостей план, как царевичу замести следы, чтобы сбить с толку отца, если тот вздумает организовать поиски сына. Царевич не скрыл и такие подробности. В Либаве он спросил Кикина: «Хорошо, что ты мне место сыскал; а когда бы письма от батюшки не было, как бы мне тогда уехать?» На это у Кикина ответ был готов: «Я де хотел таким образом сделать, чтоб ты сказал, что сам едешь к отцу, и сам бы ушел». Еще Кикин говорил царевичу, что «отец де тебя не пострижет ныне, хотя б ты хотел, ему де князь Василий (Долгорукий. — *Н. П.*) приговорил, чтоб тебя при себе ему держать неотступно и с собою возить всюду, чтобы ты от волокиты умер, понеже де ты труда не понесешь; и отец де сказал: хорошо де так. И рассуждал ему князь Василий, что де в чернечестве ему покой будет и может де он долго жить. И по сему слову я дивлюсь, что давно тебя не взяли, и ныне де тебя зовут для того, и тебе, кроме побегу, спастися ничем иным нельзя».

Кроме Кикина, по словам царевича, о побеге знал его камердинер Иван Большой Афанасьев: «...когда ваше письмо получил и уже свободно мне выехать из России, по прежним словам с Кикиным вздумал отъехать куда-нибудь, к цесарю или в республику которую, Венецкую или Швейцарскую, и о сем никому не говорил, только объявил Ивану Большому Афанасьеву, что я намерен отъехать в вышеписанные места, куда ни будь. А места прямо не сказал, понеже и сам намерения крепкого не имел... И Иван сказал, как я ему о побеге объявил: "Я де твою тайну хранить готов, только де нам беда будет, как ты уедешь; осмотрись де, что ты делаешь"».

Отвечая на четвертый вопрос — о переписке с кем-либо в России, царевич признал, что получал известия о том, что происходит на родине, только от вице-канцлера Шёнборна, причем известия явно недостоверные, но способные укрепить дух царевича, его уверенность, что недалек тот час, когда на его голове окажется корона русского царя. Царевичу сообщали, «что будто по отъезде моем есть некакие розыски домашними моими, и будто есть замешание в армии, которая обретается в Мекленбургской земле,

а именно в гвардии, где большая часть шляхты, чтоб государя убить, а царицу с сыном сослать, где ныне старая царица (Евдокия Лопухина — *Н. П.*), а ее взять к Москве и сына ее, который пропал без вести (то есть самого царевича Алексея. — *Н. П.*), сыскав, посадить на престол. А все де в Петербурге жалуются, что де знатных с незнатными в равенстве держат, всех равно в матросы и солдаты пишат, а деревни де от строения городов и кораблей разорились». А «больше, что писано, не упомяну», показывал царевич, и добавлял: «И в нынешнем побеге никогда цыфирью (шифром. — *Н. П.*) не писывал ни к кому и ведомостей, кроме вышеписанных и печатных газетов, не имел».

Интересовал царя «поп-гречанин», будто бы бывший у царевича. Но здесь Алексей был чист: «Поп греческий никакой нигде ни для чего... не бывал».

Отвечая на шестой вопрос — о собственных письмах в Россию, адресованных Сенату и духовным лицам, царевич пытался переложить вину за их появление на секретаря графа Шёнборна Кейля, который якобы принуждал написать их под тем предлогом, что «есть ведомости, что ты умер, иные есть — будто пойман и сослан в Сибирь; того ради пиши, а будет де не станешь писать, мы держать не станем». Царевич по памяти пересказал их содержание.

Заодно царевич рассказал об условиях своего пребывания в цесарских владениях. Он не возражал, чтобы его содержали втайне от русских, а прежде всего, от резидента Веселовского. Шёнборн после встречи с цесарем говорил ему: «Цесарь де тебе не оставит и будет де случай, будет по смерти отца, и вооруженной рукою хочет тебе помогать на престол». Царевич, по его собственным словам, возразил на это: «Я вас не о том прошу, только чтоб содержать меня в своей протекции; а оного я не желаю».

По седьмому пункту царевич должен был припомнить «все, что по сему делу касается». Характер вопроса определил мозаичность содержания ответа. Царевич вспомнил и о деньгах, которые он получил перед побегом от Меншикова и других лиц, и о разговорах с разными людьми, которые показались ему «достойны к доношению». Так, он вспомнил, что слышал от Сибирского царевича, что «говорил де мне Михайло Самарин, что де скоро у нас перемена будет: будешь ли ты добр ко мне, будет де тебе добро будет; а что де Самарин говорит, то сбывается... а какая перемена, не явил». Он же в марте 1716 года говорил, будто «в апреле месяце в первом числе будет перемена. И я стал спрашивать: что? И он сказал: "Или де отец умрет, или разорится Питербурх, я де во сне видел". И как оное число

прошло, я спросил, что ничего не было. И он сказал, что де может быть в другие годы в сей день; я де не сказывал, что нынешнего года: только смотрите апреля первого числа, а года де я не знаю».

Передал царевич содержание и нескольких других разговоров. В одном из них участвовали посол в Англии Семен Нарышкин и кто-то из высших сановников государства: не то Ягужинский, не то Макаров — точно царевич не помнил. Зашла речь о престолонаследии в других странах. Нарышкин сказал: «У прусского де короля дядья отставлены, а племянник на престоле для того, что большого брата сын». «И, на меня глядя, молвил: "Видь де и мимо тебя брату отдал престол отец дурно". И я ему молвил: у нас он волен, что хочет, то и делает; у нас не их нравы. И он сказал: "Это де не ведомо, что будет; будет так сделается, во всем де свете сего не водится"».

Никифор Вяземский, приехав с Москвы в Торунь, сказывал царевичу, что, по слухам, «государю больше пяти лет не жить; а откуда де он ведает, не знаю». В другой раз в Петербурге тот же Вяземский говорил царевичу о его брате, малолетнем царевиче Петре Петровиче: «Брату де твоему больше семи лет не жить, лишь бы и то прожил».

Приведены в показаниях царевича и слова князя Василия Долгорукого. Будучи при Штеттине, он говорил так: «Кабы де на государев жестокий нрав да не царица, нам бы де жить нельзя, я бы де в Штетине первый изменил».

Отдав ответы на вопросные пункты, царевич стал припоминать, что еще может заинтересовать отца. Спустя некоторое время он сочинил дополнение к вышеизложенным ответам, назвав новые фамилии.

Как оказалось, о его отъезде знал Федор Дубровский. Накануне побега он спрашивал у царевича: «Едешь ли к отцу?» Царевич же отвечал: «Я поеду, Бог знает, к нему или в другую сторону». И тот молвил: «Многие де ваши братья бегством спасались, я де чаю, тебя сродники не оставят». «Еще же просил денег пяти сот рублей: я де матери твоей дам. Я ему дал».

Узнав о намерении царевича бежать, Дубровский высказал опасение: «Я чаю де, отец Аврама, дядю твоего, распытает». Царевич возразил: «За что, когда он не ведает? Когда уже подлинно будете известны, что я отлучился, в то время можешь и Аврааму сказать, будет хочешь; а ныне не сказывай никому». «А сказывал или нет, того не ведаю».

Припомнил также царевич совет Семена Нарышкина во время их встречи между Мемелем и Кенигсбергом: «Напрасно де ты едешь, мог де бы ты побыть там и долго; мы де верные тебе о том думали, и Кикин де тебе писал».

На этот раз царевич решил выдать и свою тетку, царевну Марью Алексеевну, сообщив об уже известной нам беседе, состоявшейся между ними близ Либавы: помимо прочего, царевна вынудила Алексея передать 300 или 500 рублей для матери (сколько точно, он не помнил), а также написать ей письмо.

Царевич дал новые показания против Кикина и Ивана Афанасьева. Прозвучало и имя его прежнего духовника Якова Игнатьева: оказывается, еще лет одиннадцать или двенадцать назад он показывал царевичу письма его матери и давал их читать; по его же совету царевич писал доброжелательные письма своему дяде Авраму Лопухину. «Еще же вдова Марья Соловцова, — вспоминал царевич, — в Питербурх привезла мне от матери же молитвенник, книжку да две чашечки, чем водку пьют, четки, платок, без всякого письма и словесного приказу... Она вдова своячина Никифора Вяземского, жены его родная сестра, а мне кума».

После того как царевич дал ответы на вопросные пункты, Тайная канцелярия оставила его в покое на три месяца. По свидетельству голландского резидента де Би, «его высочество находится под строгим караулом вблизи покоев царя и редко появляется при дворе. Говорят, что умственные способности его не в порядке».

Неизвестно, кому принадлежит коварный план ведения следствия над царевичем — царю или Толстому. Скорее всего, Толстому. План этот состоял в том, что интенсивные допросы царевича возобновились лишь в мае 1718 года, когда розыск был переведен в Петербург. В течение же трех месяцев, с февраля по апрель, Тайная канцелярия была целиком поглощена розыском других лиц, сообщавших компрометирующие сведения о царевиче. Их показания убеждали царя в том, что сын его многое утаил.

Голландский резидент де Би в депеше от 29 апреля писал о наличии в России двух партий, преследовавших одну цель: возвести на престол царевича Алексея. По его словам, «вождями одной из этих партий были отлученная царица, царевна Мария, майор Глебов и некоторые другие, между которыми находится митрополит Ростовский, успевший поддерживать всех заговорщиков в их замыслах посредством святотатственных вымыслов. Главным вождем заговорщиков другой партии был, как кажется, г. Кикин... бывший одним из первых любимцев его величества. По всем вероятностям, г. Кикин, приговоренный несколько лет перед этим к оштрафованию и к ссылке и вскоре потом помилованный, искал случая отомстить за перенесенное им оскорбление и для достижения этой цели составил вокруг себя партию преданных царевичу Алексею людей».

Суждение голландского резидента нуждается в существенных коррективах. Главная ошибка де Би состоит в том, что он придал действиям сторонников царевича Алексея значение заговора. Заговор подразумевал наличие организации, сплоченно действовавшей для достижения поставленной цели. Заговорщики должны были устраивать конспиративные сборища для выработки плана действий, распределения обязанностей между исполнителями и т. д. Среди заговорщиков непременно должен был существовать общепризнанный лидер, которому беспрекословно подчинялись заговорщики.

Ничего подобного в среде «заговорщиков» не наблюдалось; каждый из них действовал самостоятельно и независимо друг от друга, координация в осуществлении замысла отсутствовала. Активные действия совершал один Кикин, все остальные ограничивались разговорами с выражением антипатий к отцу и симпатий к сыну, причем каждый из мнимых заговорщиков преследовал корыстную цель — поддерживал наследника лишь потому, что рассчитывал его милостями удовлетворить свои честолюбивые притязания.

Вторая ошибка де Би состоит в том, что он главенствующую роль в «первой партии заговорщиков» (все они стали главными действующими лицами так называемого Суздальского розыска) приписывал бывшей царице Евдокии Федоровне, в то время как в действительности она по своему интеллекту и складу характера не могла принимать участие в «заговоре» и не участвовала в нем. Даже ее любовник капитан Степан Глебов не считал возможным, как увидим ниже, делиться с нею своими честолюбивыми замыслами, и она узнала о бегстве сына лишь после того, как оно было совершено.

Думается, де Би ошибался, когда считал побудительным мотивом действий Кикина желание отомстить за унижение, которое ему довелось претерпеть от царя. В действительности Кикин в своих поступках руководствовался не мезтью, а чрезмерным честолюбием, удовлетворить которое он утратил всякую надежду при Петре I.

Де Би был прав в одном — все причастные к делу царевича вождельно желали, чтобы трон занимал не энергичный Петр I с сильной волей и суровым характером, непреклонно следовавший взятому курсу на преобразования, а его слабовольный сын, ничего так не желавший, как покоя, жизни по старинке, без ломки веками устоявшихся обычаев, без крутых перемен. Все это обещало покой для старомосковской знати, полагавшей к тому же, что при слабовольном монархе она получит больше возможностей для получения людишек и землицы, для взяток и

казнокрадства.

Первой жертвой розыска, как и следовало ожидать, стал Кикин — главный вдохновитель и организатор побега царевича. 11 февраля 1718 года в Петербурге он был подвергнут первому истязанию в застенке — виске на дыбе, считавшейся наиболее легким из применявшихся пыток. Руководил допросом князь Меншиков, а в состав комиссии, участвовавшей в розыске, входили князь Голицын, полковник и комендант Бахметов, Петр Курбатов, Панеев, дьяк Дохудовский и подьячий Федор Назаров.

На первом допросе Кикин далеко не во всем сознался. Он ограничился признанием того, что ведал о побеге, советовал ехать к цесарю: «Там де место будет; тако ж, ежели позовет случай, что будут вас просить, цесарь вас николи не отдаст». Кикин заявил, что в бытность свою в Вене «его высочеству никакого способа он не искал и с министрами тамошними о том ничего не говорил», умолчав, что этого рода забота легла на плечи Веселовского. «Ежели у цесаря случая не будет, — указывал Кикин царевичу, — то изволишь ехать к папе и в другие места».

Относительно наследства и возможного пострижения царевича Кикин признался в таком совете: «Лучше ныне постричься, а наследство ваше впредь благовременно не уйдет; а что де клобук не гвоздем будет прибит и мочно де его снять, того он, Кикин, царевичу не говаривал». А вот советовал ли он царевичу бежать до смерти супруги и упрекал ли его за возвращение из Карлсбада в Россию в 1714 году, того Кикин «не упомянул». Зато признал, что «советовал уйти и не ездить, если и батюшко кого за царевичем пришлет».

Упреждая события, отметим: поведение Александра Васильевича во время следствия вызывает и удивление, и недоумение. До своего ареста он представляется умным и изворотливым интриганом, человеком дальновидным, умеющим рассчитывать свои действия на несколько ходов вперед. Во время же следствия перед нами словно совсем другой человек — растерянный, недалекий, решивший спасти свою жизнь совершенно непригодными средствами: то полным отрицанием своей вины, то поисками алиби, то признанием вины отчасти.

На что надеялся Александр Васильевич, избрав подобную тактику? На милосердие Петра? Так он знал не понаслышке о его жестоком нраве. Надеялся на то, что другие, причастные к делу царевича, станут, как и он, отрицать свою вину и, обеляя себя, «очистят» и его? Но это тоже было безнадежным делом: ему ли не был известен розыск в застенке, где — он хорошо знал это — следователи умели добывать признания не только в совершённом преступлении или намерении его совершить, но и в таком

преступлении, которое представляло из себя чистой воды наговор. Истязаемый признавал все, лишь бы хотя бы на время избавиться от мучительных пыток. Знал Кикин и о том, что противоречивые показания, равно как и улики, сообщенные другими обвиняемыми, влекли за собой новые пытки и новые мучения. Недаром он значится среди четверых обвиняемых, подвергавшихся пыткам по три раза.

Поведение Кикина являлось странным еще и потому, что сам он, когда его арестовал Меншиков, полагая, что Долгорукий останется на свободе, произнес фразу, выражавшую желание потопить князя Василия: «Взят ли князь Долгорукий? Нас истязуют, а Долгорукого царевич ради фамилии закрыл».

Доставленный в Москву Кикин 18 февраля был допрошен по девяти пунктам, составленным царем. Вот их перечень с ответами подследственного:

«1. Какой ради причины так давно зачато думать, чтоб уехать? — Думали пред отъездом в Карлсбад.

2. А понеже он в республику которую хотел уйтить, чего для к цесарю лучше советовал? Понеже ему тот двор не знаем, и чрез кого знаемость та учинилась, от здесь живущих или чрез письма и от кого? — Запирался.

3. В какую надежду долгое его б тамошнее бытъе у них было, и что потом делать намерены были? — В такую надежду, чтоб он ему заплатил.

4. Кто в сем деле помогали и ведали и не было ль из чужих сторон подсылок и чрез кого и от кого? — Никто не помогал и никто не ведал, и подсылок ни от кого не было.

5. С самим с ним о чем советовали и кто был и в каких советах? — Запирается.

6. Из сродников ево Аврама (Лопухина. — *Н. П.*) иные ведали ль начатия сего дела или часть, кто и как ведали, и от матери его не было ль писем о сей материи или и о ином тому ж, или к ней и чрез кого? — Не сказал ничего.

7. Других Баклановских имеет ли и кто также с ним не прихаживал ли кто к дому нашего с вестьми, также Баклановский хотя не все ведал ли? — Баклановского он имел к себе года с три и тайну сказывал. А окромя его, Баклановского, никого он не имел.

8. Понеже с чужестранными министры, а паче с Лосем (польский посол в России. — *Н. П.*) непрестанное имей обхождение, не давал ли каких ведомостей, проведав: понеже многое, что говорено в домах при кумпаниях, ведают? — Не ведает.

9. Чего здесь и нет, а ведает противное за собою, или за иным кем,

чтоб сказал. — Не спрашивай».

Следователи не были удовлетворены ответами Кикина. Он оказался в застенке, где ему задавали те же вышеперечисленные вопросы. Во время пытки (ему было дано 25 ударов) Кикин показал: «На 1-е: тож; царевич просил его, чтоб ему здесь не жить. На 2-е: Венский двор ему знаем потому, что он в Вене был и ездил для того, чтобы царевичу путь показать. С Веселовским говорил: как будет царевич в Вене, не выдадут ли его? Он отвечал: чаю, не выдадут. А подлинного намерения ему, Веселовскому, не сказывал. На 3-е: в такую надежду, что он его хотел не оставить; а делать ничего не намерен, только в Вене прожить. На 4-е: ведал один Иван Афанасьев. На 5-е: обещал, как Бог живот его спасет, не оставить его. На 6-е: никто не ведал, кроме Ивана Афанасьева, и писем от матери не было. На 7-е: кроме Баклановского никого не имел, и Баклановский о том ничего не ведал. На 8-е: никому никаких ведомостей не даывал. На 9-е: не спрашивай».

22 февраля Кикину предоставили возможность обратиться с письмом к самому царю. Содержание письма наводит на мысль, что потрясенное жестокой пыткой сознание Кикина потеряло ориентировку. Хотя он и писал, что доносит «истину», но в письме нетрудно обнаружить множество ее искажений и придуманных им ситуаций, которых на самом деле не было.

Уже в самом начале письма Кикин излагает содержание разговора, состоявшегося между ним и царевичем перед отъездом последнего в Дрезден. Царевич заявил, что рад той посылке. «Я спросил, — писал Кикин царю, — для чего рад? Сказал, что будет жить там, как хочет. Я ему отвечивал, что надобно смотреть, с чем назад приехать, понеже государь на нем изволит взыскивать дела, зачем он послан. Сказал мне: сколько де мочно, стану учиться. И с Семеном Нарышкиным приказывал, чтоб он не спеша сюда ехал, для обучения его дела, и в письме писал к нему то ж. А когда он приехал сюда, сказывал мне, что ему тамошние места полюбились... После того времени, увидя, что приехал он оттуда с тем же, с чем поехал, тогда я, видев его состояние, начал от него отдаляться и года за два до нынешнего его отъезду был в его доме разве трижды или четырежды... А что я ему будто советовал, чтобы идти в то время во Францию, и то явная немилость...» Кикин, по его словам, отдалился от царевича настолько, что уехал в Карлсбад, «с ним не простясь».

Приведенный выше разговор мог состояться, ибо перед отъездом царевича за границу Кикин еще пользовался доверием Петра: в опале он оказался уже после возвращения царевича на родину, а именно в 1712 году. Но в это время произошло не отторжение, а наоборот, сближение между

ними — Кикин сделал ставку на царевича, оказался в числе его самых надежных советников, хотя, как мы знаем, стремился скрыть от посторонних глаз свою близость к нему, встречаясь с ним либо поздно вечером, либо рано утром, либо обмениваясь письмами, отправленными с надежными курьерами. Но Кикин, надо полагать, переоценил свою конспирацию.

Если верить Кикину, то царевич, получив первое послание отца, трижды приглашал его к себе, но Кикин не откликнулся на просьбы, а когда наконец приехал и прочел послание Петра, то заявил царевичу, «что отец ваш не хочет, чтобы вы были наследником одним именем, но самым делом». На что царевич сказал: «Кто же тому виноват, что меня такого родили? Правда, природным умом я не дурак, только труда никакого понести не могу». Кикин советовал царевичу постричься, а «что клобук гвоздем не прибит, истинно не говаривал».

Самая большая ложь Кикина скрыта в его словах: «А что царевич изволил говорить, будто я его послал в Вену, и то истинно напрасно, по немилости своей». «Ежели бы мне готовить место царевичу в Вене, — пытался убеждать Кикин царя, — тогда бы я сделал при себе, мочно ли там жить, или не примут. А не делав ничего, а посылать "поезжай в Вену" сие было бы глупее всякого скота. И если бы я ему советовал ехать куды ни будь, то надлежало быть между нами цыфирей и как содержать корреспонденцию, а без сего некоторыми делы пробывать невозможно».

«Немилость» царевича Кикин объяснял тем, «что я от него за долгое время отстал», а кроме того и тем, что он якобы отправил доношение Екатерине, в котором извещал ее о намерении царевича бежать. «И ежели б он не был надобен, я бы на него и не доносил. И царевич о том известен, что ему ничего не будет; а что скажут, тому верят».

Как и следовало ожидать, этим письмом Кикин исхлопотал себе лишь очередной розыск. В тот же день, 22 февраля, Кикину дано было 4 удара, и он признал, «что в письме своем, которое царскому величеству вручил, ныне написал, что о побеге царевичеве не ведал, и то он ведал. И что с прежней пытки говорил, то все правда».

С третьей пытки, когда ему было нанесено девять ударов, Кикин полностью признал свою вину: «во всем том он виноват. А тот побег царевичу делал и место он сыскал в такую меру: когда бы царевич был на царстве, чтоб к нему был милостив».

В Тайной канцелярии письмо Кикина оценили правильно: «Кикин подал своеручное письмо, а в нем написал многое к своему оправданию и будто о побеге царевичева он не ведал, а в другом и запирался, хотя то все

закрывается». Розыск же установил безоговорочно, что Кикин не только внушил царевичу мысль о том, что единственным средством спасения его жизни было бегство, но и явился главным организатором побега.

Судебная практика того времени при рассмотрении особо важных преступлений предполагала составление Тайной розыскных дел канцелярией документа с изложением преступлений обвиняемого и предложением меры наказания ему. Далее решение судьбы обвиняемого передавалось на рассмотрение царя или судебной инстанции для вынесения окончательного приговора.

Предложение Тайной канцелярии состояло в следующем:

«Указ о наказании Кикина.

Кикин к побегу царевича из России в Цесарию или в другие край под протекцией) цесаревой советовал, по которому он то и учинил и отдался было под протекцию цесарскую и просил оно, дабы его от его царского величества не токмо скрыл, но и ко оборону свою против его величества и подданных его от сего государства вооруженной рукою стал и какой тем своим поступком стыд и бесчестие его царскому величеству и всему государству Российскому учинен, что весьма известно.

И его царское величество грамотою сего же 718 году, февраля в 3 день в Ответной памяти о всем подлинно опубликовано ис чего могла б впредь немалая противность Российскому государству воспоследовать, которою его царское величество с немалым трудом и высоким своим мудрым старательством возвратил. И ту чаемую впредь себе и своему государству противность, которая от твоего злоумышленного воровства пресечено и утолено, которое твое воровство и измену и сообщник твой в той же измене и воровстве царевичев камердинер Иван Афанасьев повинными своими и розыском доказал, в чем бы во всем вышеписанном своем злоумышленном воровстве и измене по расспросам и розыском видно. И за такое твое воровство и измену указом его царского величества тебя вора и изменника казнить жестоко ж смертью».

Тайная канцелярия и разного уровня судебные инстанции при вынесении приговора не только Кикину, но и другим обвиненным (включая царевича) руководствовались нормами права, изложенными в нескольких документах. Прежде всего в Уставе воинском.

Глава 3, артикул 19:

«Покушение на трон вооруженной силой, намерение полонить государя или убить или учинить ему какое насилие подлежит наказанию четвертованием».

Такому же наказанию подлежали лица, знавшие об этом, но не

донесшие.

Глава 16, артикул 127:

«Кто учинит или намерен учинить измену», подлежит наказанию, «якобы за произведенное самое действие». Иными словами, закон устанавливал одинаковое наказание как за содеянное, так и за умысел его совершить.

Были приняты во внимание и статьи Уложения 1649 года.

Глава 2, статья 1: «Кто учнет мыслить на государское здоровье злое дело... и про то сыщется допряма», такого казнить смертью.

Статья 2: «Кто мыслит завладеть Московским государством и для этого начнет рать собирать и кто царского величества с недруги учнет дружить и советными грамотами ссылатся, чтобы Московским государством завладеть... такого изменника казнить смертию».

14 марта 1718 года по указу государя министры приговорили: «Александру Кикину за все вышеписанное учинить смертную казнь жестокою, а движимое и недвижимое имение его, все что есть, взять на его царское величество». Этот лаконичный приговор подписали князь Иван Ромодановский, сын отличавшегося свирепостью Федора Юрьевича, занявший должность отца, фельдмаршал Борис Шереметев, руководитель Монастырского приказа граф Иван Мусин-Пушкин, генерал-адмирал граф Апраксин, канцлер Гавриил Головкин, сенаторы Тихон Стрешнев и барон Петр Шафиров. По листам скрепил подписью дьяк Тимофей Палехин, с деятельностью которого мы познакомимся ниже.

Вторым после Кикина человеком, пользовавшимся доверием царевича, был его камердинер Иван Большой Афанасьев. Его роль в побеге царевича была намного скромнее — Иван Афанасьев был лишь осведомлен о готовившемся побеге, но, будучи верным слугой, не донес об этом. Поведение Афанасьева во время следствия отличалось от поведения Кикина. В то время как Кикин, пытаясь обелить себя, изворачивался, лгал и признательные показания Тайная канцелярия выбивала из него пытками, Иван Большой, оказавшись в таком же положении, руководствовался принципом, которым он как-то поделился в разговоре с Кикиным: «Я что ведаю, то скажу».

Афанасьев был взят под стражу и окован Меншиковым. 11 февраля 1718 года на Генеральном дворе он дал показания, из которых следовало, что в авантюре царевича он участвовал поневоле.

Кое-что из показаний Ивана Афанасьева нам уже известно по предыдущим главам. Так, мы знаем, что накануне отъезда царевич поделился с ним вестью о том, что едет «не к батюшке», а «к цесарю или в

Рим», о чем камердинер пообещал молчать. Вскоре после отъезда царевича в Петербург прибыл Кикин и передал Афанасьеву устное повеление, чтобы он ехал к царевичу, причем «опасно, чтоб ты не попался встрече царскому величеству».

«Спустя несколько дней, — продолжил свои показания Афанасьев, — получил я письмо от царевича, в котором он писал, чтоб ехал за ним немедленно и настигал бы во Гданьске», где у почтмейстера должно быть письмо с дальнейшими указаниями. Афанасьев отправился в путь, прибыл в Гданьск, но никакого письма не обнаружил: стал расспрашивать о приезде русского полковника у владельцев постоянных дворов, те подтвердили, что полковник в сопровождении шести персон, среди которых была одна женская, останавливались, но куда отбыл — не знают. Наугад поехал в Шверин, там заболел лихорадкой и спросил разрешения у находившейся в Голландии царицы вернуться в Петербург, прибыл туда, явился к Меншикову и доложил, что царевича нигде не обнаружил.

«В бытность свою здесь царевич посылывал по князь Василю Володимировича (Долгорукого. — *Н. П.*) и по Кикина, — докладывал Афанасьев в заключение, — и они приезжали ввечеру и поутру рано, и то тогда, когда государь на царевича сердит бывал. Которые азбуки вместе с попом были сделаны, одна с ним к царевичу была послана, другую здесь я изодрал... Писем цыфирных от царевича я не получивал и к нему не писал. Только царевич ко мне писал из Риги, из Пскова и из Новгорода, что получил позволение от государя-батюшки жениться, и чтобы изготовился Эварлаков навстречу ехать до Берлина к Евфросинье с женскими персонами».

Будучи доставлен в Москву, Афанасьев 4 марта подвергся розыску, ему было дано 25 ударов, через день, 6 марта, — еще 17 ударов. Афанасьев в основном повторял сказанное выше. Однако некоторые его новые сведения крайне заинтересовали царя и Тайную канцелярию: «А когда царское величество отдал царевичу письмо на погребение жены его и потом прислал другое, в то время ездил к нему князь Василий Долгорукий, и был раза два, и сживали наедине. Также и прежде князь Василий еживал к царевичу часто и царевич к нему».

11 марта Афанасьев подал собственноручное письмо. В нем имелись подробности, касающиеся частной жизни царя. Афанасьев привел свой разговор с дьяком Федором Вороновым. Речь шла о «матресе» (любовнице) Петра, «а взята де она из Гамбурга». «Слышал де и я, что есть у государя матреса, — говорил Воронов, — и царица де про это ведает: как приехала в Голландию, стала пред государем плакать, и государь спросил ее: "Кто тебе

сказывал?" — "Мне сказала полковница, а к ней писал Платон", и Платона де государь за это бил».

И еще одна ценная информация — о предложении Кикина ехать к царевичу в Ригу и предупредить его об опасности. Как мы помним, Афанасьев ехать отказался, обещал послать брата, но потом убоился и этого.

В том же письме Иван Большой приводил уже известные нам сведения о поведении царевича в пьяном виде, о его угрозах в адрес неприятных ему людей: «Слышал я от брата, как царевич сердитует на Толстую и княжью свояченицу, обещает на кол посадить, также и на Олсуфьевых сердитует. О таких же его дерзновенных словах у хмельного и я слышал: на кого кто-нибудь наговорит, то и злобится и сулит его все на колья». Привел он и слова, сказанные царевичем в разное время: «Помнишь меня, Питербурх не долго за нами будет»; «Куда батюшка умный человек, а светлейший князь его всегда обманывает». «Когда царевич Петр Петрович родился, царевич по рождении его много дней смутен был, — припоминал Афанасьев. — А когда его к государю или к князю позовут кушать, также и для спуска (корабля. — *Н. П.*), тогда говаривал: "Лучше бы я на каторге был или лихорадкою лежал, а нежели там был"».

Вспомнил Афанасьев и слова, сказанные Иваном Ивановичем Нарышкиным: «Как сюда царевич приедет, ведь он там не вовсе будет, то он тогда уберет светлейшего князя с прочими; чаю, достанется и учителю с роднёю (Вяземскому. — *Н. П.*), что он его, царевича, продавал князю». И позднее, когда царевич выехал из Италии: «Июда Петр Толстой обманул царевича, выманил, и ему не первого кушать». То же говорил и Федор Эварлаков: «Петр Андреевич подпоил царевича и подманил».

1 мая 1718 года Иван Большой Афанасьев подал еще одно собственноручное письмо, в котором поведал об атмосфере, царившей в семье царевича, о его отношении к супруге. «Сие в первом не все написано того ради, — объяснял он, — иное за беспамятством, а другое за боязнью, потому что царевич будет во всем запирается, за что мне скорбь лишняя. А он, царевич, великое имеет горячество к попам, а попы к нему, и почитает их как Бога, а они его все святым называют, и в народе».

Следуя букве закона, Ивану Афанасьеву должны были определить такое же наказание, как и Кикину, — жестокою смертною казнью. Главная вина его состояла в том, «что он о побеге царевича Алексея Петровича до отъезда его из России ведал и бежать ему приговаривал, чтоб он отъехал в вольные города, и сам за ним отъехать хотел...». Однако Сенат на своем заседании 28 июля 1718 года определил более легкую меру наказания —

вероятно, учитывая поведение Афанасьева во время следствия. Смертная казнь была определена — но обычная, а не жестокая; кроме того, все имущество Афанасьева взято было «на государя».

Вторым человеком при дворе царевича был Федор Эварлаков, или Еварлаков, — он заведовал домом или, точнее, хозяйством наследника. Эварлаков пользовался меньшим доверием царевича, чем Афанасьев. Это наблюдение вытекает из того, что Эварлаков во время следствия не привел ни одной мысли, которой поделился бы с ним царевич и которая бы его компрометировала. Тем не менее лукавый дворецкий на первых порах не давал себе отчета, к чему клонится дело и почему он оказался под стражей. Во время устного допроса Меншиковым он показал, что во время отъезда царевича из Петербурга находился в Москве по каким-то вотчинным делам и потому «о побеге царевича до ево побегу не ведал и ни от кого не слышал и ни с кем не советовал». Лишь в сентябре 1717 года Иван Большой Афанасьев, возвратившийся из Мекленбурга, сообщил ему, что «пред отъездом из Петербурга царевич сказывал ему, Ивану, что едет с матресою в немецкие края, а не в повеленное место». Царевич изволил звать с собою и Ивана, но тот, ссылаясь на болезнь, отказался от приглашения.

Лишь после виски Федор показал Меншикову, что он и Иван Афанасьев «клялись, что они станут между собою про царевича говорить, и им де друг про друга никому не сказывать». Но и «сказывать» было по сути нечего. Уже будучи в Москве Эварлаков дважды был подвергнут розыску (получил 25 и 9 ударов), но сообщил то, что было уже известно Тайной канцелярии: о том, что царевич еще при жизни супруги в 1715 году при нескольких свидетелях жалел, что не остался за рубежом; что «он же, царевич, принимывал нарочно лекарства, притворяя себе болезни, когда случивался поход, куда ехать, чтоб ему избавиться от походу. И о сем он изволил мне сам сказывать. Тако ж и я царевича уговаривал, угождая ему, когда он лекарства выпив и притворил себе болезнь, когда показывались спуски корабельные, чтоб ему не быть для тягости и дела никакова не брать, понеже исправить невозможно».

Как-то в разговоре с Афанасьевым Эварлаков заявил: «Как бы деньги были, поехал бы туды к царевичю, вить де здесь... только образа такова нет, как ехать». Однако это было чистой воды бахвальство. Афанасьев поймал Федора на слове, обещал снабдить деньгами. «Только моего совершенного намерения не было, — показывал Эварлаков под пыткой, — чтоб ехать, для того, что жаль было жену оставить, также и мать и брата».

Эварлаков отделался сравнительно легким наказанием. 28 июля 1718

года Сенат приговорил сослать его в Tobольск при движимом и недвижимом имении и написать в службу «в дети боярские». Петр несколько ужесточил наказание: велел учинить жестокое избиеие кнутом.

Среди доверенных лиц царевича значился Федор Дубровский — он принадлежал к числу тех четырех лиц, которые знали о предстоявшем побеге и одобряли бегство. Кроме того, Иван Большой Афанасьев вооружил следствие ценным показанием: царевич «часто призывал его (Дубровского. — *Н. П.*) и с ним разговаривал тихонько, и сиживали до полуночи».

Дубровский, как и Аврам Лопухин, Федор Эварлаков, Иван Большой Афанасьев, князь Василий Долгорукий и другие, участвовал в розыске как в Москве, так и позднее в Петербурге. Целесообразно, однако, не дробить показания всех этих лиц между двумя главами, а дать их в целом, ради создания цельного впечатления о роли каждого из них в побеге.

Незадолго до отъезда, 24 сентября 1716 года, царевич навестил Дубровского. Между ними состоялся разговор. Дубровский спрашивал: «Изволишь ли ехать к отцу своему?» Царевич отвечал: «Еду». Дубровский продолжал: «Знатно, отец тебя зовет жениться?» — «Я де не хочу, я де и в сторону». «И я, испужась, спросил, — продолжал свои показания Дубровский. — Куда в сторону?» — «Хочю де посмотреть Венецию и де не ради чего иного, только бы себя спасти».

Перед отъездом царевича Дубровский, видимо, огорченный тем, что ему стала известна столь опасная тайна, сам прибыл к царевичу и стал отговаривать его: «Нанесешь де печаль отцу и сродникам своим и с того де будет матери твоей беда и Аврааму (Лопухину. — *Н. П.*)». Царевич попросил передать матери в монастырь 500 рублей, «но я, услышав такую худобу, денег не бирывал».

Эти показания Дубровский дал добровольно, до истязаний. У следователей возникло подозрение, что Федор многое утаил, тем более что царевич в повинной приписал ему такие слова, от которых он упорно отказывался. И признал лишь во время первой пытки, сопровождавшейся 15 ударами. Тогда же следователям удалось добыть важные подробности состоявшихся бесед.

Сенат определил: главная вина Федора Дубровского состояла в том, что он, зная о готовившемся побеге царевича, не донес о нем. За это он был приговорен к смертной казни. Царь, однако, не спешил с исполнением приговора. Он надеялся на возможность извлечь из приговоренного к казни дополнительные сведения и повелел его, наряду с прочими колодниками, доставить в Петербург.

Во время розыска в Петербурге выяснились новые подробности. Царевич рассказал, что Дубровский сообщил ему о тяжелой болезни отца — «апилепсии», о которой ходила молва, что «у кого она в годах случится, не долго живут». По уверениям Дубровского, Петр более двух лет не протянет. Сам Дубровский узнал об этом от новгородского архиерея Иева. Другая информация, исходившая от Дубровского, касалась отношения того же архиерея Иева к судьбе царевича. Зная о вызове церковных иерархов в Петербург, Иев догадался: царевичу «в Питербурхе худое готовитца». После нового розыска (было назначено 25 ударов) и очной ставки с царевичем Дубровский признался и в других словах; так, он говорил царевичу, «что де Рязанский (Стефан Яворский. — Н. П.) к тебе добр и твоей де стороны и весь де он твой».

В юношеские годы близким человеком к царевичу был его учитель Никифор Вяземский. Но со временем отношения между ними, как мы знаем, сильно испортились. Царевич назвал Вяземского в числе тех лиц, которые знали о готовившемся побеге. Но это была ложь, ибо Вяземский никакого отношения к побегу не имел.

Вяземский был допрошен в Москве, поднят на дыбу, но ни в чем не сознался и был освобожден. Впоследствии, однако, при допросах в Санкт-Петербурге, царевич вновь оговорил его. 17 июня 1718 года капрал Преображенского полка Андрей Чичиркин получил указ Ушакова взять Никифора Вяземского и везти его до Санкт-Петербурга за караулом «немедленно» и привезенного передать Тайной канцелярии.

3 июля Вяземский был допрошен и показал то же, что в Москве: когда царевич рассказал ему об отцовском письме, Никифор советовал: «Чего же тебе жаль? И ты в монастырь поди»; «ханжить и водиться с попами он его не учил, а еще отводил от того и говаривал многожды, чтобы он того не чинил, за что бывал от царевича бит не однажды».

26 августа Вяземский представил в Тайную канцелярию собственноручное показание с жалобами на жестокое обращение с ним царевича. В нем он поведал об уже известных нам отчасти фактах: о том, как будучи в 1711 году в Вольфенбюттеле в доме герцога царевич «драл его за волосы и бил палкой и збил от двора своего»; о том, как в декабре того же года царевич послал его с письмом в Москву, причем велел непременно ехать через Сандомир и Жолкву, откуда войска Шереметева отбыли, надеясь, что поляки его непременно убьют; и «естыли б ночью жив не заперся в монастыре женском и оттуда не убежал ночью, то наверно его убили бы». В местечке Дубна поляки хотели «посадить» его в воду, но ему удалось выкупить свободу за 1030 злотых.

Следствие закончилось благополучно для Вяземского. Тайная канцелярия обнаружила клеветнический характер обвинений царевича. 27 ноября 1719 года последовала резолюция царя: «К Городу», то есть Вяземского без истязаний велено было отправить в Архангельск, в распоряжение вице-губернатора Лодыженского.

В 1720 году Вяземский вновь был арестован для следствия по поводу его и царевича писем к духовнику Якову Игнатьеву, но и на этот раз был освобожден. По указу Сената его надлежало определить к делу, «к которому способен».

Духовник царевича привлекался к следствию и в Москве, и в Петербурге. В Москве без применения пыток Яков Игнатьев признал два своих преступления: он удовлетворил просьбу царевича написать письмо митрополиту рязанскому Стефану Яворскому о том, что он, царевич, идет в монастырь не по своей воле, а по принуждению; и кроме того говорил царевичу о том, как любит его народ: «пьют про ево здоровье, говоря и называя надеждою Российскою».

19 июня 1718 года в Петербурге состоялся розыск. Бывший духовник, а теперь расстрига Яков Игнатьев, под пыткой (дано 25 ударов) и после очной ставки с царевичем дал более ценные показания, касавшиеся куда более серьезных вещей. К тому времени следствие установило, что царевич на исповеди говорил ему, Якову, что желает отцу своему смерти. Слова эти сказывал он «по ево, Яковлеву, спросу, что он ево о том спрашивал: "Не желаешь ли де ты отцу своему смерти", и он де сказал ему, что желаю».

Если бы на исповеди Яков этим и ограничился, у Тайной канцелярии не было бы оснований привлекать его к уголовной ответственности, ибо указ, обязывавший священнослужителей доносить властям на прихожанина, замыслившего совершить одно из трех оговоренных преступлений: измену, призыв к бунту, покушение на государя и его здоровье, Петр издал только спустя несколько лет. Но в том-то и дело, что духовник не просто отпустил сыну грех, но и прибавил, обрехши на смерть уже самого себя: «И он де Яков ему, царевичу, говорил: "Мы и все желаем ему смерти для того, что в народе тягости много". А кто еще желает смерти и с кем говаривал о тягостях, того не упомнит. Также и о том, что царевича в народе любят и пьют за ево здоровье, называя его надеждою Российскою, он, Яков, царевичу говаривал же. А слышал де он то от многих людей, а от кого, не упомнит же».

24 июня «расстрига Яков» еще раз был пытан, получил 9 ударов и «с розыску сказал те ж речи, что с прежнего розыску». То же повторил он и 5 августа (дано 15 ударов). Сенат приговорил Якова Игнатьева к смерти через

огрубление головы.

В своих показаниях царевич назвал имена нескольких вельмож, которых он считал своими сторонниками. Таких сторонников, по его мнению, у него было великое множество. Вот некоторые выдержки из его показаний.

Митрополит Рязанский «говаривал де ему, царевичу: надобно де тебе себя беречь. Будет де тебя не будет, отцу де другой жены не дадут. Разве де мать твою из монастыря брать, только тому не быть. А наследство де надобно».

Борис Петрович Шереметев, будучи в Польше говорил царевичу: «Напрасно де ты малова не держишь такова, чтоб znalся с теми, которые при дворе отцеве. Так бы ты все ведал».

Князь Борис Куракин: «Говорил де с ним, царевичем, в Померании он, Куракин: добра де к тебе мачеха? И он царевич отвечал: "добра". А он де на то сказал: "Покамест де у нее сына нет, то де к тебе добра, а как де у нее сын будет, не такова де будет"».

Князь Яков Долгорукий «обходился с ним, царевичем, ласково и чаял, когда он, царевич, возвратился в Россию, был бы ево стороны. К тому же де уверился он, при прощании в Сенате ему князь Яков молвил на ухо: "Пожалуй де меня не оставь". И он де сказал ему, что де всегда рад, только де больше не говори, другие де смотрят на нас. Да с ним же де князь Яков говорил про тягости народные».

Князь Дмитрий Голицын «приваживал де к нему, царевичу, ис Киева книги и говаривал ему, что киевские чернцы очень к нему ласковы и ево любят. На нево де князя Дмитрия имел он, царевич, надежду, что он ему был друг верной и говаривал ему царевичу всегда верный слуга».

Князь Юрий Трубецкой «спрашивал ево, царевича, после недели з две, какое де тебе отец письмо дал при мне, печальное или радостное. И он царевич сказал что в письме государевом и ево царевичевом ответе писано, и он, Трубецкой, молвил: "Хорошо де, что наследства не хочешь. Разсуди де, что чрез золото не текут ли, что ему, царевичу, того не понесть"».

Федор Дубровский «ис Курляндии и Лифляндии писал в дом свой о домашних и деревенских нуждах, да к Дубровскому о взятии книг, понеже и преж сего многие книги и прочие вещи для сохранения брал и по тому обычаю и в то время зделал... Он же, Дубровский, ему, царевичу, сказывал, когда скончалась царевна Наталья Алексеевна (сестра Петра I. — *Н. П.*): ведаешь ли де ты, что все на тебя худое было от нее, я де слышал от Авраама (Лопухина. — *Н. П.*)...».

Князь Василий Долгорукий «о лишении наследства приговаривать

отца обещал, и такие де слова, что давай де отцу писем хотя тысячу, когда де это будет, и что в Штетине хотел изменить, и что он умнее отца и о прочем».

Аврам Лопухин: «Писал де к Шёнборну резидент, что призвав его к себе в Санкт-Питербурхе Аврам Лопухин и спрашивал ево, резидента, о нем, царевиче, где он обретается. И при том объявил, что за него, царевича, здесь стоит и заворачивается уже кругом Москвы для того, что об нем разных ведомостей много, и ему де хочетца ведать, подлинно».

Царевне Марье Алексеевне «о побеге своем говаривал так: "Я де хочю укрыться"». А когда разговаривали о том близ Либавы, то речь зашла о женитьбе отца на Екатерине, и царевна Марья поведала: «Рязанской де сие и князь Федор Юрьевич (Ромодановский. — *Н. П.*) не благоприяли, и к тебе они склонны».

Эти высказывания свидетельствуют лишь о том, насколько ошибался царевич относительно окружавших его вельмож. Алексей Петрович игнорировал важнейшее обстоятельство, определявшее отношение к нему, — до 1715 года он значился единственным наследником престола, и каждый вельможа норовил ему угодить, ибо эта угодливость могла способствовать сохранению прежнего положения либо продвижению по службе после смерти его отца. Царевич же принимал заискивающие взоры и льстивые слова вельмож за чистую монету.

В самом деле, какие притягательные свойства природы царевича могли вызвать симпатии, например, у Дмитрия Михайловича Голицына, человека образованного, энергичного, волевого, знавшего себе цену?! Разве что он мог надеяться сменить место службы, то есть Киев, на Петербург. Должность Киевского губернатора, охранявшего южные рубежи страны, была бесспорно важной и почетной, но князь занимал ее свыше десяти лет, он засиделся на ней и считал, что его место в столице, при дворе, где неизмеримо больше возможностей удовлетворить свое честолюбие. Отсюда надежда на наследника, который, став монархом, не забудет мелких услуг, оказанных ему Киевским губернатором, и вызовет его в столицу.

Известный вельможа Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, усидевший в течение сорока лет на должности руководителя монастырскими делами и утративший руководство ими на исходе царствования четвертой монархини, тоже счел необходимым во время празднования дня тезоименитства царевича пробормотать какие-то невнятные слова, которые не в силах был разгадать царевич: «Видишь де Бог тебя наказуем». Но «к чему де те слова, он де царевич не знает».

Царевич считал своим приятелем и фельдмаршала Бориса Петровича

Шереметева. Но тот, будучи в отставке, дал ему ничего не стоивший совет: держать при дворе отца соглядатая, который бы информировал его о разговорах царя с супругой, касавшихся его, царевича.

Судя по всему, Петр тоже не принял всерьез уверения царевича о множестве друзей, готовых оказать ему поддержку в притязаниях на трон. Исключение составил генерал-лейтенант князь Василий Владимирович Долгорукий. Из вельмож, оговоренных царевичем и другими подследственными, он ближе всех стоял к царевичу.

Непонятно, каким образом любимец Петра, в свое время им обласканный, оказался среди доверенных лиц царевича, то есть на положении слуги двух господ. О доверительных отношениях между ним и Алексеем Петровичем свидетельствует хотя бы такой факт — царевич, получив одно за другим два послания отца, дважды отправлялся за советом к Кикину и князю Василию Долгорукому.

Оговоренный царевичем князь в оковах был доставлен из Петербурга в Москву. Здесь ему довелось отвечать на вопросные пункты, составленные Тайной канцелярией и правленные Петром. Вопросов было шесть, и практически на все из них князь дал отрицательный ответ:

«1) Говорил ли царевичу: давай писем хоть тысячу; еще когда что будет; старая пословица: улита едет, когда то будет? — Не говорил.

2) Слова: я тебя у отца с плахи снял, говорил ли? — Я не говорил, а сказал царевич: "Я всегда, как на плахе". Я ему отвечал: когда письмо дашь, то и плаху отбудешь.

3) Слова при Штетине сказанные: кабы не государев жестокий нрав, да не царица, нам бы жить нельзя; я бы в Штетине первый изменил, говорил ли и давно ли думал об измене? — Не говорил.

4) О чем советовали с царевичем запершись, как показал Иван Афанасьев? — Тайно не говаривал.

5) Присылал ли царевич за тобою и что советовали, когда были к нему письма о наследстве. — Царевич присылал, и был у него два раза; ни о чем не советовали.

6) Дьяку Воронову говорил ли и с каким намерением: едет сюда дурак царевич, что отец ему посулил жениться на Афросинье... — Может быть, такие слова говорил, только не помнит».

На что надеялся князь Василий Владимирович, от всего отрицаясь? Скорее всего на то, что он по ошибке оказался в кандалах и в ближайшие дни будет освобожден по повелению Петра.

Но так не думали министры, обсуждавшие ответы Долгорукого 14 марта 1718 года. Отчасти князь был прав, когда надеялся на уважительное

отношение к себе царя, о котором министры были осведомлены. Если бы речь шла о простом колоднике, то министры вынесли бы однозначное определение: учинить застенок. Министры, однако, проявили осторожность и вынесли следующее определение: «Если бы в помянутых князь Василья с царевичем первых словах не такая персона показала, надлежало бы по порядку, к исследованию по тому делу, быть розыску; а поверить совершенно тем словам для вышечисанных обстоятельств сумнительно: царевич сам показал, что князь Василий к побегу его совета никакого с ним не имел. Он же по мысли Кикина написав к князь Василью письмо, отдал Кикину в такое намерение: ежели б на него в побеге было подозрение, привести на князя Василья, как о том в царевичевом повинном письме и в Кикиновом с розыску допросе показано явно. Однако же то предается на высокое его царского величества разсуждение. А за дерзновенные князь Василиева слова с царевичем и с Вороновым достоин он быть лишен и всего его движимого и недвижимого имения и ссылке».

Взятие под арест князя Василия вызвало переполох среди многочисленного рода Долгоруких. Его старейший представитель, князь Яков Федорович Долгорукий, пользовавшийся уважением Петра и единственным из вельмож осмеливавшийся перечить царю и резать ему в глаза правду-матку, обратился к царю с письмом, защищавшим честь рода и оправдывавшим необузданный поступок одного из представителей фамилии. Письмо это настолько эмоционально и столь выразительно отражает честь и достоинство автора, что заслуживает хотя бы краткого изложения. Оно не похоже на обычные челобитные того времени, авторы которых униженно умоляли самодержца проявить заботу или оказать милосердие:

«Премилосердый государь! Впал я злым несчастием моим Богу и человекам в ненавистное имя злодейского рода. А в том утверждаюся единым им сердцевицем, создателем моим и чистою совестью, ибо непоколебимо весь мой род пребывал от начала и донныне, в чем свидетельствуют и дела». Далее следуют ссылки на «богомерзкий бунт» 1682 года, во время которого «дядя и брат мой злую смерть приняли» за верность ему, Петру, во время конфликта с царевной Софьей, а также на услугу последнего времени, о которой сказано глухо и за которую ему, Якову Федоровичу, «воздаяние обещана, как я слышу, лютая на коле смерть»^[13].

«Вижу ныне сродников моих, впадших в некоторое погрешение: аще дела их подлинно не ведаю, однако то ведаю, что никогда они ни в каких злохитрых умыслах не были, чему и причина есть: понеже весь мой род ни

чрез кого имел себе произвождение к добру, токмо чрез единую вашего величества высокую милость, о ней же донныне живем и есьмы; разве явилася вина их в каких дерзновенных словах, может быть, неразумными без умысла злого словами пред Богом и вашим величеством винны». Заканчивается письмо словами: «Того ради, падая, яко неключимые раби, молим: помилуй премилосердый государь, да не снидем в старости нашей во гроб во имени рода злодеев, которое может не токмо отнять доброе имя, но и безвременно вервь живота пресечь. И паки вопию со слезами: помилуй, помилуй, премилосердый государь!»

Петр не спешил приводить в исполнение приговор министров — вместо ссылки он велел отправить князя Василия вместе с прочими колодниками в Петербург. Таким образом тот располагал уймай времени, чтобы трезво оценить свое положение и свои показания.

21 июня 1718 года Долгорукому и царевичу была дана очная ставка, во время которой царевич подтвердил свои прежние показания и дополнил их новыми. Долгорукий сказывал ему: «Давай отцу своему писем отрицательных от наследства сколько хочешь», а также, что «царевич умнее отца, который хотя и умен, только умных людей не знает». Долгорукий признал только то, что говорил царевичу: «Письмо отцу дай, или на словах ответствуй». «А таких слов, что царевич на него показывает, отнюдь не говорил».

Наконец, 23 июня князь Василий написал повинную:

«Как взят я из С.-Питербурха нечаянно и повезен в Москву скован, от чего был в великой десперации и беспамятстве, и привезен в Преображенское и отдан под крепкий арест, а потом переведен на Генеральный двор пред царское величество, и был в том же страхе, и в то время как спрашивай я против письма царевича пред царским величеством, ответствовал в страхе, видя, [что] слова, написанные на меня царевичем, приняты за великую противность, и в то время, боясь розыску, о тех словах не сказал».

Теперь же, поразмыслив, Долгорукий признал некоторые подробности своего разговора с царевичем. Так, он говорил ему: «Письмо подай немедленно, и бояться тебе нечего, и по требованию отцову хотя б 10 или 20 писем давать надобно; это не такие письма, как между нашею братьею преж сего бывали... и опасаться этого нечего». «А может быть, что "хотя и тысячу писем давай", говорил, — признавал князь, — только конечно чистою совестью приношу, что того не упомяну. А то говорил, чтоб его к тому привести, чтобы то письмо подал, конечно видя, что царскому величеству и государственному интересу надобно».

Других вин князь Василий за собой не признал и заканчивал повинную словами, что заискивать перед царевичем у него не было резона, «понеже я взыскан и пожалован чином и обогащен его царского величества высокою государевою милостию сверх достоинства своего».

Петр, однако, усомнился в искренности повинного письма и оставил в силе приговор министров об отправке князя в ссылку, о лишении чинов и конфискации имущества. 5 июля, заслушав повинную и приговор министров, царь указал: «Князь Василья Долгорукого сослать к Соли-Камской с офицером в провожании 4 солдат, и жить ему тамо, как и прочие ссыльные, о приеме его писать Матвею Гагарину». И все же князь получил некоторую поблажку: капитан Куроедов с четырьмя солдатами сопровождал осужденного на четырех подводках, в то время как самому князю было предоставлено шесть подвод, нагруженных скарбом, необходимым для проживания в глубоком захолустье. Кроме того, из конфискованных у него сумм ему было выдано «на корм в дорожный проезд» 50 золотых червонных; «а чем им будучи в Соли-Камской питаться, учинит определение в Сенате».

Почему из многих оговоренных царевичем вельмож к следствию был привлечен и ссылкой поплатился один В. В. Долгорукий? Отчасти мы уже ответили на этот вопрос: царь не считал обвинения царевича обоснованными. Но главная причина, почему многих оговоренных царевичем лиц оставили в покое, состояла, на наш взгляд, в другом. Привлечение их к следствию негативно отразилось бы на репутации Петра в Европе. У Петра не было резона привлекать к следствию представителей правящей элиты и тем создавать в Европе представление о множестве сторонников опального царевича, готовых поддержать его закоснелые замыслы.

О некоторых других лицах, привлеченных к московскому розыску, скажем кратко.

Посол в Лондоне генерал-майор Семен Нарышкин был уличен в том, что еще до отъезда в Англию встречался с Кикиным и тот просил его передать возвращавшемуся в Россию царевичу, что «напрасно он ехать сюда спешит, можно было бы еще там побыть». Нарышкин слова эти передал, но понимая их в том смысле, что ехать в осеннее время трудно, а лучше бы весною. Разговаривал он и о разных порядках наследования в разных странах, но не тайно, а явно. Петр в отношении Нарышкина ограничился тем, что указал: за предерзостные слова жить ему до указа в дальней деревне, «которая дале всех», и из нее не выезжать.

На дьяка Федора Воронова показал Иван Большой Афанасьев: уезжая

из Петербурга по вызову царевича, он поведал Воронову, что царевич отправился не к отцу, а в немецкие земли. Воронов это одобрил: «то де хорошо», и снабдил Афанасьева шифром для тайной переписки, а царевичу просил передать, что готов ему послужить. Кроме того он же, Воронов, передал Афанасьеву слова князя Василия Долгорукого, уже известные читателю, о том, что «едет сюда дурак царевич... жолв ему, а не женитьба» и т. д. Дьяк показания Афанасьева признал, но следователям хотелось добиться от него большего.

Заплечных дел мастера из Тайной канцелярии старались изо всех сил, чтобы выбить из Воронова дополнительные показания. Было известно, что «цифирной азбуки» (шифра) в руках царевича не оказалось, поскольку Афанасьев так и не встретился с ним. Сотрудники Тайной канцелярии были уверены, что Воронов изыскал иные пути доставки шифра царевичу и находился с ним в переписке. Дьяк был подвергнут розыску трижды: 28 февраля он получил 25 ударов, 3 марта — 15 ударов, 6 марта — еще 17 ударов. Но так ничего и не добавил к своим прежним показаниям и твердил то же, что и после первой пытки. 28 июля Сенат приговорил Воронова к смертной казни за то, что он знал о побеге, но не донес, передал шифр для царевича и изъявил желание служить ему.

В марте 1718 года в Москве прошли казни. Большинство казненных проходили по так называемому Суздальскому розыску, о котором речь пойдет в следующей главе. Но среди прочих — и с особой жестокостью — был казнен Александр Кикин, приговоренный к колесованию. О его казни сообщает австрийский резидент Плейер в своем донесении в Вену:

«...Мучения его были медленны, с промежутками, для того, чтобы он чувствовал страдания. На другой день царь проезжал мимо. Кикин еще жив был на колесе: он умолял пощадить его и позволить постричься в монастыре. По приказанию царя его обезглавили и голову взоткнули на кол».

18 марта, по совершении казней, Петр покинул Москву и отправился в Петербург. Туда же он повелел доставить царевича Алексея, а также других лиц, проходивших по Московскому розыску.

Розыск должен был быть продолжен в Петербурге.

Глава шестая. Первый суздальский розыск

Хотя первый Суздальский розыск и происходил в Москве, но он имеет все основания для того, чтобы рассматривать его в отдельной главе, прежде всего потому, что он не имел прямого отношения к событиям, являвшимся главным содержанием Московского розыска. Лица, привлеченные к розыску по суздальскому делу, не были осведомлены о замышлявшемся побеге и, следовательно, не были причастны к его организации.

Современник событий ганноверский резидент Вебер тоже полагал, что царь во время своего пребывания в Москве был озабочен следствием по двум уголовным делам:

«Это были два различных следствия, из коих одно касалось царевича Алексея, а другое — прежней царицы, которая привезена была теперь в Москву из Суздальского монастыря вместе с генерал-майором (?) Глебовым, и это последнее следствие окончено было в Москве, а первое — в Петербурге».

Главными действующими лицами Суздальского розыска являлись мать царевича, первая жена Петра Евдокия Федоровна, в иночестве Елена, а также близкие к ней лица, в первую очередь ростовский епископ Досифей и капитан Глебов.

Как мы знаем, царица Евдокия Федоровна была насильно заточена в суздальский Покровский монастырь в сентябре 1698 года. Если бы она согласилась отправиться в монастырь добровольно, по своему желанию, то ей, наверное, были бы организованы торжественные проводы с участием бояр, ехала бы она в роскошной карете в сопровождении эскорта стрельцов и толпы слуг. Но опальную царицу сопровождал в Суздаль единственный дьяк Михаил Воинов. Ее вместе с карлицей поселили в келье монастырской казначеи Маремьяны.

Приказной Покровского монастыря Семен Воронин позже на допросе показывал, что церемония пострижения состоялась весной следующего года, после приезда в Суздаль окольного Семена Языкова. В Суздале он прожил «недель с десять и хаживал к царице ежедневно». Вероятно, Языков продолжал уговоры Евдокии Федоровны и в конце концов сломил ее сопротивление. Имеет, на наш взгляд, право на существование догадка о том, что бывшая царица оговорила свое согласие стать монахиней рядом

условий: она должна была проживать в особых хоромах, специально для нее сооруженных, располагать штатом служанок, выполнявших за нее всю черную работу; в ее распоряжении должна была находиться особая поварня, где для нее готовили пищу, для ее продовольствования ассигновалась определенная сумма, предназначенная для приобретения продуктов на рынке, при ней должны были находиться две старицы, на которых возлагалась обязанность скрашивать ее жизнь. Постриг в присутствии Языкова совершил иеромонах Спасо-Евфимьева монастыря Илларион. При пострижении царица получила имя Елена. Церемония совершалась не в соборе, а в келье монастыря. Тогда же на монастырские деньги были сооружены хоромы для бывшей царицы. В 1705 году они перестали ее удовлетворять, и было сооружено более просторное здание, в котором размещались инокиня Елена, две ее приближенные: казначея Маремьяна и старица Каптелина, а также выполнявшие обязанности прислуги старица Дорофея и Марфа. Старица Дорофея во время допроса в 1720 году показала, что она пребывает в Покровском девичьем монастыре 27 лет и через год после приезда Евдокии Федоровны была определена к ней «для мытья ее сорочек, также и в кельях для всякой черной работы».

Инокиня часто получала подношения от духовных и светских лиц, главным образом продовольствием: живой и соленой рыбой, хлебом, выпечкой, а в летние месяцы овощами и фруктами: огурцами, вишнями, яблоками, морсом, редко деликатесами — белугой, икрой, медом, сахаром. В праздничные дни ее навешал с подарками суздальский митрополит, сменявшие друг друга суздальские воеводы, ландраты. Что касается родственников бывшей царицы (брата Аврама, цариц Марьи Алексеевны и Прасковьи Ивановны), то они передавали подарки (съестные припасы, светскую одежду, деньги) через специальных курьеров. И все же Евдокия испытывала определенные трудности в продовольствии, о чем свидетельствуют ее письма родным с просьбой о помощи.

Так, сохранилось написанное, очевидно, ею самой довольно безграмотное недатированное письмо брату Авраму Лопухину, скорее всего относящееся к первой половине ее пребывания в монастыре. В нем она просила:

«Пришли ко мне всяких водок. Хотя сама не пью, так было чем людей жаловать. Веть мне нечем больши жаловать. Что не гостем носим больше и духовник и крылошаньки и всех, кто ни придет. Сдесь веть ничего нет, все хнилое. Хоть я вами и прикушнада (?), да что же делать. Покамест жива, пожалуйста, поите да кормите».

Дарители приносили продукты в сени, где их принимали старицы

Маремьяна и Каптелина и в ответ подносили дарителям по чарке водки или рейнского. Самые доверенные дарители, пользовавшиеся благосклонностью бывшей царицы, допускались внутрь дома к руке. Возможность встретиться с бывшей царицей зависела также от количества и качества получаемых подарков. Так, вдова некогда богатого купца подарила голову сахара, коврижки и была допущена к руке. Растратив нажитое супругом, она постриглась, и Елена взяла ее в услужение в качестве мастерицы.

Каждая из слуг выполняла закрепленные за нею обязанности. Казначей Маремьяна ведала финансами и выдавала деньги дворецкому Клепикову на покупку на рынке продуктов питания; старицы Дорофея и Дарья выполняли «черную» работу: мыли полы и стирали белье. Карлу и карлицу держали для забавы. Какие-то неизвестные нам обязанности выполняла дворянская девка Марья, не являвшаяся монахиней.

Наибольшие хлопоты слугам старицы Елены доставляли ее выезды из Покровского монастыря в другие монастыри и церкви. Бывшую царицу, как правило, сопровождало 25–30 человек, причем главная задача слуг состояла не только в доставке монахини к месту назначения, но и в том, чтобы ее никто не увидел. Поэтому окна кареты были завешаны красным сукном, путешествия проходили в ночные часы, а если днем, то за четверть часа до приезда бывшей царицы в монастырь прибывал дворецкий с повелением игуменье, чтобы и она, и монахини не выходили из своих келий и не выглядывали в окна. В ожидании, когда откроют церковь и подготовятся к службе, инокиня Елена располагалась в келье игуменьи.

Службу исполняли привезенные ею священник и несколько клирошан. По завершении службы в келью игуменьи приносили обед, после которого царица-инокиня отъезжала вместе с сопровождавшими лицами в Покровский монастырь с соблюдением тех же предосторожностей, как и во время приезда. Выезды не были регулярными. Первый выезд царица совершила в 1700 году, после чего «никуда не выезжала лет с десять, раза с четыре выезжала в монастыри и жила в монастырях по неделе и больше». В 1716–1717 годах Евдокия навестила Кузминский, Федоровский, Сновицкий и Никольский монастыри. Особой ее симпатией пользовался Кузьмин монастырь, который она в 1714 году навестила дважды.

Церемония визитов в монастыри не отличалась единообразием: в большинстве случаев ее угощал принимавший ее монастырь. В Боголюбовском монастыре Святого Владимира Евдокия Федоровна обедала в келье игумена, а игумен вместе с братией — в трапезной за счет царицы: монахов угощали рыбой, вином и пивом, медом, а после обеда дворецкий

разбрасывал деньги. Поскольку путь из Владимира в Суздаль был длинным, пришлось ночевать в поле в палатках, отдельной для Елены и нескольких для ее слуг.

Однажды прихожане Суздальской соборной церкви стали свидетелями необычного зрелища: бывшая царица стояла на своем месте, вся закутанная, оголенной осталась лишь часть руки, предназначавшаяся для целования. Так Евдокия Федоровна отпраздновала известие о рождении у нее внука.

Отметим несколько любопытных эпизодов, выходящих за рамки обычных приемов бывшей царицы. Летом 1716 года она прибыла в Кузьмин монастырь. Недавно вступивший в должность игумен то ли не знал, что гостью надлежало одаривать, то ли поспешил расстаться с монастырским провиантом, предназначавшимся для братии. Слуга старицы Елены вечером отправился к монастырскому главе «и объявил, что ему надобно идти на поклон для того, что и прежние игумены к ней для ее чести хаживали». Игумен призвал уставщика Модеста и спросил: «Прежние игумены до своей бытности хаживали к ней, бывшей царице на поклон хлебом, хаживали ль?» Модест ответил: «Прежний игумен Симеон на поклон к ней с хлебом подходил». Прихватив хлеб и свежую рыбу, игумен отправился на поклон, был встречен в сенях, впущен в келью. Бывшая царица велела поднести дарителю рюмку рейнского, но к руке не допустила, задав единственный вопрос, давно ли он ходит в игуменах.

Утром служили в соборе утреннюю и литургию, а монахи монастыря ходили в другую церковь. После литургии бывшая царица угостила в трапезной братию своей рыбой и вином, но игумена к столу на пригласила, прислав к нему пирог и рыбу.

После трапезы Евдокия Федоровна велела выдать каждому монаху по гривне, а игумена одарила полтинником. Кто-то из слуг велел монахам, проходившим мимо кельи, где находилась бывшая царица, кланяться по трижды «до земли».

Перед Евдокией Федоровной, сидевшей в отъезжавшей карете, монахи тоже отдавали поклоны до земли и следовали за каретой до ее выезда из монастырского подворья.

Происшедшее должно было демонстрировать милосердие бывшей царицы, ее щедрость и принадлежность к царской фамилии — земные поклоны отдавались только ее представителям.

Бывшая царица изредка употребляла мясные блюда, что категорически запрещалось монашествующим. По приказу царицы покупали гусей, уток и кур, однако «мясное кушанье» употреблялось редко, ибо, как показывала

впоследствии (уже во время второго Суздальского розыска) казначея Маремьяна, «бывали такие случаи, что от того занемогала» и лежала в постели по неделе. Надо полагать, что бывшая царица страдала желудочным заболеванием: привыкший к опостылой рыбе желудок с трудом переваривал жирную гусятину и утятину. В расходную книгу вместо уток, гусей и кур записывалась рыба.

При монахине Елене существовал довольно обширный штат лиц, удовлетворявший ее нужды. Помимо дворецкого в него входили девять дневальных, охранявших дворец инокини, а также разнообразные мастеровые: портной, сапожник, кузнец, водовоз, конюхи, дворники и множество слуг, круглосуточно охранявшие вход в монастырь. Жители Суздаля жаловались, что до приезда бывшей царицы им «невозбранно» разрешалось входить в монастырь, теперь же их не пускали караульные.

Быть может, жизнь монахини Елены в Покровском девичьем монастыре протекала бы столь же однообразно и безмятежно, как и жизнь прочих монастырских насельниц, если бы в нее не вторглись два человека, круто изменивших поведение бывшей царицы. Одним из них был ростовский епископ Досифей, другим — капитан Степан Богданович Глебов, присланный в Суздаль для набора рекрутов. Но, главное, о том, как жилось бывшей царице в монастыре, мы, наверное, ничего бы не узнали, если бы подробности ее жизни не были раскрыты Тайной канцелярией во время розыска, связанного с бегством сына царицы — царевича Алексея, а также, спустя несколько лет, — еще одного розыска, получившего название второго Суздальского.

Петр заподозрил, что к бегству сына была причастна его мать. Подозрение не подтвердилось, но оно тем не менее воплотилось в конкретные действия.

9 февраля 1718 года царь отправил собственноручный указ капитан-поручику Григорию Скорнякову-Писареву:

«Ехать тебе в Суздаль и там в кельях жены моей и ее фаворитов осмотреть письма и ежели найдутся подозрительные, по тем письмам, у кого их вынут, взять за арест и привести с собою, купно с письмами, оставя караул у ворот».

10 февраля Писарев прибыл в Суздаль и «бывшую царицу вашего величества видел таким образом, что пришел к ней в келью, никто меня не видел, и ее застал в мирском платье, в телогрее и в повойнике, и как я осматривал писем в сундуках, и нигде чернеческого платья ничего не нашел, токмо много телогрей и кунтушей разных цветов». Подозрительных писем он обнаружил только два, с которых послал царю копии, «дабы в

пути не утратились». В конце донесения Писарев спрашивал царя, как ему поступить, «дабы за продолжением времени какова бы дурна не произошло, понеже она весьма печалуется».

Царица-инокиня очень оробела от действий Писарева, а найденные им бумаги едва не вырвала из его рук, в особенности одну, следующего содержания:

«Человек еще ты молодой. Первое искуси себя в посте, в терпении, послушании, воздержании брашна и пития. А и здесь тебе монастырь. А как придешь достойных лет, в то время исправится твое обещание».

Царица уверяла, что то был список с пометы челобитной какого-то мужика, но Писарев догадался, что письмо писано к царевичу от матери через Аврама Лопухина.

В другой бумаге сообщалось, что «государяцаревича Алексея Петровича в Москву в скорех числах ожидают». Как показала царица, это писал стряпчий Покровского монастыря Михайло Воронин своим братьям.

Следующие четыре дня Скорняков-Писарев посвятил допросу лиц из окружения бывшей царицы и установлению корреспондентов, с которыми она переписывалась. Впрочем, все прочие письма были ею сожжены. В донесении от 11 февраля Писарев писал: «Предлагаю вашему величеству сыскать оного стряпчего Михаилу (Воронина. — *Н. П.*), понеже вся корреспонденция шла чрез его руки, он живет в подворье Покровского монастыря».

В донесении от 14 февраля Писарев сообщал о лицах, причастных к переписке с царицей и организации доставки ей писем. Предлагал «взять за караул» Аврама Лопухина, князя Семена Щербатого и протопопа Суздальского монастыря Андрея Пустынного. «Я мню, — доносил проявивший усердие Писарев, — ими многое воровство и многих покажется. А по послании с сего с царицею и со многими поеду до вашего величества, в том числе и чернца, который царицу постригал, привезу с собою».

В тот же день Скорняков-Писарев отправился в Москву вместе с царицей и многими лицами из Покровского монастыря. На следующий день с дороги царица отправила царю повинную:

«Всемиловитейший государь! В прошлых годах, а в котором не упомяну, при бытности Семена Языкова, по обещанию своему, пострижена я была в Суздальском Покровском монастыре в старицы, и наречено мне было имя Елена. И по пострижении в иноческом платье ходила с полгода; и не восхотя быти инокою, оставя монашество и скинув платье, жила в том монастыре скрытно, под видом иночества, миряною. И то мое скрытие

объявилось чрез Григорья Писарева. И ныне я надеюсь на человеколюбные вашего величества щедроты: припадая к ногам вашим, прошу милосердия, того моего преступления о прощении, чтоб мне безгодною смертию не умереть. А я обещаюся по прежнему быти инокою и пребыть во иночестве до смерти своя, и буду Бога молить за тебя, государя.

Вашего величества низжайшая раба бывшая жена ваша Авдотья».

Малограмотная Евдокия Федоровна сочинения такого письма не осилила бы. По всей видимости, оно было составлено либо Писаревым, либо приказным Ворониным, ехавшим вместе с бывшей царицей.

Но старица Елена в своем письме повинилась отнюдь не во всех числившихся за нею грехах. Ни единым словом она не обмолвилась о еще более тяжком нарушении монашеского устава, нежели смена иноческой одежды на мирскую, — о своей любовной связи с капитаном Степаном Глебовым. Однако скрыть это от Тайной канцелярии ей не удалось: слишком много людей знали о ее связи и готовы были за счет изобличения чужих грехов скрыть собственные.

Сама старица Елена не вызвала слишком уж большого интереса у Тайной канцелярии. После очной ставки со Степаном Глебовым и повинной о блудной жизни с ним бывшая царица ответила на 15 вопросных пунктов, и из ответов ее явствовало, что она не имела никакого отношения ни к замыслу царевича бежать за границу, ни к организации побега, ни даже к переписке с сыном.

Зато в процессе розыска выяснилась важная деталь, а именно огромное влияние, которое оказывал на старицу Елену ростовский епископ Досифей.

Царица сообщила следствию, что «монашеское платье скинула собою (то есть по собственной воле. — *Н. П.*), и предводитель к тому никто не был, кроме пророчеств Досифея, и о том пророчестве надеялася, что будет впредь царствовать».

О пророчествах епископа Досифея показывали и другие привлеченные к делу лица.

И действительно, быть может, инокиня Елена в конце концов и смирилась бы со своей судьбой, если бы в ее постылую жизнь не вторгся Досифей. Это он внушил ей надежду на скорое освобождение из монастырского заточения и восстановление супружеской жизни. Пророчества Досифея пали на благодатную почву, ибо они совпадали с ее горячим желанием расстаться с монашеской кельей.

Знакомство Досифея с инокиней Еленой состоялось вскоре после ее пострижения. Тогда Досифей еще не был епископом и занимал более

скромную должность игумена Сновидского монастыря, расположенного в том же Суздале. Неизвестно, какими соображениями руководствовался Досифей, когда по своей инициативе решил познакомиться с инокиней Еленой. Возможно, он не лукавил, когда во время розыска заявил, что его побудило к этому чувство милосердия, стремление утешить бывшую царицу, оказавшуюся в непривычной для царственной особы обстановке. Но столь же возможно, что игумен рассчитывал на нечто большее, стремясь приобрести славу пророка.

Правда, действовал «пророк» слишком уж опрометчиво, называя слишком близкие сроки исполнения своих пророчеств. Как выяснило следствие, он, будучи игуменом Сновидского монастыря, приходил к монахине Елене и «сказывал ей, что когда он молился и будто ему гласы бывали от образов, и явились ему многие святые, сказывали, что она будет по прежнему царицей». Позднее Досифей стал настоятелем суздальского Спасо-Евфимиева монастыря, но видения не прекратились. «А когда он был архимандритом в Спасском Ефимьеве монастыре и когда ему будто бывало явление, в то время приходя и ночью сказывал».

Видения и пророчества продолжились и после того, как Досифей стал епископом. Более того, он приезжал к инокине Елене «и служил и поминал ее царицею Евдокиею» (а не старицею Еленой, как должно было). В монастыре нашлись «таблицы» (поминальники), в которых значилось имя «царицы Евдокии Федоровны», но отсутствовало имя царицы Екатерины, нынешней супруги Петра. По тем временам это было страшное преступление.

Как установило следствие, епископ Досифей «сказывал» бывшей царице, что «он от святых слышал гласы от образов, что нынешнего году, в котором ей сказывал, будет царицею по прежнему». Когда же прошел год, а монахиня, так и не став царицей, спрашивала у него: «Для чего де не сделалось?», Досифей нашелся с ответом: «За грехи де отца твоего». «И она де ему вели вала о грехах отцовых молитися и за то де ему денег много даывала». Досифей заявлял, что деньги «роздал нищим и сказывал, что он его (отца бывшей царицы. — *Н. П.*) видел уже из ада выпущенного до пояса, а в другой год, то ж чиня, сказывал, что только по колени во аде. И такие де обманные слова сначала и до сего дня ей, бывшей царице, сказывал и во многих письмах писал».

Показания бывшей царицы, а также несколько писем Досифея, обнаруженных у царевны Марьи Алексеевны, сестры Петра, явились основанием для ареста ростовского владыки. 18 февраля 1718 года гвардии капитан-поручик Нибуш получил указ ехать в Ростов для ареста архиерея и

доставки его в Москву. Нибушу велено было все письма, «ни единого не оставя, осмотреть... и касавшиеся о чем тебе изустно повелено которых смотреть, те все взять, запечатать и хранить в великой тайне».

Привезенный в Москву Досифей в повинном письме признал свою вину: «В вышеписанных своих пророчествах во всем винился и также пророчества ей, бывшей царице, сказывал, будто он то все видел и видением и гласами от образов... А он того ничего не видал и не слышал и все то лгал».

Кроме того, Досифей сделал еще одно важное признание: оказывается, он был знаком с Глебовым, хотя не считал это знакомство близким: «Со Степаном Глебовым у меня крайнего знакомства и любви не бывало, и как был в Спасском Ефимьеве монастыре архимандритом, Степан приезживал в тот монастырь с бывшею царицею ночью, петь велевали всенощные и моление, и ко мне в келью Степан хаживал; однажды с бывшею царицею у меня в келье и ужинали».

Следователей, однако, не удовлетворили показания Досифея, они рассчитывали развязать ему язык в застенке. Но подвергать пытке священнослужителей всех рангов запрещалось, а потому прежде, чем пытаться, надлежало лишить Досифея сана. «И по тем расспросам во многом подлежит его, епископа, спрашивать и давать очные ставки, — говорилось в выписке Тайного приказа. — А понеже он архиерейского сана, того ради, видя его помянутые и прочие непотребные дела, надлежит его обнажить от архиерейского сана соборне».

При Петре лишение архиерейского сана не встречало затруднений со стороны церкви, которая постепенно превращалась в часть правительственного механизма, послушно выполнявшего волю государя. Процедура лишения сана «соборне» облегчалась еще и тем, что все архиереи были вызваны царем в Москву для суда над царевичем Алексеем.

27 февраля состоялось решение собора: «Сию выписку слушали соборне преосвященные архиереи Российские и Греческие и по своему рассуждению судили повинна быти ростовского епископа Досифея и достойна извержения от архиерейского сана». Отныне епископ Досифей превратился в расстригу Демида и подлежал светскому суду, как и прочие колодники. Выслушав приговор, подписанный Стефаном Яворским, митрополитом Рязанским, а также митрополитом Воронежским и другими иерархами, русскими и греческими, бывший ростовский владыка в сердцах произнес: «Только я один в сем деле попался. Посмотрите, и у вас что на сердцах? Позвольте пустить уши в народ, что в народе говорят: а на имя не скажу».

С арестом Досифея произошла любопытная история — узника взял под защиту Меншиков, обратившийся к царице Екатерине Алексеевне с просьбой, чтобы та ходатайствовала перед царем о его освобождении. Когда же выяснилась вина Досифея, князь поспешил повиниться перед царем в своем неуместном милосердии: «О бывшем Ростовском архиерее, который ныне чрез свои вместо благих злые дела отличился, я всемилостивейшую государыню царицу, мать нашу, просил не иной какой ради причины, точию слыша об нем, что он был надлежащий искусный монах, паче же за ваше и дражайших детей ваших молитвы, а самого его, какого он состояния и обхождения, не знал и персонально нигде не видывал, за что свидетельствуюсь Богом. Всемилостивейшее извольте рассудить, как я только об нем (которой не точию такое бесчеловечное злое дело, но и ни малой к светским делам охоты, как об нем везде относилось, не имел, кроме того, что весьма благоискусным человеком признавай) помыслить мог, однако ж я в том, что за него предстательствовал, прошу всемилостивейшего прощения. А оный что злыми своими делами чинил; за то и приемлет воздаяние».

5 и 6 марта расстрига Демид подвергся пыткам: ему было дано 25, а затем 15 ударов. Пытки ненамного расширили перечень преступных действий и умыслов бывшего ростовского епископа. Так, Досифей ранее утверждал, что у него не было «крайнего знакомства» с Глебовым, а в застенке сознался, что когда он был архимандритом в Спасском монастыре, то Глебов «в тот монастырь приезживал, и он, Досифей, к нему на Московский двор приезживал же», а иногда выполнял обязанность курьера, доставляя письма от бывшей царицы к ее брату Авраму Лопухину и самому Степану Глебову, и последний много раз спрашивал у Досифея, будет ли Евдокия Лопухина царицей, и всегда получал положительный ответ.

Во время обыска у царевны Марьи Алексеевны было обнаружено несколько писем Досифея, среди которых одно написано было условным языком, понятным лишь для корреспондента. Каждая фраза требовала расшифровки. Под пыткой Досифей показал, что имелось в виду. Приведем несколько примеров.

В письме написано: «А я про Павла (сына Петра. — *Н. П.*) давно ведал, что уже был, да нет. Чаю, что и отец Павлов свершится».

В расспросе Демид пояснил, как следует понимать эту фразу: «То де писал он царевне о государе, что слышал он от святых, что государь скоро умрет. А про царевича Павла, будто ему сказывали святые ж, что он умер; и то он все лгал, утешая царевну, а он про смерть царевича Павла сведал

только чрез письмо царевнино».

В письме: «Много вопиющих: Господи, мсти и дай совершение и делу конец».

В расспросе: «То де он написал, что желает государю смертного конца. И якобы и все того с ним мнения, о чем и с нею, царевною, говаривал».

В письме: «О посещении пустынных ныне прошу твоего государского разсуждения, что творити, каково бы на себя им наречение не учинить, а утаитися нельзя».

В расспросе: «Писал он, велит ли царевна ехать к бывшей царице. А ему не хотелось ехать для того, что тайно ему ехать нельзя, а явно, чтоб себе и бывшей царице подозрение не учинить».

В письме: «Аз, да аз, да живете в кругу» (буквы кириллического алфавита).

В расспросе: «Значит, Авдотья жива, бывшая царица»; и т. д.

Следствие интересовали причины, по которым епископ Досифей и другие лица поддерживали бывшую царицу. Судя по ответу, ростовский владыка руководствовался в первую очередь меркантильными соображениями: «Да он же, расстрига Демид, спрашивай, для чего они желали царскому величеству смерти? И он сказал: желали для того, чтоб быть царевичу Алексею Петровичу на царстве, и было бы народу легче и строение С.-Петербурха умалилось и престало. А царевна б Марья ево, царевича, в правительстве не оставила, также и бывшая царица. А он бы (епископ Досифей. — Н. П.) был у них в милости».

О духовной близости и общности взглядов Досифея и царевны Марии Алексеевны свидетельствует и содержание их бесед. После церемонии принятия присяги царевичу Петру Петровичу между ними состоялся примечательный разговор, смысл которого «рострига Демид» передал так: «Напрасно государь так сделал, что большого сына отставил, а меньшого произвел, — говорила царевна, — он только двух лет, а тот уже в возрасте». Мария Алексеевна от таких слов отказалась, признав только, что произнесла: «Царство его и дети его, как он хочет». После присяги Досифей сообщил царевне: «Крест целовал царевичу Петру Петровичу». Царевна отвечала: «Дивно, что брат то учинил, и напрасно произвел меньшого, а большего отставил». От этих слов царевна отречься не стала.

О встречах царевны с епископом после двух попыток рассказал ее певчий Федор Журавский: «Епископ Досифей приезжал к царевне Марии не по одно время и сказывал, что видел многие видения. Государь скоро умрет и будет смущение; сказывал времена; а как они проходили и удивленная царевна с сожалением спрашивала, для чего не сделалось,

Досифей сказывал другие времена; также предвещал, что государь возьмет бывшую царицу и будут у них два детища, чего царевна желала».

Молва о пророчествах Досифея докатилась и до ушей брата бывшей царицы Аврама Лопухина. Он решил обратиться непосредственно к автору. Во время следствия Досифей-Демид не скупился на улики против Лопухина.

«Аврам Лопухин, — читаем в его показаниях, — спрашивал тому года с четыре о том же: де будет ли она по прежнему царицей и с сыном. А буде де государь ее не возьмет, то когда де он умрет, после него будет ли она по прежнему царицею и с сыном жить будет? И он де Авраам сказал: "Дай де Господи, хотя б после смерти государевой она царицею и вместе с сыном была вместе"».

Показания Досифея касались еще одного человека, вовлеченного в розыск, вина которого, впрочем, была уже очевидной, — Степана Глебова.

Первой о его связи с бывшей царицей показала старица-казначей Маремьяна еще 19 февраля: по ее словам, Глебов часто захаживал к царице и днем, и по ночам, и запирались, и «говаривали между собою»; другая старица, более близкая к Евдокии, Каптелина, высказалась в тот же день определеннее: «К ней, царице-старице Елене, езживал по вечерам Степан Глебов, и с нею целовались и обнимались».

Взятый под стражу на следующий день, 20 февраля, Степан Глебов сразу же признался в любовной связи с царицей-инокиней. Было это, по его словам, «тому лет с восемь или с девять», то есть в 1709–1710 годах, когда он был послан в Суздаль для сбора рекрутов.

Согласно показаниям духовника бывшей царицы старца Федора Пустынного, капитан Глебов сам попросил исхлопотать ему разрешение увидеться с царицей-инокиней. Та поначалу отказала Глебову. Но Глебов знал, чем можно покорить сердце монахини. На следующий день через того же Федора Пустынного он передал старице Елене роскошный подарок — по две шкурки песца и соболя и 40 соболиных хвостов. 39-летняя монахиня, свыше десяти лет не знавшая мужской ласки, разрешила Глебову прийти в ее келью. Так было положено начало любовной связи бывшей царицы Евдокии Федоровны с капитаном Глебовым.

20 февраля 1718 года Глебов показал: «Как я был в Суздале у набора солдатского, тому лет с восемь или с девять, в то время привел меня в келью к бывшей царице, старице Елене, духовник ее Федор Пустынный и подарков к ней чрез одного духовника прислал я два меха песцовых, да пару соболей, косяк байберека немецкого и от пищей посылал. И сшелся с нею в любовь чрез старицу Каптелину, и жил с нею блудно. И после того, тому

года с два, приезжал я к ней и видел ее. А она в тех времена ходила в мирском платье. И я к ней письма посылал о здоровье, и она ко мне присылала ж...»

Не стала отпираться и старица Елена. На следующий день, 21 февраля, после очной ставки с Глебовым, она написала собственноручные показания: «Февраля, в 21 день, я, бывшая царица, старица Елена, привожена на Генеральный двор и с Степаном Глебовым на очной ставке сказала, что я с ним блудно жила в то время, как он был у рекрутского набора, и в том я виновата. Писала своею рукою я, Елена».

Личность Глебова вызвала самое пристальное внимание Тайной канцелярии. Об этом свидетельствует хотя бы то, что он принадлежит к числу немногих лиц, подвергшихся троекратной пытке. Дело было не только в блудных связях с бывшей царицей. Следствие сделало все, чтобы обвинить его в политических преступлениях. Напомню, что наказание супругу за прелюбодеяние по обычаю того времени было значительно более мягким, чем наказание супруге. Но Глебов вступил в преступную близость не просто с монахиней, что уже было тяжким преступлением, но с бывшей супругой царя, и руководствоваться обычаем в данном случае не приходилось. (Вспомним, к примеру, судьбу Виллима Монса, поплатившегося отрубленной головой за интимную связь с супругой ревнивого царя.)

У Тайной канцелярии имелись кое-какие основания для того, чтобы придать умыслам Глебова политическую окраску. Показания против Глебова охотно давал ростовский владыка Досифей. Так, он поведал, что капитан Глебов в 1711 году осуждал «законный брак» «его царского величества с государынею царицею Екатериною Алексеевною» и выговаривал ему: «Для чего вы, архиереи, за то не стоите, что государь от живой жены на другой женится?» Досифей отговорился: «И я ему сказал, что я не большой и не мое то дело и стоять мне о том не для чего».

Кроме того, среди бумаг, изъятых у Глебова, обнаружились такие, в которых можно было увидеть осуждение проводимых Петром преобразований. Так, осуждалось брадобритие: «Бог един во власех силу имеше»; аналогичное суждение высказал Глебов о старом покрое одежды, которой он отдавал предпочтение перед вводимой Петром европейской: «Таково свойство всякого платья хранить своя манеры. То бывает хвально». Как антиправительственную интерпретировали еще одну фразу в выписках Глебова: «Аще ли кто боготворит человека, таковых боготворцов подобает истребляти, яко и тех, кои служат кумиром или богом прочим». Имелись среди записок Глебова и написанные шифром («цыфирью»).

21 февраля Тайная канцелярия вручила Степану Глебову шесть вопросных пунктов. Вот их перечень с пометами об ответах Глебова:

«1. Живучи с нею блудно, спрашивал ли ты ее, с какой причины она платье чернеческое скинула, и для какого намерения, и кто ей в том советовал и обнадеживал ее, и чем обнадеживал? — Запирается.

2. От нее к сыну и к иным и от сына к ней и от иных писем ты не переваживал ли и не пересылал ли, и буде переваживал или пересылал, от кого и о каких случаях писанные, и в бытность твою в любви с нею присылались ли от кого какие письма, и ты их видел ли и в какой силе видел ты? А ведать тебе всякую тайну ее надлежит для того, что с нею жил в крайней любви. — Запирается.

3. При отъезде царевичеве в побег с бывшею царицею ты говорил ли и о том от нее слышал ли, что она про побег сыновний ведает, и от кого и чрез кого? — Запирается.

4. В письмах к тебе от бывшей царицы написано, чтоб ты ее бедству помогал, чрез кого ты знаешь: бедство ей какое было и бедству ее каким случаем она тебе велела помогать и чрез кого? — Помогать ему велела чрез Аксинью Арсеньеву, о чем она ей говорила; а что, о том не ведает.

5. Азбуки цыфирные, которые у тебя выняты, с кем ты по ним списывался и которые у тебя письма цыфирью, от кого и что в них писано? — По азбукам цыфирным ни с кем не списывался; а письма писал и азбуку складывал он, а писано в них выписки из книг.

6. Письмо, которое у тебя вынято, к кому писано и для какой причины, и кто то письмо с тобою писать советовал? — Смотри письма своей руки, сказал: писал о жене своей и из книг, а ни с кем не соглашался, а иные об отце, что брата оставил, и о сыне своем, а не к возмущению».

На другой день по этим же допросным пунктам был устроен застенок: Глебов получил 25 ударов, но с розыску ни в чем не повинился, кроме блудной жизни. О письмах сказал, что писал их о себе и о своей жене, «цыфирь» складывал сам и ни с кем не советовался. 26 февраля устроена очная ставка с Досифеем; Глебову дано еще 9 ударов — с тем же результатом.

Вопросные пункты и ответы на них заслуживают анализа. Из шести пунктов четыре касаются не Глебова, а старицы Елены, причем на три из них Глебов отказался отвечать. Как расценивать подобное поведение Степана Богдановича? Ответа у автора нет.

Если бы события разворачивались, скажем, в конце XVIII века, поведение Глебова можно было бы расценить как рыцарское по отношению к возлюбленной даме. Но в первой четверти XVIII столетия представление

о дворянской и офицерской чести если и существовало, то в самом зачаточном состоянии.

Как бы то ни было, но надлежит признать — Глебов вел себя во время розыска достойно.

В приговоре, определявшем жестокое наказание Глебову, на первый план были выставлены именно политические обвинения, а его блудные связи названы в последнюю очередь. Между тем установление интимных отношений с бывшей царицей имело далеко идущие цели.

Надо полагать, Глебову были хорошо известны пророчества епископа Досифея. Суть их состояла в том, что Петр не сегодня завтра должен вернуть отвергнутую Евдокию Федоровну. В этом случае, рассчитывал Глебов, царица не забудет его услуг и вознаградит его. Тот же Досифей предсказывал скорую смерть Петра. Это сулило еще большие выгоды для предприимчивого офицера: престол должен занять ленивый сын царицы-инокини, и он, Глебов, станет фаворитом царицы Евдокии Федоровны.

Отношения между инокиней Еленой и Глебовым оборвались так же внезапно, как начались. Причин тому было несколько. Во-первых, истек срок пребывания Глебова в Суздале. Сохранять прежние отношения, когда Степан Богданович возвратился в лоно семьи, проживавшей в Москве, стало опасно — отлучки супруга в Суздаль могли вызвать подозрения. Но главная причина, на наш взгляд, заключается в другом. В 1711 году, когда и произошел разрыв, стало известно о том, что Петр оформил свои отношения с Екатериной Алексеевной брачными узами. Это положило конец напрасным мечтаниям — инокиня Елена утратила надежду на то, что Петр призовет ее к себе, а капитан должен был убедиться, что использовать царицу для осуществления своих честолюбивых замыслов ему не удастся. Так или иначе, но Глебов решительно отказался от продолжения связей, и все усилия оскорбленной монахини восстановить их оказались тщетными. Поведение Глебова после разрыва лишней раз убеждает, что нежных чувств к бывшей царице он не питал, а руководствовался голым расчетом, нисколько не заботясь о душевном состоянии покинутой им женщины.

Сохранилось девять писем, отправленных Глебову бывшей царицей. Восемь из них написаны от ее имени старицей Каптелиной и одно — самой Каптелиной от своего имени. Последнее обстоятельство, возможно, объясняется тем, что именно Каптелина исполняла роль сводницы. Она не отличалась высокой нравственностью, в течение двух лет жила блудной жизнью с монастырским стряпчим, затем была покинута им, и ей оказались близки переживания Евдокии Федоровны.

Эти письма настолько примечательны по своему содержанию, что

заслуживают обстоятельного изложения. Если бы они были отправлены во второй половине XVIII века, то их можно было бы оставить без особого внимания — тогда распространение получили переводные с иностранного письмовники, содержавшие образцы писем на любую потребу: деловых, любовных, семейных и др. Отправителю писем оставалось выполнить несложную задачу — написать адрес получателя и его имя. Петровская эпоха — иное дело. Как оказалось, Каптелина была наделена литературными способностями, которые напрочь отсутствовали у бывшей царицы. В сочиненных ею письмах присутствует элемент сопереживания: они наполнены неподдельной скорбью по поводу разлуки и высоким эмоциональным накалом.

Письма самого Глебова бывшей царице не сохранились. Как известно, Евдокия Федоровна, проведав о приезде в Москву бывшего супруга, а затем и сына, предала огню всю компрометирующую ее корреспонденцию. Глебов же этого не сделал, и следователи «вынули» у него девять писем из Суздаля.

К сожалению, письма не датированы. Они относятся не к тому времени, когда роман между корреспондентами достиг апогея, а к исходу его, когда Степан Богданович твердо решил порвать отношения с монахиней и вернуться в лоно семьи. Последовательность их написания была определена следователями Тайной канцелярии, причем настолько удачно, что ею можно воспользоваться и сейчас.

Первое письмо инокиня Елена отправила тогда, когда еще не ощущала возможного разрыва: в нем отсутствуют тревога и печаль о будущем, но обнаруживается забота о том, как сохранить существовавшие прежде отношения. Тревогу вызывало лишь место будущей службы любовника. Бывшая царица готова пожертвовать все свои сбережения, лишь бы за взятку освободить возлюбленного от службы и таким образом получить возможность часто видеться с ним. Письмо настолько самобытно, что заслуживает полного воспроизведения:

«Благодетель мой, здравствуй со всеми на лета. Пиши к нам про здоровье свое, слышать желаем. Пожалуй, мой батюшка, мой свет, постарайся ты за меня, где надлежит, ты знаешь кем. Только ты ради меня себе тесноты не чини, пожалуй, пожалуй только кем можно зделать, порадей, мой батюшка, кем-нибудь, хотя б малая была польза моему бедству. Подай, мой батька, помощи, только я на тебя надеюсь. Ты помоги мне, да пиши, пожалуй, про все, что у вас делается. Пожалуй, мой свет, походи за меня, как ты знаешь, только себе тесности не чини по тамошнему на мерку. Ты поступай, как можно вам.

Изволь ты пожалуй Васильевну^[14] ту посылать побить челом, где ты знаешь, чтоб она вместо меня била челом, кому ты знаешь, кто б мне помог горести моей; ты ее учи, кому бить челом станет, а я надеюсь крепенько и твердо. Пожалуй, мой батюшко, где твой разум, тут и мой; где твое слово, тут и мое; где твое слово, тут моя и голова: вся всегда в воле твоей. Ей, не ложно говорю.

Пиши ты про всех, прошу слезно у тебя и молю неутешно, прошу, добивайся ты о себе, чтобы тебе на службу не быть, что ни дай, да от службы откупайся как-нибудь. Ей, я тебе денег пришлю сот с семь, нарочно пришлю человека с деньгами, только ты добивайся, чтобы тебе не быть на службе. А письма твои дошли сохранно. Яков^[15] детина умный, в своем письме твои письма присылает к нам. Верь ты ему, а мы ему верим».

Что следует подразумевать под просьбой порадеть за нее? Скорее всего, речь шла об увеличении суммы на содержание, которой царица-инокиня не была удовлетворена.

Второе письмо также посвящено освобождению Глебова от службы путем взятки. Правда, сумма, которую старица Елена обещала прислать с нарочным, уменьшилась — с семисот рублей до пятисот, двести из которых были в свое время пожалованы монахине самим Глебовым.

Но начинается письмо не этим, а ответом на какой-то упрек Глебова: «Ей, от самой простоты поступаем мы; а ты пишешь к нам, что де лукавством и пронырством не взять. Что же мне делать, коли такову Бог меня безчастную родил?»

А далее — причитания любящей женщины, исполненные неподдельной страсти и желания: «...То ныне горесть моя! Забыл скоро меня! Не умилоствовали тебя здесь мы ничем. Мало, знать, лице твое, и руки твоя, и все члены твои, и составы рук и ног твоих, мало слезами моими мы не умели угодное сотворить. Знать, прогневали тебя нечем, что по ся мест ты нехватишься! Гораздо огорчились мы, что забыл, никого не пришлешь к нам...»

Неведомые нам упреки Глебова были предвестником бури. Видимо, Глебов готовил монахиню к разрыву. В ответ на его письмо (оставшееся нам неизвестным) последовала бурная реакция Евдокии Федоровны — крик души отчаявшейся женщины. Сколько нежности, мольбы, скорби и огорчения выражено в первых же строках ее ответного письма!

«Свет мой, батюшка мой, душа моя, радость моя, знать уже зло проклятой час приходит, что мне с тобою расставаться. Лутче б мне душа моя с телом рассталась. Ох, свет мой, как мне на свете быть без тебя, как

живой быть! Уже мое проклятое сердце давно наслышано нечто тошно, давно мне все плакало. Аж мне с тобою знать будет расставаться. Ей, ей, сокрушаюся! И так Бог весть, каков ты мне мил, уж мне нет тебя милее, ей Богу. Ох, любезный друг мой, за что ты мне таков мил! Мне уже не жизнь моя на свете. За что ты на меня, душа моя, был гневен, что ты ко мне не писал?»

Евдокия спрашивает у любимого: «Кто тебе на меня что намутил?» Обещает: «А я же тебя до смерти не покину, никогда ты из разума не выйдешь, как мне будет твою любовь забыть... Ох, друг мой, свет мой, любонка моя, пожалуй, сударь мой, изволь ты ко мне приехать завтра к обедне переговорить кое-какое дело нужное». Глебов не ответил и не приехал.

Тогда царица пошла на женскую хитрость. В приписке к шестому письму Каптелина попыталась вызвать у Глебова чувство ревности, надеясь, что милый друг, бросив все, примчится в Суздаль: «У нас был ризничий сего дня, а друг твой (Евдокия-Елена. — *Н. П.*) с ним была часа с три, а меня вон выслали. Только я ей про это не стану молчать. Той приедет завтра. Да пожури ее, ей, я тебе вправду говорю, посердитуй на нее, чтоб покинула она етого».

Затея с мистическим ризничим не сработала — Глебов оставил предостережение без всякого ответа.

Убедившись в том, что придумка не помогла, монахини дали делу обратный ход и поспешили исправить оплошность. Каптелина отправила «Стешеньке» новое послание, в котором призналась, что «я тебе затейность отписала», и все «ради того сказала, чтоб ты ей, пришед, пожурил». Позднее, во время следствия, 3 марта 1721 года, она подтвердила, что все написанное ею было выдумкой: «А что писала о ризничем, что будто он был в келье у нее, бывшей царицы, часа три и ее (Каптелину. — *Н. П.*) вон выслали... то де все писала она от себя собою и тем дразнила Степана Глебова. А того де от него, ризничего, ничего не бывало».

Молчание Глебова вызывало у бывшей царицы горечь и отчаяние.

Чтобы убедиться в этом, достаточно привести выдержки из последних ее писем.

В восьмом письме: «Ах, друг мой, что ты меня покинул, за что ты на меня прогневался, чем я тебе досадила? Ох, друг мой, ох, душа моя, лутче бы у меня душа моя с телом разлучилась, нежели мне было с тобою разлучиться. Кто мя бедною обиде? кто мое сокровище украде? кто свет от очю моею отьиме? кому ты меня покидаешь? кому ты меня вручаешь? как надо мною не умилился? что друг мой назад не поворотишься? кто меня,

бедную, с тобою разлучил? что я твоей жене сделала? какое ей зло учинила, чем я вас прогневала?.. Как мне быть без тебя, как мне на свете жить?.. Ради Господа Бога не покинь ты мене».

В девятом, последнем: «Не покинь же ты меня, ради Христа, ради Бога! Прости, прости, душа моя, прости, друг мой! Целую я тебя во все члены твоя. Добейся, ты сердце мое, опять сюда, не дай мне умереть. Ей, сокрушуся!.. Ох, сердце мое терзается по тебе! Не забудь ты меня, не люби иную. Чем я тебя так прогневала, что меня оставил такую сирую, бедную несчастную?»

И к этим же письмам приписки Каптелины: ее матушка так сокрушается от разлуки, «что лице свое бьет, что ты ее покинул, и неутешно плачет». «Уже так вопит, так вопит по тебе, что ты ее покинул».

В объяснении причин разлуки монахини глубоко заблуждались, полагая, что виновницей постигшего царицу несчастья была супруга Глебова. Из материалов следствия ясно, что супруга даже не подозревала об изменах Степана Богдановича. Инициатором разрыва был сам Глебов — ни стоны Евдокии-Елены, ни дважды повторенная угроза «сокрушить себя», то есть покончить жизнь самоубийством, не произвели на него должного впечатления.

Влюбленная инокиня так и не получила ответ на терзавший ее вопрос, чем она прогневила своего возлюбленного. Тем более затруднительно ответить на него почти три столетия спустя. Остается повторить ранее высказанную догадку: вступая в связь с бывшей царицей, «Стешенька», как нежно называла его старица Елена, руководствовался в первую очередь голым расчетом, а потому с легкостью бесповоротно порвал с бывшей царицей, когда надежды на ее возвращение ко двору рухнули.

Как же отнеслось ближайшее окружение бывшей царицы к ее амурным похождениям? И почему монастырские власти не воспрепятствовали визитам Глебова? На эти вопросы ответить значительно легче.

Лиц, знавших о связях старицы Елены с капитаном Глебовым, было немного. Это прежде всего духовник царицы Федор Пустынный, старица Каптелина, исполнявшая обязанности ее личного секретаря, а также епископ Досифей, которому о предосудительном поведении старицы Елены официально доносили блюстители нравственности, но который оставлял эти доносы без всяких последствий.

Но отнюдь не все готовы были одобрить вопиющее нарушение царицей-инокиней монашеских обетов. Так, старица-казначей Маремьяна (как мы помним, также близкая к царице) была склонна к строгому

соблюдению монашеского устава. В конце концов она смирилась с тем, что бывшая царица, став монахиней, «скинула» с себя монашеское платье, обрядилась в мирское и допускала множество других нарушений. Но она не могла стерпеть визитов Глебова в келью бывшей царицы и многократно выговаривала ей за это. Однако своевольная Евдокия резко обрывала ее. В своих показаниях Маремьяна приводит, например, такие грозные слова Евдокии-Елены, исполненные неприкрытой угрозы: «Все наше, государево; и государь за мать свою что воздал стрельцам, ведь вы знаете, — а и сын мой из пеленок вывалялся!» В переводе на современный язык эти слова означали, что царевич Алексей достиг зрелых лет, и как только он займет трон, его мать найдет управу на тех, кто ей досаждают.

Упреки Маремьяны не остались без последствий. Она была лишена прежнего доверия, бывшая царица перестала приглашать ее к выездам в монастыри и церкви.

Казначей Маремьяна отделалась легким испугом. Других из тех, кто в чем-либо перечил старице Елене, могла ждать и более горькая участь.

Осуждать поведение бывшей царицы осмелились еще два человека: Афанасий Сурмин и протопоп Симеон. Афанасий Сурмин, ведавший делами Покровского девичьего монастыря, узнал о визитах Глебова от протопопа Симеона и не преминул донести обо всем Досифею, бывшему тогда в сане архимандрита, «чтоб он ей поговорил, для чего он, Глебов, к ней ходит безвременно». Однако Досифей вместо того, чтобы принять должные меры, доложил о доносе царице. «И она де, бывшая царица, ево (Сурмина. — *Н. П.*) к себе призывала и ему говорила: "Для чего де ты, вор, такие слова говоришь. Знаешь де ты, что у меня сын жив и тебе де заплатит". И за то де его от правления того монастыря и откинули».

Протопоп Симеон, исполнявший свою должность в Покровском монастыре «лет с двадцать», также поплатился за излишние разговоры: по повелению бывшей царицы его лишили сана и насильно постригли в монахи с именем Симон: «претили и смертным страхом, и за таким страхом не смели больше ей претить и извещать».

Эта расправа с протопопом свидетельствовала, с одной стороны, о реальной власти, которой обладала бывшая царица, а с другой — о страхе перед ней монашеских сестер и властей, много лет молчавших о нарушениях монашеского уклада. Страх преследовал их отовсюду — они боялись бывшую царицу и равно боялись оказаться под следствием, грозившим наказанием за то, что в свое время они не донесли о поведении инокини Елены. Именно страх принуждал монахинь и бельцов показывать во время следствия, что им был неведом факт пострижения Евдокии

Федоровны в монахини, равно как не подозревали они и о том, что она под своим мирским именем упоминалась во время молебнов за здравие членов царствующей фамилии.

Формально первый Суздальский розыск был завершён 5 марта 1718 года обнаружением «Манифеста о бывшей царице Евдокии». Впрочем, название Манифеста не совсем точно отражает его содержание, ибо большая часть текста посвящена не бывшей царице, а ростовскому епископу Досифею, после лишения сана превратившемуся в расстригу Демида, капитану Степану Глебову, царевне Марии Алексеевне и другим.

Манифест обстоятельно, вплоть до мельчайших подробностей, излагает вину каждой персоны. Однако кое о чём умалчивается. Так, в Манифесте отсутствует объяснение причин, по которым царица Евдокия Федоровна оказалась в келье Суздальского Покровского девичьего монастыря. Об этом сказано глухо и невнятно — рукой Петра в текст внесены следующие ничего не объясняющие слова: она «в прошлом 207 (1698) году» оказалась здесь «для некоторых своих противностей и подозрения».

Обвинительная часть Манифеста заимствована из следственных дел, иногда дословно повторяя их текст: подробно описан обряд пострижения царицы, названы имена лиц, его совершивших или при этом присутствовавших: протопопа, попов, диаконов, а также инокинь.

В адрес старицы Елены Манифест выдвинул три обвинения. На первое место поставлено то, что она, будучи монахиней, «скинула» чернецкое платье и стала носить мирское, в котором ее обнаружил гвардейский капитан Скорняков-Писарев, неожиданно появившийся в Суздале, чтобы доставить старицу Елену в Москву. Второе обвинение состояло в том, что в «жертвенник», перечислявший имена особ царствующего дома, по ее повелению было внесено ее имя, имя царицы Евдокии Федоровны, в то время как имя подлинной царицы Екатерины Алексеевны отсутствовало. И наконец третья вина бывшей царицы состояла в блудной связи с капитаном Степаном Глебовым, в чем и он, и она признались.

Надо полагать, что среди населения витали всякого рода слухи, осуждавшие привлечение к следствию бывшей царицы. Царь велел ускорить опубликование Манифеста, чтобы сообщением подробностей из жизни в монастыре бывшей супруги опорочить ее и вызвать презрение к ней. Впрочем, это всего лишь догадка.

6 марта 1718 года в Суздальский Покровский монастырь был отправлен гвардейский сержант с повелением описать имущество монахини Елены, а также старицы Каптелины и духовника Федора

Пустынного и доставить все в Москву. Опись пожитков Каптелины и Пустынного отсутствует, зато сохранился перечень имущества старицы Елены. Он свидетельствует отнюдь не о роскошном гардеробе бывшей царицы. Впрочем, можно предположить, что самые дорогие вещи были разворованы. Так, в описи отсутствует сшитая в Польше соболья шапка, упоминавшаяся всеми, кто давал показания о том, какую одежду носила инокиня в монастыре.

Монахиня Елена настолько привыкла носить мирскую одежду, что ее гардероб включал только три предмета из монашеского обихода: одну штофную и две атласные рясы. Остальная одежда — светского назначения, из дорогих тканей, четыре телогреи и пять тайберсковых полушубков, 33 рубахи, 18 скатертей и столько же салфеток, две шелковых фаты, муфта. В описи перечислены разнообразные материи: два куска атласа мерою в три аршина, пять вершков, четыре полотна голландских, шесть кусков ивановского полотна, четыре аршина парчи.

Беднее представлены постельные принадлежности: четыре простыни, четыре полотенца, три телогрейки. Не отличалась богатством и разнообразием посуда, хотя имелись и предметы иноземного производства: три горшочка венецианских, три оттуда же привезенные горчицницы. Остальная посуда не относилась к изысканной: две оловянные кружки, два чайника, сковородки разных размеров, 24 ножа, 14 вилок, 30 деревянных ложек. Здесь перечислены не все предметы, внесенные в опись: опущены, например, две серебряные чашки восточного происхождения и др. Мелкие предметы, как, например, наперсток, солонка оловянная, две терки, не названы. Среди предметов находилась детская рубашка, вероятно, принадлежавшая сыну Алексею. Кроме предметов в опись внесены изъятые у монахини 300 рублей денег.

Описанное имущество велено было продать с торгов.

20 марта 1718 года старица Елена была отправлена в Успенский монастырь в Ладогу. Там в ее отношении должен был соблюдаться жесткий режим и исключались вольности, которыми бывшая царица пользовалась в Суздале. Ладога находилась в подчинении князя А. Д. Меншикова, а ему не нужно было напоминать, как надлежало содержать лиц, топавших в опалу, даже если они принадлежали к царской семье. Инструкция подпоручику Новокшенову, сопровождавшему старицу Елену в Ладожский монастырь, предписывала: «В дороге держать ее за крепким караулом, никого к ней не допускать, с ней никому разговоров не позволять; писем и денег не давать». Для прислуги с ней была отправлена лишь одна карлица.

О семилетнем пребывании Евдокии Федоровны в Ладоге историки

располагают скудными и отрывочными сведениями. В 1723 году по указу Синода к монахине было прикомандировано два священника, которым поручено с нею «по знанию своему поступать воздержно и трезвенно со всяким благоговением и искусством».

После смерти Петра Великого и вступления на престол Екатерины I новая императрица, по-видимому, опасалась притязаний на трон Евдокии Федоровны и велела стянуть в Ладогу отряд войск, якобы для приведения его к присяге в пользу императрицы. Быть может, из милосердия или в благодарность за смирение, которое усиленно внушали присланные священники, Екатерина смягчила положение монастырской узницы: из Ладоги ее перевели в Шлиссельбург, где велено было «на пищу и содержание известной персоны покупать добрую крупу, муку и держать папошники, пирожки и прочее кушанье ежедневно хорошее».

Положение бывшей царицы кардинально изменилось после вступления на престол ее внука Петра II, сына царевича Алексея. Указом императора от 26 июля 1727 года все манифесты, изданные Тайной розыскных дел канцелярией в связи с делом царевича Алексея, велено было изъять не только из учреждений, но и у частных лиц. Старица Елена вновь стала царицей Евдокией Федоровной, на содержание ее роскошного двора отпускалось 60 тысяч рублей в год.

Наказание других главных фигурантов первого Суздальского розыска было несравненно более жестоким.

Самые тяжкие мучения выпали на долю Глебова. Приговор гласил: «Степану Глебову за сочиненные у него письма к возмущению на его царского величества народа и умыслы на его здравие и на поношение его царского величества имени и ее величества государыни царицы Екатерины Алексеевны учинить жестокую смертную казнь; а что он о письмах с розыску не винился, что он их к тому писал, а говорил, якобы писаны о жене его, а иные и об отце, и о брате, и о сыне, переменяя речи, и то видно, что он чинит то, скрывая тех, с кем он умышлял, и прикрывая свое воровство, хотя отбыть смертной казни; но те его письма о том воровстве явно показывают, да и он от них и сам не отпирался, что те письма писал цыфирью он, Степан; да и потому он смертная казни достоин, что с бывшею царицею старицею Еленою жил блудно, в чем они сами винулись именно; а движимое и недвижимое имение все взять на государя».

Казнь Глебова состоялась 16 марта 1718 года. Официальная версия казни, изложенная иеромонахом Маркеллом, выглядит так: «На Красной площади против столба, как посажен на кол Степан Глебов, и того часу были при нем, Степке, для исповеди Спасского монастыря архимандрит

Лопатинский, да учитель еромонах Маркелл, да священник того же монастыря Анофрий; и с того времени как посажен на кол, никакого покаяния им, учителем, не принес, только просил в ночи тайно чрез учителя еромонаха Маркелла, чтобы он сподобил его Святых Тайн, как бы он мог принести к нему каким образом тайно; и в том душу свою испроверг марта против 16 числа по полуночи в 8 часу во второй четверти».

Другие подробности этой мучительной казни приводит современник, француз на русской службе Вильбуа: «Среди ужасных пыток, которые Глебов терпел по воле и в присутствии самого царя шесть недель сряду, чтобы исторгнуть у оговоренного признание, он твердо защищал честь и невинность Евдокии, и ему стоило только выговорить слова обвинения Евдокии, он избегнул бы жесточайших пыток и мучительной казни. Истерзанный и изувеченный палачами в застенках, он посреди Красной площади пред глазами народа посажен был на кол, раздиравший ему всю внутренность. Царь, подошедший к страдальцу, заклинал его всем, что есть на свете, признаться в преступлении и подумать, что он скоро явится на суд Божий. Глебов, поворотив голову к государю и хладнокровно выслушав его, сказал ему с презрением: "Ты сколько жесток, столько и безрассуден; думаешь, что если я не признался среди неслыханных мучений, которыми ты меня истязывал, стану пятнать невинность и честь беспорочной женщины в то время, когда не надеюсь более жить. Удались, дай умереть спокойно тем, которым ты не даешь спокойно жить"».

В этом свидетельстве, приписываемом Вильбуа, нет ни грамма истины. Автор явно переусердствовал, описывая поступок Глебова. Факт признания в блудном сожителстве как Глебова, так и старицы Елены бесспорен, и, следовательно, у Глебова не было надобности защищать отсутствовавшие у инокини «невинность и честь беспорочной женщины», равно как и у Петра не было никаких оснований требовать от Глебова признания своей вины.

В том, что главная вина Глебова, скрытая другими обвинениями в его адрес, состояла в блудном сожителстве с бывшей супругой царя, сомневаться не приходится. Об этом, помимо прочего, свидетельствует розыскное дело Федора Пустынного. Он был духовником старицы Елены и выполнял обязанности ее личного секретаря, получал письма (за исключением интимных, от Степана Глебова) и от имени бывшей царицы составлял ответы на них. Однако, как явствует из приговора, главная его вина состояла в том, что он впустил к царице Глебова, ходатайствовал за него.

Другой жертвой первого Суздальского розыска стал расстрига Демид,

бывший епископ Досифей. Приговор ему гласил: «За лживые его на святых видения и пророчества и за желательство смерти государевой и за прочие вины учинить жестокую смертную казнь для показания всем, чтоб другие впредь, смотря на такую казнь, так никто на святых не лгали и на государево здоровье не злодействовали и лживо не пророчествовали». Цесарский резидент Плейер доносил о казни Досифея-Демида: «В понедельник 28/17 марта колесован архиерей Ростовский, заведовавший Суздальским монастырем, где находилась бывшая царица; после казни он обезглавлен, тело его сожжено, а голова взоткнута на кол».

Казням подверглись и более скромные личности. Ключарь Федор Пустынный — «за то, что он о бывшей царице, старице Елене, ведал, что она пострижена, а архиерею и прочим объявлял, что не пострижена, и поминал ее при служении царицею Евдокиею, а не старицею Еленой, а исповедовал исповедью монашескою. Да он же приносил к ней подарки от Степана Глебова и потом своим ходатайством ввел его к ней в любовь, который потом и жил с нею блудно. Да чрез него же содержалась вся корреспонденция от бывшей царицы к многим людям, в чем он сам винулся».

«Певчему царевны Марии Федору Журавскому учинить смертную казнь за то, что не доносил о пророчествах Досифея, говаривал с Лопухиным возмутительные слова и сам писал о тягостях народных»^[16].

Остальным 27 фигурантам первого Суздальского розыска жизнь была сохранена, но они подверглись различным наказаниям. Некоторые приговоры заслуживают внимания.

«Князя Семена Щербатова за переписку его с бывшею царицею, которую величал "благоверная государыня царица Евдотья Федоровна", и за желание смерти государю, о чем неоднократно разговаривал с Лопухиным, министры 16 марта приговорили казнить смертью, но государь на докладном статейном колодничьем списке своею рукою повелел взять его в С.-Петербург и, по рассмотрении многих писем его, смертью не казнить, а учинить ему жестокое наказание, бить кнутом и, урезав язык и вынув ноздри, сослать в Пустоозеро».

«Григорию Собакину (племяннику бывшей царицы) за переписку с царицею и за предрезостные слова сказать смерть, а потом, учинив наказанье, сослать в каторгу».

Юродивого Михаила Босого «за вины его, что он от царевны Марии, от Аврама Лопухина, от князя Семена Щербатого и от других их свойственников к бывшей царице в Покровский монастырь переносил письма, ведомости и посылки, также и от ней к ним, и лживо

пророчествовал, вынув ноздри, сослать на галеру в вечную работу».

Наказанию подверглись и некоторые особы женского пола за то, что не донесли: княгиню Настасью Голицыну «сослать на прядильный двор до указа», Варвару Головину «по наказанию сослать в дальний монастырь», игуменью Покровского монастыря Марфу и старицу Каптелину «по наказанию сослать в Александрову слободу и быть им там в тюрьме под крепким караулом».

Наказанию подверглась и царица Мария Алексеевна. Ее, как и бывшую царицу, 20 марта отправили по дороге на Новгород и далее в Шлиссельбург. Держать их обеих велено было под крепким караулом, никого к ним не допускать, не разрешать отправлять и получать письма и деньги.

Общее описание казней осужденных по первому Суздальскому розыску находим у ганноверского резидента Вебера:

«26 марта (по новому стилю. — *Н. П.*) совершена казнь некоторых виновных на общественном рынке в городе Москве. Боярин (так! — *Н. П.*) Степан Глебов живой посажен на кол. Досифей, Кикин, казначей Суздальского монастыря и еще один русский колесованы, после чего тело епископа брошено в огонь, а голова его вместе с головой Кикина и двух других воткнуты на высоких шестах, расставленных четырехугольником на возведенной вновь высокой каменной стене, посреди этого четырехугольника помещено тело посаженного на кол Глебова... Во время этой казни к месту собралось громадное множество любопытного народа, живущего в Москве, так что некоторые насчитывали его от двух до трех сот тысяч душ».

Глава седьмая. Финал трагедии

Иностранные дипломаты, как и большинство вельмож, не входивших в «компанию» Петра, полагали, что казнями в Москве дело царевича Алексея будет закрыто. Но они ошибались. Современник событий Вебер в своем сочинении о времени Петра I писал:

«Сначала полагали было, что последними кровавыми казнями в Москве все следствие закончено и всякий повод к дальнейшим беспокойствам уничтожен, тем более что со времени прибытия нашего в Петербург все, что было открыто по следствию, тщательно хранилось в тайне, что и давало повод думать, что важнейшее все дознано и подавлено при последних московских казнях; но теперь, к прискорбию, увидали, что все употребленные в Москве пытки и казни далеко еще не разъяснили истины и что из показаний находящихся в заключении подсудимых ничего бы не добились, если бы по перехваченным и по зашитым в разных одеждах письмам не обнаружилось вполне все дело».

Слова Вебера об обнаруженных у кого-то зашитых в одежду письмах свидетельствуют о том, в какой глубокой тайне велось следствие. Никаких писем не существовало. Продолжение следствия было связано с ожиданием приезда в Россию и выздоровления после родов любовницы царевича Евфросиньи.

Петербургский розыск относится к завершающему этапу следствия по делу Алексея Петровича. Его центральными фигурантами были сам царевич Алексей и его любовница Евфросинья. Впрочем, продолжались розыск и допросы менее значимых персон, перевезенных из Москвы в Петербург, куда переехали двор, сенаторы, министры и иностранные дипломаты. Отметим, что некоторым доставленным в Петербург колодникам был вынесен смертный приговор еще в Москве, но Петр и Тайная канцелярия решили временно сохранить им жизнь, рассчитывая при помощи очных ставок с царевичем получить новые признания или подтвердить старые.

Самую ценную информацию о поведении царевича в бегах предоставила Тайной канцелярии девка Евфросинья. Благодаря стараниям Петра Андреевича Толстого она с охотой вооружила Петра и Тайную канцелярию сведениями, которыми располагала только она и о которых умалчивал царевич. Алексей Петрович, как мы знаем, был безумно влюблен в нее. По словам австрийского посла Плейера, в самый день

Пасхи^[17] он, поздравляя царицу Екатерину Алексеевну, «упал ей в ноги и, долго не вставая, умолял выпросить у отца позволения жениться на Евфросинье». Но именно Евфросинья и сыграла в его судьбе роковую роль.

Евфросинья и сопровождавшие ее слуги прибыли в Петербург в середине апреля. 20-го числа она была помещена в Петропавловскую крепость. На время (вероятно, до разрешения от бремени и выздоровления) Тайная канцелярия оставила ее в покое, занявшись допросами слуг царевича: Ивана Федорова, Якова Носова и Петра Судакова. Первым из слуг был допрошен иноземец Петр Мейер, все время находившийся в свите царевича и, следовательно, прибывший в Россию раньше Евфросиньи и остальных.

Показания Мейера, равно как и прочих слуг, не представляли для следствия большого интереса, поскольку никто из них не был посвящен в тайное намерение царевича бежать. Все они могли сообщить сведения лишь о том, как развивались события. Мейер, например, был отправлен в путь раньше выезда царевича из Петербурга — ему было поручено приобрести в Риге карету для Алексея Петровича. На допросе он показал о встречах царевича с царевной Марией Алексеевной под Либавой и о продолжительной беседе между ними, а также о встрече с Кикиным и беседе, продолжавшейся с час. О чем шла беседа царевича с царевной и Кикиным, ни Мейер, ни прочие слуги не были осведомлены.

Мейер ехал впереди царевича по маршруту, им определенному, и занимался обеспечением его жильем. Единственное показание Мейера, представлявшее интерес для следствия, состояло в разговоре его с царевичем, состоявшемся в Вене. Мейер недоумевал, почему он и царевич оказались не в Копенгагене, куда должны были ехать, а в столице Австрийской империи:

«Как были мы в Вене, я сказал ему: "Зачем изволишь ехать?" Он отвечал: "Приехал за делом к цесарю от батюшки". И как был уже за караулом, я говорил: "Для чего изволил так учинить?" Отвечал то ж: "Как дело батюшково кончится, тогда поеду"».

Мейер также сообщил о получении царевичем писем от цесаря; а «были ль из России, не знаю». «Куда повезли его потом, не знаю, и слуху об нем не было, а нас держали взаперти за крепким караулом».

Еще более скудные сведения были получены от Носова, Федорова и Судакова. Носов показал лишь, что был послан царевичем в Вене к графу Шёнборну с извещением о прибытии важной персоны, но о чем они говорили с вице-канцлером, он не знает.

Иван Федоров показал под пыткой (ему было дано 15 ударов): «Когда

были мы в Эренберге, царевич письма драл, а сколько и какие, не знаю... В Неаполе, запершись с секретарем Кривым (Кейлем. — Н. П.), царевич писал письмо крупными словами, сидел за тем дни с три и отдал секретарю... А писал ли цыфирью, не знаю: азбука лежала в ларце, от которого ключи были у царевича».

Петр Судаков (с виски): «Цыфирные азбуки по приказу царевича я отдал Ивану Федорову. Письма были в Тироле; впрочем, не знаю какие».

Сенат, рассмотрев результаты дознания слуг царевича, 22 июля 1718 года вынес редкий для всего процесса по мягкости приговор: «Царевичевых служителей Петра Мейера, Якова Носова, Ивана Федорова, Петра Судакова, которые во время побега при нем были, сослать в Сибирь для того, что им здесь быть неприлично». Причем велено было определить их (кроме Мейера, который, не дождавшись этого определения, умер в Петропавловской крепости) «в пристойную службу».

Гораздо большего следствие добилось от Евфросиньи.

Голландский резидент де Би 29 апреля 1718 года (по новому стилю) доносил в Амстердам: «Любовница царевича привезена сюда из Германии. При ней много золота, бриллиантов и богатых нарядов. Все удивляются, что царевич мог питать чувство к женщине такого низкого класса. От нее всё отобрали, оставив только необходимое».

Сообщение де Би о наличии у Евфросиньи роскошных нарядов и драгоценностей не слишком преувеличено. Сохранилась опись имущества Евфросиньи, составленная в ноябре 1718 года. Правда, бриллианты в ней отсутствуют, но наличие золота опись зарегистрировала. Всего было изъято две коробки сибирского золота весом по 81 золотнику; одна коробка китайского золота весом 202 золотника; 2200 червонных одинаких в мешке; 920 червонных в другом мешке; 837 червонных в третьем мешке.

Золото и деньги были отданы в Поместный приказ. Кроме того, было отправлено в Москву, — надо полагать, в Оружейную палату: «чашка серебряная золоченая с крышею, доскан серебряный овалистый, в нем крест из двух хрусталей, кругом 8 изумрудов, да 26 искр алмазных; часы золотые с репетициею на черной ленте и часовая цепочка золотая».

Что касается гардероба, хранившегося во многих сундуках и баулах, то некоторая часть одежды была мужской: вероятно, царевич, отправляясь из Неаполя в Россию, взял с собой самое необходимое в дороге, а остальное отправил вместе с Евфросиньей. В большом черном немецком сундуке находились камзол и штаны суконные песочного цвета, пара платья лимонного цвета, камзол парчовый, галстуки, два парика, три мужских колпака и др. Все эти предметы по повелению царицы Екатерины

Алексеевны, распорядившейся судьбой гардероба, были отправлены в Невский монастырь к архимандриту Феодосию.

Частью одежды царица решила пополнить собственный гардероб: двумя чепцами из золотой материи, парчой, штофом, порошком для чистки зубов, книгами церковного содержания; кое-что велела отослать «на употребление внучатам» (то есть детям царевича Алексея Петру и Наталье).

Но часть имущества и материй Екатерина велела генерал-лейтенанту Бутурлину вернуть Евфросинье: чепцы, ленты разных цветов, простыни, платья, кунтушек женский, четки, шапки, пару башмаков, кружева, штуку голландского полотна, парик белый, серебряный пояс и др.

Вопросные пункты при допросе Евфросиньи были составлены самим царем. Можно с большой долей вероятности предположить, что накануне составления вопросов Евфросинью в Петропавловской крепости навещил Толстой на предмет выяснения, какими сведениями она располагает. Это наблюдение вытекает из содержания вопросов. Вот что интересовало царя:

«О письмах: кто писали ль из русских и иноземцев и сколько раз в Тироле и в Неаполе?

О ком добрые речи говаривал и на кого надежду имел?

Из архиереев кого хвалил и что про кого говаривал?

Как у матери был, что он говорил?

Драл ли какие письма?»

Возможно также, что Петр Андреевич подсказал Евфросинье, как надлежит отвечать на вопросы, чтобы угодить царю. Согласно донесению Плейера, царь велел доставить любовницу царевича в закрытой шляпке и тайно допросил ее, после чего велел отправить ее в крепость. Возможно, разговор этот не был оформлен документом и носил предварительный характер.

Ответы Евфросиньи настолько существенны и сообщают такие исключительные сведения, укрепившие веру царя в то, что в лице сына он имеет дело с человеком, питавшим к нему и ко всем его начинаниям глубокую неприязнь, что они достойны полного воспроизведения. Показания заканчиваются словами, что они написаны своеручно Евфросиньей. Но это заявление вызывает сомнение: малограмотная любовница не могла так четко и грамотно изложить всё, что она знала. Отсюда еще одна догадка: показания сочинял Толстой вместе с Евфросиньей. Числа в показаниях Евфросиньи не обозначено. Но допрос был снят ранее 12 мая (в этот день показания были предъявлены царевичу Алексею).

Итак, вот что отвечала Евфросинья на вопросы царя:

«Письма (царевич. — *Н. П.*) писал из крепости, а притом никакого иноземца не было, а были только я, да он, царевич, да брат мой; а писал по-русски; а писано не на первых днях, а гораздо спустя после того, как в крепость посадили.

Также писал и к цесарю с жалобами на государя; а чаю, что в то же время, как и вышеписанное писал.

Он же сказывал мне, что в войске бунт, и то из курантных ведомостей, а что близко Москвы, то из писем прямых.

Как была при царевиче и жила в Эренберге с ним, приходили немецкие письма, с три, через генерала и секретаря. А писал в Неаполе русские письма, а к кому, не знаю; только слышала я от царевича, что писал к архиереям из крепости, а к кому, не знаю, и писал незадолго до прибытия Толстова.

К цесарю царевич писал жалобы на отца многожды; и когда он слышал о смущении в Мекленбургии, тогда о том радовался и всегда желал наследства, и для того и ушел, и в разговорах говорил мне, что де все ему злодействовали, кроме Шафинова и Толстова: "Авось либо де Бог нам даст случай с радостию возвратиться".

Царевич из Неаполя к цесарю жалобы на отца писал многожды; а перед приездом к нам господина Толстова незадолго, а именно в середине нашей бытности в крепости, как уже можно было на то письмо и ответу быть, он, царевич, писал к архиерею письмо по-русски из крепости, а при том никакого иноземца не было, а были только он, царевич, да я, да брат мой; и писал он то письмо не на первых днях, как мы в крепость посажены, но гораздо спустя, также и с жалобами к цесарю он, царевич, писал, чаю, в то время, как и вышеписанное письмо писал к архиерею; а первые письма писал он, царевич, к двум архиереям не в крепости: еще до оной, будучи в квартире, а к которым, не сказал, и писал прежде того письма задолго.

Он же, царевич, сказывал мне о возмущении, что будто в Мекленбургии в войске бунт, и то из ведомости; а потом будто близко Москвы, из писем, а от кого, не сказал, и радовался тому и говорил: "Вот де Бог делает свое". И как услышал в курантах, что у государя меньшей сын царевич был болен, говаривал мне также: "Вот де видишь, что Бог делает: батюшка делает свое, а Бог свое". И наследства желал прилежно; а ушел де он, царевич, от того, будто государь искал всячески, чтоб ему, царевичу, живу не быть. А сказывал де ему Кикин, будто он слышал, как государю говорил о том князь Василий Долгорукой.

Он же, царевич, говаривал со мною о Сенатах: "Хотя де батюшка и

делает, что хочет, только как еще Сенаты похотят; чаю де Сенаты и не сделают, что хочет батюшка". И надежду имел на сенаторей, а на кого именно, не сказал.

А про побег царевичев ведали, что он сам мне сказывал, четверо: Кикин, Афанасьев, Дубровский да царевна Мария Алексеевна. А об архиереях он говаривал и одного хвалил, а кого — не упомяну; и письма которые он к ним писал, говорил мне, что те письма писал и посылал для того, чтобы в С.-Питербурхе их подметывать (подбрасывать. — *Н. П.*), а иные и архиереям подавать, а не сказал — кому.

Он же мне говаривал: "Я де старых всех переведу, а изберу себе новых, по своей воле". И когда я его спрашивала против того, что кто у тебя друзей, и он мне говорил: "Что де тебе сказывать. Ты де не знаешь. Все де ты жила у учителя (Никифора Вяземского. — *Н. П.*), и других де ты никого не знаешь, а сказывать де тебе не для чего".

Царевич же мне сказывал, что он от отца для того ушел, что де отец к нему был немилостив, и как мог искал, чтоб живот его прекратить, и хотел лишиться наследства; к тому ж, когда во время корабельного спуска, всегда его поили смертно и заставляли стоять на морозе, и от того де он и ушел, чтобы ему жить в покое, доколе отец жив будет, и наследства он, царевич, весьма желал и постричься отнюдь не хотел.

Да он же, царевич, говаривал, когда он будет государем, и тогда будет жить в Москве, а Питербурх оставит простой город; также и корабли оставит и держать их не будет; а и войска де станет держать только для обороны; а войны ни с кем иметь не хотел, а хотел довольствоваться старым владением и намерен был жить зиму в Москве, а лето в Ярославле; и когда слышал о каких видениях или читал в курантах, что в Питербурхе тихо и спокойно, говаривал, что видение и тишина не даром: "Может быть, либо отец мой умрет, либо бунт будет". Он же говаривал: "Отец мой не знаю, за што мене не любит, и хочет наследником учинить брата моего, а он еще младенец, и надеется отец мой, что жена его, а моя мачеха, умна; и когда, учиняя сие, умрет, то де будет бабье царство и добра не будет, а будет сметение: иные станут за брата, а иные за меня".

И я его спрашивала: "Кто за тебя станет?" И он мне говаривал: "Что де тебе сказывать? Ты их не знаешь". А иногда и молвит о каком-нибудь человеке, и я стану спрашивать: "Какого он чину и как прозвище?" И он говаривал: "Что же тебе и сказывать, когда ты никого не знаешь".

Он же говорил мне в Эренберге, что хотел он ехать в некакие вольные города; а приговаривал ему о том или Дубровский, или иной кто, не упомяну. А когда господин Толстой приехал в Неаполь, и царевич хотел из

цесарской протекции уехать к папе Римскому, но я его удержала.

И когда уже намерился ехать к отцу и в самый тот день, когда из крепости Сент Эльма выезжал, отдал мне письма черные, каковые он писал к цесарю с жалобою на отца, и хотел их показывать вицерою Неапольскому, однако ж велел мне оные письма сжечь, и я их сожгла. А писаны были все по-русски и было их много; а все ли были писаны к цесарю, того я не знаю, понеже прочитав их не могла для того, что писаны были связно, к тому ж и время было коротко. А когда еще те письма не были созданы, приходил к нему, царевичу, секретарь вицероя Неапольского, и царевич из тех писем сказывал ему некоторые слова по немецки, и он, секретарь, записывал и написал один лист; а тех писем было всех листов с пять. А сие все писала я, Евфросинья Федорова дочь, своею рукою».

Петр вполне оценил услугу Евфросиньи следствию. Плейер извещал цесаря: «Любовница, которая якобы была единственной, чьи уговоры побудили принца к возвращению, как говорят, находится у царя и царицы в большой милости, потому что они тайно узнали об опасных замыслах принца, как из устных заявлений, так и из обнаруженных бумаг».

Показания Евфросиньи вызвали небывалое смятение духа и у отца, и у сына. Проявлялось оно по-разному. Темпераментного Петра они окончательно убедили в том, что царевич предстал не в образе любящего сына, а в образе человека, воспринимавшего отца как личного врага, а его деятельность, то есть преобразовательные начинания, — как никому не нужную затею, с которой он тут же расстанется, как только займет трон: все жертвы подданных, понесенные в ходе изнурительной Северной войны, окажутся никчемными, а напряженная, полная опасностей жизнь преобразователя — никому не нужной: сын намеревался повернуть ход истории страны вспять, вернуть ее во времена Московского царства.

Можно представить, какие чувства испытывал царевич, когда ему дали прочесть показания нежно любимой «Евфросиньюшки» и предложили письменно ответить на них. Царевич, несомненно, пережил сильнейшее потрясение. Преодолевая чувство горечи, с затуманенным шоком сознанием, он собрался с силами и 12 мая дал следующий ответ «на расспрос девки Офросиньи»:

«К цесарю на отца с жалобами писал, да не посылал, а выбрав из того же, сказывал секретарю, что от чего он ушел и за чем ехать не хотел, и оных де писем нет нигде, а черные все сжег (Евфросинья же показала, якобы письма сожгла она. — *Н. П.*).

К архиереям из крепости не писал.

О письмах к архиереям говорил не в такой образ, а именно говорил

так, что оное подкинуть в Питербурхе на почту, как бы могло оное до них дойти, а не саморучно б подать.

О видениях и об отце может быть, что такие слова говаривал.

В вольные города отъезжать приговаривали Дубровский да Иван Афанасьев.

Письма сжечь велел».

Далее последовала очная ставка с любовницей, которую Алексей — при таких-то обстоятельствах! — впервые увидал после расставания:

«И в помянутых заборных словах дана ему с девкою Афросиньею очная ставка; а с очной ставки он, царевич, запирался ж. А девка его уличила и говорила то ж, что и написала. И он, царевич, того числа на те ж пункты, одумався, сказал:

К цесарю писал, как он ушел, а от чего и зачем возвратиться не хотел, а больше не упомнит.

К архиереям из крепости конечно не писывал.

О Сенатах — как де еще они похотят — такие слова говаривал; а надежды де ни на кого не имеет и никого не таит.

Царевне (Марии Алексеевне. — *Н. П.*) о побеге своем так, что хочу де я скрыться, говорил. А что в повинных о том не написал, и в том виноват...

О видениях и о курантах и об отце говаривал с слов Сибирского царевича...

Секретарю вицероя Неапольского сказывал те слова, от чего он ушел и для чего ехать не хотел.

А больше того не знает и никого не таит».

В тот же день, 12 мая, царевича подвергли новому допросу. К этому времени Тайная канцелярия полностью закончила Московский и первый Суздальский розыски и располагала достаточными уликами, чтобы обвинить царевича в том, что он в повинном письме утаил некоторые существенные детали, обнаруженные при допросах других колодников, «а об иных написал, да не все их обстоятельства». Царевичу было предложено ответить на небывалое количество вопросов — 19, составленных с учетом показаний Евфросиньи и других подследственных, как живых, так и казненных. В ответах Алексей Петрович либо отрицал свою вину, либо заявлял, что утаил те или иные факты «за беспамятством» (что в следственной практике Тайной канцелярии расценивалось как признание допрашиваемым своей вины), либо признавал, что сознательно скрывал компрометирующие его сведения с целью уклониться от ответственности или для того, чтобы не впутывать в следствие близких ему лиц.

Так, царевич по-прежнему настаивал, что письма к Сенату и

архиереям он сочинил по принуждению, в то время как следствие выяснило, что они были написаны по собственной его инициативе.

Приведем некоторые другие важнейшие вопросы, интересовавшие следствие, и ответы царевича:

Вопрос: «О Дубровском, что он ведал о его побеге и бежать приговаривал, в повинной утаил же».

Ответ царевича: «Утаил с умыслу, потому что говаривали о том с ним наедине, и для того в повинной не написал».

Вопрос: «О Семене Нарышкине, что как с ним съехался в пути и говорил, чтоб побыть долго, в повинной утаил же».

«Не написал в повинной за беспамятством».

Вопрос: «О царевне Марии, что она ведала о его побеге, а он в повинной о том утаил, а после объявил, как с нею съехался в Либоу (Либаве. — *Н. П.*) и имели разговор, и в том об ней, что как он ей о своем побеге говорил, не написал же».

«Говаривал ей так: я де хочу скрыться. А что в повинной о том не написал и утаил, и в том виноват».

Вопрос: «Афанасьев показал: когда сердит бывал на Толстую и на других, обещал на кол и говаривал: "Я де плюну на всех; здорова б де была мне чернь"».

«Говаривал спьяна».

Вопрос: «О Питербурхе говаривал, что де недолго за нами будет».

«Говаривал со слов Сибирского царевича».

Вопрос: «Эварлаков: О побеге царевич сам ему сказывал в 715 году так: "Либо де уехал или б де жил в Киеве в Михайловском монастыре или б де в полону был, нежели здесь". А в повинной о том не написано».

«Говорил, а в повинной не написал за беспамятством».

Вопрос: «Он же: Принимал лекарство, притворяя себе болезнь, когда случались походы, чтоб от того тем отбыть».

«Притворяя себе болезнь, лекарство нарочно, чтоб не быть, принимывал и в том виноват».

14 мая царевич подал собственноручное письмо отцу с новыми объяснениями. Спустя еще два дня, 16 мая, последовали очередной допрос и новые разъяснения Алексея.

Показания его во многом путаны и сбивчивы:

«В сенаторах я имел надежду таким образом, чтоб когда смерть отцу моему случилась в недорослых летех братних, то б чаял я быть управителем князю Меншикову, и то б было князю Якову Долгорукому и другим, с которыми нет согласия с князем, противно. И понеже он, князь

Яков, и прочие со мною ласково обходились, то б, чаю, когда возвратился я в Россию, были б моей стороны...

А к тому были мне все друзья, и хотя б в прямые государи меня и не приняли все, для обещания и клятвы (а чаю, что и я, ради клятвы в отречении от наследства в первом письме, не принял короны), а в управители при брате всеконечно б все приняли до возраста братня, в котором б мог, буде Бог допустил, лет десять или больше быть, что и с короною не всякому случается; а потом бы, когда брат возрос, то бы я отстал, понеже бы и летами не молод был, и жил бы так, или пошел в монастырь; а может быть, чтоб до того и умер...

А когда был я в побеге, в то время был в Польше Боур с корпусом своим, также мне был друг, и когда б по смерти отца моего (которой чаял я быть вскоре от слышанья, что будто в тяжкую болезнь его была апелепсия, и того ради говорили, что у кого она в летех случится, те недолго живут, и того ради думал, что и велико года на два продлится живот его), поехал из Цесарии в Польшу, а из Польши с Боу-ром в Украину, то б там князь Дмитрий (Голицын. — *Н. П.*) и архимандрит Печерский, который мне и ему отец духовный и друг... также и архиерей Киевский мне знаем, — то все б ко мне пристали... И так вся от Европы граница моя б была и все б меня приняли без великой противности, хотя не в прямые государи, а в правители всеконечно. А в главной армии Борис Петрович (Шереметев. — *Н. П.*) и прочие многие из офицеров мне друзья же.

А о простом народе от многих слышал, что меня любят...

А при животе б батюшковом мне отнюдь не возвращаться иным образом, кроме того как ныне возвратился, то есть по присылке от него. И о сем и на мысли не было, для того, что ведаю, чтоб меня никто не принял».

Объяснения сына не удовлетворили Петра. В тот же день 16 мая царевичу были предъявлены новые допросные пункты отца, на которые он ответил собственноручно. Приведем его ответ лишь на один вопрос, касающийся его радости по поводу мнимого бунта в русских войсках, расквартированных в Мекленбурге (об этом следствию, напомним, было известно от Евфросиньи; о самом же бунте, выдавая желаемое за действительное, доносил в Вену резидент Плейер, за что позднее и поплатился: царское правительство добилось-таки его высылки из Петербурга):

«Когда слышал о Мекленбургском бунте, радуясь, говорил, что Бог не так делает, как отец мой хочет; и когда бы оно так было и прислали б по меня, то бы я к ним поехал; а без присылки поехал ли или нет, прямо не имел намерения, а паче и опасался без присылки ехать. А когда б прислали,

то б поехал. А чаял быть присылке по смерти вашей, для того, что писано в оном, что хотели тебя убить, и чтоб живого тебя отлучили, не чаял. А хотя б и при живом прислали, когда б они сильны были, то б мог и поехать».

Тайная канцелярия составила ведомость, перечислявшую вины, о которых царевич в своем повинном письме «объявил не о всех и не в самую в том бывшую истину, а о других и утаил».

Так, в повинном письме царевич объявил, что наследства не желает. «И то видно все был обман». Эту ложь обличила Евфросинья: «Наследства желал прилежно», да и сам царевич признал, что, обращаясь к сенаторам с письмом, он надеялся на их поддержку, когда появится в России после смерти отца.

Царевич утверждал, что письма Сенату и архиереям он писал по принуждению секретаря Кейля. Между тем Евфросинья показала, что письма он писал без принуждения, в присутствии ее и ее брата, и есть все основания полагать, что в этом она была права. Во-первых, больше всех в уведомлении, что царевич пребывает под надежной защитой и жив-здоров, был заинтересован сам царевич, а не австрийское правительство; а во-вторых, письма не остались бы неотправленными, если бы в их отправке были заинтересованы цесарские власти. Можно разве что допустить, что Кейль после вручения царевичу откликов прессы о его судьбе порекомендовал написать письма сенаторам и архиереям о том, что он жив и жизнь его вне опасности.

Первоначально царевич заявил, что о его побеге знали двое; на самом же деле таковых было больше: помимо названных им Кикина и Афанасьева, о побеге ведали Дубровский, Эварлаков и царевна Мария Алексеевна.

Утаил царевич в повинной свое горячее желание смерти отца. Следствию об этом стало известно из допросов его духовного отца Якова Игнатьева.

Общий вывод Тайной канцелярии был таков: «Обман его и ложь в повинной пред царским величеством» очевидны и не подлежат сомнению.

Главное же, из показаний сына Петр должен был убедиться в том, что царевич намеревался добиваться власти любыми средствами. Он радовался, когда до него доходили слухи (впрочем, ложные) о неудачах русской армии, о якобы имевшем место бунте в войсках, дислоцированных за границей, о бунте подданных в самой России — все это, в его представлении, ослабляло позиции отца и приближало время, когда он встанет во главе страны. Он даже готов был возглавить бунт, если бы бунтовщики призвали его на эту роль!

Царевич готов был опереться на любые силы в самой России, враждебные Петру. Его «программа» — если так можно назвать те его замыслы и намерения в случае прихода к власти, о которых поведала следствию Евфросинья, — была нацелена на одно: любыми средствами положить конец отцовским преобразованиям

Особые надежды царевич возлагал на духовенство, ущемленное царем изъятием из монастырских и епархиальных вотчин части доходов в пользу государства и возложением на монастыри обязанности содержать школы и инвалидов войны. Среди духовных иерархов наибольшим доверием царевича пользовались митрополит Рязанский Стефан Яворский, являвшийся местоблюстителем патриаршего престола, и митрополит Киевский. Рязанского митрополита Петр решил не трогать, а киевского велел привлечь к следствию.

19 мая 1718 года Петр подписал указ капитану Скорнякову-Писареву: «По прибытии в Киев... ехать вам к митрополиту Краковскому (Киевскому. — *Н. П.*), и что найдется у него в доме, все письма осмотреть везде, и оные, какие бы ни были, забрать и, запечатать своею печатью, привезти с собою; а помянутого Краковского взяв, везти немедленно с собою под честным арестом в С.-Петербург и объявить нам». Два дня спустя, 21 мая, вдогонку к этому указу последовало повеление П. А. Толстого «взять из Киева Печерского архимандрита, который был царевичу духовником... привезть с собою».

С доставкой митрополита Писареву довелось испытать немало трудностей. 4 июня он доносил Ушакову, что прибыл в Киев, изъясил письма в доме митрополита и отправил их с сержантом Булгаковым, «понеже оной митрополит лежит болен уже и до приезда моего за многое время, ноги весьма опухли и ступать невозможно». Служака Писарев оказался в затруднении — не знал, как ему избежать царского гнева за невыполнение указа. На всякий случай подготовил почву для своей реабилитации: «И за тою ево болезнию мне ускорить стало невозможно, токмо как возможет, хотя с великою нуждою ево повезу, и ежели в пути умедлю или за тою ево болезнию везти его будет невозможно, чтоб мне от ево величества не принять гнева».

5 июня Писарев решил отправиться в путь с 70-летним митрополитом, хотя тот и находился «в немалой слабости». Выезжая из Киева, Писарев прихватил с собой и архимандрита. Путевые неудобства ухудшили состояние митрополита, и Писарев, прибыв в Нежин, велел лекарю освидетельствовать его состояние. При осмотре лекарь обнаружил слабость желудка, опухоль на левой ноге без температуры и «помешание в пульсе».

Скорняков спрашивал у Ушакова позволения оставить митрополита на время в Нежине, а самому везти архимандрита в Петербург. Не дождавшись ответа, он решил продолжить путь и все же доставил немощного старца в Москву, где его осмотрели медицинские светила того времени: Бидлоо и Тейлц. Оба доктора пришли к заключению, что больному надлежит дать покой хотя бы дня на три-четыре. Если ему станет полегче, рассуждал Писарев, то он по рекомендации докторов потихоньку его повезет. Выехал Писарев из Москвы 27 июня, а на следующий день митрополит скончался. Через неделю после его кончины Писарев получил ответ на свое донесение из Нежина: везти «для болезни ево (митрополита. — Н. П.) ночью скоро... и нигде в пути не стоять».

Эпизод этот свидетельствует о свирепых нравах того времени, в особенности если за дело бралась Канцелярия тайных розыскных дел.

О смерти митрополита Толстой и Писарев донесли Петру 6 июля 1718 года. Последовала резолюция: «Письма ваши я получил и что Киевского архиерея не стало, известны; а архимандрита Печерского Иоанникия Сенютовича по получении сего изволь свободить и отпустить его по прежнему в Киев для того, что по розыску на них ничего не явилось».

Но вернемся к судьбе царевича Алексея Петровича. Его участь оказалась не менее трагической, чем участь ни в чем не повинного киевского митрополита.

Очевидно, царь отдавал себе отчет в том, что преступления сына караются смертью и что его судьба в конечном счете зависит от него, абсолютного монарха. Однако он не пожелал возложить бремя ответственности на себя и предпочел разделить его с широким кругом лиц — сенаторами, которых обязал выступать в роли следователей, и судом в составе небывалого числа его членов, включая духовных лиц. Этими мерами Петр, помимо прочего, стремился придать делу царевича гласность. Тайная канцелярия вполне оправдывала свое название — все, что творилось в ее застенках, относилось к величайшей государственной тайне, и деятельность этого мрачного учреждения отнюдь не вызывала симпатий подданных, но наоборот — безотчетный страх. Петр, начиная с публичной церемонии встречи с сыном и кончая судом над ним, решил придать процессу внешний вид открытости, гласности — пусть все убедятся как внутри страны, так и за ее пределами, что сын — государственный преступник и его судьбу решает не он, отец, а авторитетные государственные учреждения. Но напомним, что за публичностью и гласностью в те времена скрывалась воля монарха: в самом деле, попробуй выступить в защиту того, кто вызвал гнев самодержца, — тут же сам

окажешься в застенках Тайной канцелярии. (Неслучайно даже Яков Федорович Долгорукий, слывший правдолюбом и, вероятно, в душе осуждавший жестокость отца, безропотно поставит свою подпись под смертным приговором царевичу.)

Но все же: что двигало Петром? Почему он решил передать судьбу сына в руки духовных иерархов и светских чинов?

Два обстоятельства, как свидетельствовал сам царь, побудили его передать дело царевича на рассмотрение «вернолюбезным господам министрам, Сенату и стану воинскому и гражданскому». Одно из них — опасение, «дабы не погрешить, ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в них». Главная же, по-видимому, причина состояла в стремлении царя освободить свою совесть от данной ранее клятвы. Ибо следствие по делу царевича вступало в вопиющее противоречие с трижды высказанным Петром обещанием (цесарю и царевичу письменно и царевичу Толстым устно) простить сына. Однако когда Толстой выманил царевича из Неаполя и тот оказался в руках отца, обещание было грубо нарушено вопросными пунктами царя и его предупреждением, что если царевич в своих ответах что-либо скроет, то «пardon не в pardon», то есть прощение утрачивает силу.

Бесспорно, побег сына наносил колоссальный ущерб отцу, подрывал его престиж монарха, пытавшегося превратить варварскую Россию в цивилизованную страну. Облик царя-героя, победителя шведов под Полтавой, строителя основанного на законах регулярного государства уступал место облику царя-деспота, от произвола которого бежал собственный сын. Гнев царя на предательство сына не затухал, а лишь усиливался, ибо, как выяснялось по ходу следствия, царевич в своих поступках руководствовался злобой и ненавистью к отцу и его деяниям.

Ситуация усугублялась тем, что об обещании царевичу прекрасно знали в Европе. Петру надлежало убедить общественное мнение европейских стран и иностранные дворы в том, что он, царь, хотя и располагает правом решить судьбу любого подданного, но не желает воспользоваться этим правом, а стоит в стороне от трагических событий, и судьбу сына решает не он, а представительный суд.

Механизм его был запущен 13 июня 1718 года, когда царь отправил два письма: одно духовным иерархам, другое светским чинам — сенаторам, министрам, генералитету. Оба послания одинакового содержания.

«Понеже вы ныне уже довольно слышали о малослыханном в свете преступлении сына моего против нас, яко отца и государя своего, — писал Петр, — и хотя я довольно власти над оным по божественным и

гражданским правам имею, а особливо по правам российским (которые суд между отца и детей и у партикулярных людей весьма отмещут), учинить за преступление по воле моей, без совету других, однако ж боюсь Бога, дабы не погрешить, ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в их». Царь признал, «что я с клятвою суда Божия письменно обещал оному своему сыну прощение и потом словесно подтвердил, ежели истину скажет: но хотя он сие и нарушил утайкою наиважнейших дел, а особливо замыслу своего бунтовного против нас, яко родителя и государя своего, однако ж, дабы не погрешить в том, того ради прошу вас, дабы истинною сие дело вершили, чему достойно, не флатируя (или не похлебуя) мне и не опасаясь того, что ежели сие дело легкого наказания достойно, и когда вы так учините осуждением, чтоб мне противно было, в чем вам клянусь самим Богом и судом Его, что в том отнюдь не опасайтесь, також и не разсуждайте того, что тот суд ваш надлежит вам учинить на моего, яко государя вашего, сына, но не смотря на лицо сделайте правду и не погубите душ своих и моей, чтоб совести наши остались чисты в день страшного испытания и отечество наше безбедно».

В этом обращении к будущим судьям все правильно за исключением двух моментов. Первого из них мы коснемся сейчас, а о втором поговорим позже.

Царь явно согрешил против истины с целью оправдания своего поступка: он заявил, что «клятвою суда Божия письменно обещал оному своему сыну прощение», умолчав о том, что это обещание было дано без всяких предварительных условий, когда сын находился в цесарских владениях. После того как сын был доставлен в Россию и отец стал полновластным хозяином его судьбы, он начал следствие, потребовал от сына чистосердечного рассказа о побеге, чем будто бы и обусловил возможность многократно обещанного прощения. Знаменитое изречение отца: «пардон не в пардон» можно интерпретировать как грубое нарушение данного ранее клятвенного обещания.

С этого момента в судьбе царевича Алексея происходит перемена. Если прежде он находился хотя и под стражей, но в доме, расположенном близ дома самого Петра, то 14 июня, как явствует из записной книги Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии, царевич был перевезен в Петропавловскую крепость, «в гварнизон», и «посажен в раскат Трубецкой в полату, в которой был учинен застенок».

О желании Петра вручить суд над сыном своим царевичем Алексеем Петровичем Сенату, министрам и «стану воинскому и гражданскому» объявил П. А. Толстой. Как было заявлено, царь «желает, дабы тот суд был

с подлинным испытанием. Того ради соизволит его величество, ежели предпомянутые чины за благо рассудят о каком-либо деле царевича Алексея Петровича спрашивать, то б ево призывали и спрашивали, о чем надлежит».

Одновременно Толстой потребовал от Стефана Яворского, дабы ответ на письмо царя, подписанный всеми духовными иерархами, был подан Сенату «немедленно, понеже оногo ныне все требуют вскоре».

Ответ, подписанный восемью «смирненными» митрополитами и епископами, а также четырьмя архимандритами и двумя учеными богословами, был представлен действительно «немедленно» — на следующий день после получения письма Толстого, 18 июня.

Он отличался неопределенностью и состоял из выписок из Ветхого и Нового Заветов, а также других церковных сочинений диаметрально противоположного содержания. Руководствуясь одними из них, сын за непослушание отцу должен быть казнен: «Аще кто злоречит отцу своему или матери своей, смертию да умрет». Рядом текст иного содержания: «Яко раби Божий, всех почитайте, братство возлюбите, Бога бойтесь, царя почитайте, раби повинуйтеся во всяком страхе владыкам не токмо благим и кротким, но и строптивым: се бо есть угодно пред Богом». А завершались эти пространные выписки словами: «И отец убо пошадети хотяше, но само правосудие Божие пошадело есть того. Кратко рекше: сердце царево в руке Божий есть. Да изберет тую часть, а може рука Божия того преклоняет». Иными словами, духовные монархи отказывались вынести определенный вердикт и предоставили царю самому решить: казнить или помиловать.

Что же касается Сената и военных и гражданских чинов, то они — в полном соответствии с соизволением его царского величества — признали необходимым задать сперва вопросы самому царевичу, с какой целью его привели из крепости в Сенат.

Сенат и присутствовавшие чины составили три вопросных пункта, причем, учитывая, что в «словах ево верить невозможно», что явствует из следствия, постановили: ответы он должен подать письменные.

Первый вопрос касался мнимого бунта вокруг Москвы. Сенат потребовал от царевича назвать имена лиц, сообщивших о бунте и возмущении и «убийственном умысле против царя».

Второй вопрос вытекал из первого: в каком смысле царевич говорил Афанасьеву «о надежде на чернь» и когда намеревался осуществить задуманное; на кого из архиереев имел наибольшую надежду?

Последний вопрос касался судеб Петербурга, а в более широком смысле — судеб преобразований: для чего и почему царевич говорил, что

Петербург недолго за нами будет?

Введенный в сенатскую палату царевич вступил с присутствовавшими в полемику. После заявления сенаторов, что они «принуждены, несмотря на его лицо, яко сына своего всемилостивейшего государя, по указу ево все спрашивать и предлагали ему вышеписанные пункты, требуя от него подлинного объявления», царевич возразил: «Не все де вы слова подхватывайте, а если де станете подхватывать, он и много найдет, и потому оные персоны отвел и стал им говорить о тех, которые старину любят».

Отвечая на первый вопрос, царевич сослался на депешу резидента Плейера вице-канцлеру Шёнборну, копию которой вице-канцлер прислал ему, царевичу. В ней было написано, «что близь Москвы есть бунт», а относительно черни, то он на нее надеялся, «слыша от многих, что его, царевича, в народе любят, а именно от Сибирского царевича, и от Дубровского, и от Никифора Вяземского, и от отца своего духовного протопопа Якова, который ему говаривал, что де "меня в народе любят и пьют под мое здоровье, говоря и называя меня надеждою Российскою"». Кроме черни, он надеялся «на тех людей, которые старину любят, так как Тихон Никитич (Стрешнев. — *Н. П.*), а познавал де их из разговоров, когда с ними говаривал, и они де старину хваливали... И на народ надеялся на всякое время всегда. А на архиерея Рязанского надеялся по предике (Слове о фискалах, о котором речь шла в первой главе книги. — *Н. П.*), видя его склонность к себе, потому, хотя я с ним ничего, кроме того, что я объявил, и не говаривал».

«А о Питербурхе пьяной говаривал в такой образ, когда зашли далеко в Копенгаген, то чтоб не потерять, как Азова; а какими словами говорил, того не помню».

Голландский резидент де Би описал церемонию суда над царевичем, проходившего публично: «Верховное судилище открыто было 25 июня (по новому стилю. — *Н. П.*) в зале Сената, куда прибыл царь в сопровождении ста членов суда после совершенного в церкви богослужения, в котором призывалось на них благословение Духа Святого.

Когда все члены заняли свои места и все двери и окна залы были отворены, дабы все могли приблизиться, видеть и слышать, царевич Алексей был введен в сопровождении четырех унтер-офицеров и поставлен насупротив царя, который, несмотря на душевное волнение, резко упрекал его в преступных его замыслах. Тогда царевич с твердостью, которую в нем никогда не предполагали, сознался, что не только он хотел возбудить восстание во всей России, но что если царь захотел бы уничтожить всех

соучастников его, то ему пришлось бы истребить все население страны. Он объявил себя поборником старинных нравов и обычаев, так же как и русской веры, и этим самым привлек к себе сочувствие и любовь народа. В эту минуту царь, обратясь к духовенству, сказал: "Смотрите, как зачерствело его сердце и обратите внимание на то, что он говорит. Соберитесь после моего ухода, спросите свою совесть, право и справедливость и представьте мне письменно ваше мнение о наказании, которое он заслужил, злоумышляя против отца своего. Но мнение это не будет конечным судом; вам, судьям земным, поручено исполнять правосудие на земле. Во всяком случае я прошу вас не обращать внимания ни на личность, ни на общественное положение виноватого, но видеть в нем лишь частное лицо и произнести ваш приговор над ним по совести и законам. Но вместе с тем я прошу также, чтобы приговор ваш был умерен и милосерд, насколько вы найдете возможным это сделать".

Царевич, остававшийся во все это время спокойным и являвший вид большой решимости, был после сего отвезен обратно в крепость. Помещение его состоит из маленькой комнаты возле места пытки. Но недолго он продолжал оказывать твердость, ибо вот уже несколько дней, как он кажется очень убитым. Говорят, что приговор будет скоро объявлен, и по этому случаю на стенах крепости воздвигли эстраду, обтянутую красным сукном, со столом и скамьями.

Киевский архиепископ и еще три высокопоставленных лица должны быть привезены сюда; но этим, как кажется, не кончатся аресты. От времени заговора Дон Карлоса, сына Филиппа II, короля Испанского^[18], христианский мир не видел ничего подобного этому событию, но его величество следует в этом печальном деле весьма похвальной методе, оставшаяся, как монарх, исследовать и обсудить все действия публично, на основании законов и правосудия, дабы весь мир узнал страшные и преступные замыслы его сына и необходимость, которая заставила его величество так действовать. Действительно, государь этот находится в весьма прискорбном и тяжелом положении. Говорят, что заговорщики намеревались сжечь Петербург и флот, распустить милицию и умертвить всех иностранцев как виновников введения в стране чужеземных нравов, обычаев и правил; равно как убить всех любимцев царя, священная особа и семейство которого, вероятно, тоже не были бы пощажены».

Ту же церемонию суда описал и брауншвейгский резидент Вебер. Его донесение короче, чем реляция де Би, однако содержит некоторые дополнительные подробности.

«Когда все эти чины собрались в Сенате в Петербурге и царь в то же

время нарядил и светское судилище (из министров, сенаторов, губернаторов, генералов и штаб-офицеров лейб-гвардии), то духовные чины суда сперва в течение восьми дней ежедневно совершали по несколько часов в коленопреклонении и, проливая горячие слезы, неотступно молили Бога, дабы он внушил им такие мысли, каких требовали их честь и благо русского народа.

Затем 25 июня (также по новому стилю. — *Н. П.*) открыт был в Сенате уголовный суд, в который его величество явился со всеми духовными и светскими судьями по отправлении в церкви Святого Духа торжественной литургии для испрошения помощи Божией в таком важном предстоящем деле. Когда все это собрание расположилось за судейскими столами, чтобы каждому был свободный доступ, привели царевича под караулом четырех унтер-офицеров. Затем начался допрос царевича и прочитано, во всеуслышание, все следственное производство...»

19 июня царевич был подвергнут пытке, причем в присутствии отца. Согласно гарнизонной книге, в этот день царь приезжал в крепость дважды: первый раз в 12 часов дня в сопровождении Меншикова, Апраксина, князя Я. Ф. Долгорукого, генерала Бутурлина, а также Толстого, Шафирова и прочих, «и учинен был застенок». В первом часу пополудни вельможи разъехались. Второй визит в крепость состоялся в шесть вечера. Царя сопровождали Бутурлин, Толстой «и прочие»; опять был «учинен застенок», продолжавшийся два с половиной часа. Царевичу дано было 25 ударов.

Допросы следовали один за другим. На следующий день, 20 июня, «паки господа сенаторы и министры собрались в гварнизон по полуночи в восьмом часу, а именно светлейший князь, адмирал, князь Яков Федорович, Гаврило Иванович, генерал Бутурлин, князь Дмитрий Михайлович, Петр Толстой, Петр Шафиров, Иван Алексеевич и прочие». Этот эпически спокойный текст заканчивается двумя фразами: «В 11 часу учинен был застенок, и потом разъехались. Его величество быть не изволил».

24 июня застенок был устроен дважды, оба раза в присутствии царя. Первый начался в десять часов утра, и разъехались в двенадцатом часу дня; второй застенок начался в шестом часу вечера, в десятом часу разъехались. Царевичу дано 15 ударов.

Наибольший интерес для историка представляет документ, не имеющий прямого отношения к розыску о бегстве царевича. Это вопросные пункты, составленные царем 22 июня 1718 года, и ответы на них царевича.

В записке, переданной Толстому, рукою царя было написано:

«Сегодня, после обеда, съезди и спроси и запиши не для розыска, но для ведения:

1. Что причина, что не слушал меня и нимало ни в чем не хотел делать того, что мне надобно, и ни в чем не хотел угодное делать; а ведал, что сие в людях не водится, также грех и стыд?

2. Отчего так бесстрашен был и не опасался за непослушание наказания?

3. Для чего иною дорогою, а не послушанием, хотел наследства (как я говорил ему сам), и о прочем, что к сему надлежит, спроси».

Царевич, как значится в публикации документов Н. Г. Устряловым, дал на эти вопросы собственноручные ответы.

Прежде чем их излагать, есть смысл поделиться с читателем некоторыми сомнениями относительно того, что царевич дал «собственноручные ответы».

Как известно, царевич скончался в застенке 26 июня 1718 года, то есть всего через четыре дня после написания «собственноручных ответов». За три дня до их составления царевич получил 25 ударов. Это максимальная норма истязания для здорового человека. Царевич же богатырским здоровьем не отличался, и надо полагать, что удары не могли не оказать влияния на его физическое состояние и психику. Состояние Алексея было известно отцу, и поэтому он написал Толстому: «Съезди, спроси и запиши», из чего следует, что царь сомневался в возможности сына собственноручно написать ответы. Наконец, под ответами отсутствует подпись Алексея.

Кстати, французский дипломат де Лави еще в конце апреля 1718 года доносил в Версаль о состоянии царевича: «Все его поступки показывают, что у него мозги не в порядке», а австрийский резидент Плейер тогда же сообщал цесарю, что в столице носится всеобщая молва о том, что царевич помешался в уме и страшно пьет.

Конечно, полностью полагаться на эти свидетельства у историка нет оснований, поскольку это всего лишь слухи, к тому же относящиеся ко времени, когда царевич не был еще заточен в Петропавловскую крепость. Но не должно быть никаких сомнений, что 25 ударов, нанесенные 19 июня, сильно подорвали здоровье царевича и надломили его психику. Между тем в ответах царевича невозможно обнаружить каких-либо отклонений: они последовательны, логичны, четки.

Все вышеизложенное позволяет предположить, что ответы были составлены не царевичем, а Петром Андреевичем Толстым, причем в угодном царю духе. Возможно, Толстой использовал устные ответы царевича. Однако независимо от того, кем составлялись ответы на

вопросные пункты Петра, в них много достоверного и много деталей, которые не могли быть известны Толстому. Все это похоже на то, что в предчувствии скорой смерти царевич исповедовался перед отцом.

Вот ответы Алексея на вопросы царя.

На первый вопрос: «Моего к отцу моему непослушания и что не хотел того делать, что ему угодно, хотя и ведал, что того в людях не водится и что то грех и стыд, — причина та, что со младенчества моего несколько жил с мамою и с девками, где ничему иному не обучился, кроме избных забав, а больше научился ханжить, к чему я и от природы склонен; а потом, когда меня от мамы взяли, также с теми людьми, которые тамо при мне были, а именно Никифор Вяземский, Алексей да Василий Нарышкины; и отец мой, имея о мне попечение, чтоб я обучался тем делам, которые пристойны к царскому сыну, также велел мне учиться немецкому языку и другим наукам, что мне было зело противно, и чинил то с великой леностию, только б чтобы время в том проходило, а охоты к тому не имел.

А понеже отец мой часто тогда был в воинских походах, а от меня отлучался, того ради приказал ко мне иметь присмотр светлейшему князю Меншикову; и когда я при нем бывал, тогда принужден был обучаться добру, а когда от него был отлучен, тогда вышеупомянутые Вяземский и Нарышкины, видя мою склонность ни к чему иному, только чтоб ханжить и конвeрсацию иметь с попами и чернцами и к ним часто ездить и подливать, а в том мне не токмо претили, но и сами то ж со мною охотно делали.

А понеже они от младенчества моего при мне были, и я обыкл их слушать и бояться и всегда им угодное делать, и они меня больше отводили от отца моего и утешали вышеупомянутыми забавами, и по малу, по малу не токмо дела воинские и прочие от отца моего дела, но и самая его особа зело мне омерзела, и для того всегда желал от него быть в отлучении.

А когда уже было мне приказано в Москве государственное правление в отсутствии отца моего, тогда я, получа свою волю (хотя я и знал, что мне отец мой то правление вручил, приводя меня по себе к наследству), и в большие забавы с попами и чернцами и с другими людьми впал. К тому ж моему не потребному обучению великий помощник мне был Александр Кикин, когда при мне случался. А потом отец мой, милосердуя о мне и хотя меня учинить достойна моего звания, послал меня в чужие края, но и тамо я, уже в возрасте будучи, обычая своего не пременил; и хотя мне бытность моя в чужих краях учинила некоторую пользу, однакож вкорененных во мне вышеписанных не потребств вовсе искоренить не могла».

На второй вопрос: «А что я был безстрашен и не боялся за непослушание от отца своего наказания, и то происходило не от чего иного,

только от моего злонравия (как сам истинно признаю), понеже хотя имел я от отца моего страх, однакож не такой, как надлежит сыну иметь, но только чтоб от него отдалиться и воли его не исполнить, о чем объявляю явную тому здесь причину.

Когда я приехал из чужих краев к отцу моему в Санктпетербурх, тогда принял он меня милостиво и спрашивал, не забыл ли я то, чему учился? На что я сказал, будто не забыл, и он мне приказал к себе принести моего труда чертежи. Но я, опасаяся того, чтобы меня не заставил чертить при себе, понеже бы не умел, умыслил испортить себе правую руку, чтоб невозможно было оною ничего делать, и набив пистоль, взяв в левую руку, стрелил по правой ладони, чтобы пробить пулюю, и хотя пулька миновала руки, однакож порохом больно опалило, а пулька пробила стену в моей каморе, где и ныне видимо. И отец мой видел тогда руку мою опаленную и спрашивал меня о причине, как учинилось. Но я ему тогда сказал иное, а не истину. От чего мочно видеть, что хотя имел страх, но не сыновский».

На третий вопрос: «А для чего я иною дорогою, а не послушанием хотел наследство, то может всяк легко разсудить, что я уже когда от прямой дороги воевое отбился и не хотел ни в чем отцу моему последовать, то каким же было иным образом искать наследства, кроме того, что я делал и хотел оное получить чрез чужую помощь?»

И ежели б до того дошло и цесарь бы начал то производить в дело, как мне обещал, и вооруженной рукою доставить меня короны Российской, то б я тогда, не жалея ничего, достигал наследства, а именно, ежели бы цесарь за то пожелал войск Российских в помощь себе против каком-нибудь своего неприятеля, или бы пожелал великой суммы денег, то б я все по его воле учинил, также министрам его и генералам дал бы великие подарки. А войска его, которые бы мне он дал в помощь, чем бы достигать короны Российской, взял бы я на свое иждивение, и одним словом сказать, ничего бы не жалел, только чтобы исполнить в том свою волю».

На что рассчитывал царевич, рассказывая Толстому сокровеннейшие тайны и замыслы, которыми он не делился даже с Евфросиньей? Вряд ли на милосердие отца, ибо рассказанное сыном достойно было смертной казни. К тому же отец излагал вопросные пункты царевичу, не имея в виду что-либо менять в давно принятом решении^[19]. Им двигало скорее любопытство, желание узнать причины непослушания и ненависти сына, не остановившегося даже перед изменой родине. Со стороны царевича ответы выглядят именно исповедью — исповедью верующего человека, не пожелавшего вместе с собой унести в могилу свои земные грехи.

24 июня 1718 года Верховный суд, состоявший из министров,

сенаторов, военных и гражданских чинов в количестве 127 человек, вынес свое решение. «Единогласно и без всякого прекословия» суд приговорил, «что он, царевич Алексей, за вышеобъявленные все вины свои и преступления главные против государя и отца своего, яко сын и подданный его величества, достоин смерти».

Составители приговора не оставили без внимания и неоднократно прозвучавшее обещание отца простить сына. «И хотя его царское величество, — говорилось в документе, — милосердствуя о нем, сыне своем, родительски, при данной ему на приезде с повинною на Москве в Столовой палате 3 числа февраля аудиенции обещал прощения и во всех его преступлениях, однакож то учинить изволил пред всеми с таким ясным выговором, что ежели он, царевич, все то, что он по то число противного против его величества делал или умышлял и о всех особах, которые ему в том были советниками и сообщниками, или о том ведали, без всякой утайки объявит; а ежели что или кого-нибудь утаит, то обещанное прощение не будет ему в прощение, что он по видимому тогда принял с благодарными слезами, обещал клятвенно все без утайки объявить, и то потом и крестным и святого Евангелия целованием в Соборной церкви утвердил». Однако царевич в повинном письме «ответствовал весьма неправдиво и не токмо многие особы, но и главнейшие дела и преступления, а особливо умысл свой бунтовный против отца и государя своего и намеренный с давних лет подыск и проиыскивание к престолу отеческому, и при животе его чрез разные коварные вымыслы и притворы, и надежду на чернь, и желание отца и государя своего скорой кончины, о чем все потом по розыскам явилось... утаил».

Впрочем, как уточнялось в заключительной части приговора, министры и сенаторы подвергали «сей наш приговор и осуждение в самодержавную власть, волю и милосердное рассмотрение его царского величества все милостивейшего нашего монарха».

Сопоставим два важнейших документа по делу царевича Алексея: Манифест от 5 марта 1718 года о бывшей царице Евдокии и приговор министров, сенаторов, генералитета и других светских лиц от 24 июня того же года. Несмотря на то, что они имеют несхожие названия, в главном они были близки друг к другу, поскольку преследовали одинаковую цель: опорочить царевича и его мать, показать их вину, достойную самого сурового осуждения и наказания. Но в отличие от Манифеста, в котором наряду с инокиней Еленой упоминается множество лиц, так или иначе причастных к ее делу, начиная с ростовского епископа Досифея и капитана Глебова и кончая монахинями, находившимися в ее услужении и

крылошанками, приговор сосредоточил внимание на одном царевиче. В нем не названо ни одной фамилии, причастной к его делу, не приведено доказательств его виновности, не использованы показания лиц, допрошенных во время розысков. Содержание приговора свидетельствует об отказе Петра от гласного расследования дела, то есть от ссылок на показания лиц, изобличавшие проступки наследника престола. Отсюда вытекает вывод, что царь, затеяв гласный процесс, не рассчитывал на то, что к нему окажутся причастными множество лиц, в том числе титулованных, таких как князья Я. Ф. и В. В. Долгорукие, фельдмаршал М.М.Долгорукий, Д.М.Голицын, Семен Щербатов и др. Такое количество людей, привлеченных к следствию (или хотя бы публично упомянутых в связи со следствием), наносило ущерб репутации абсолютного монарха не только внутри страны, но и за ее пределами. Поэтому-то Петр и считал нецелесообразным увеличивать число лиц, привлеченных к розыску.

В связи со следствием по делу царевича Алексея возникло несколько легенд. Одна из них имеет отношение к фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметеву. Его подпись отсутствует среди 127 подписей под приговором, хотя должна была стоять там по крайней мере четвертой, а быть может, и второй — сразу вслед за подписью Меншикова. (Первым подписал смертный приговор светлейший князь Меншиков, за ним следуют генерал-адмирал граф Апраксин, канцлер граф Головкин, тайный советник князь Яков Долгорукий и прочие вельможи, военные и гражданские чины по нисходящей. Последним поставил свою подпись «Московский губернии вице-губернатор Василий Ершов».) Почему же нет подписи фельдмаршала Шереметева? Известный историк и публицист второй половины XVIII века князь М. М. Щербатов привел следующий ответ фельдмаршала, проживавшего в Москве, на повеление Петра прибыть в новую столицу для суда над царевичем: «Служить своим государям, а не судить его кровь, моя есть должность». Добавим к этому, что царь был глубоко убежден в том, что в его ссоре с сыном старый фельдмаршал симпатизировал царевичу. Тем более что Петру было известно о давних приятельских отношениях фельдмаршала с Василием Владимировичем Долгоруким, которому грозило наказание.

И все же есть веские основания усомниться в правдоподобности слов, вложенных Щербатовым в уста Шереметеву. Дело в том, что, когда в Петербурге решалась судьба царевича Алексея, Борис Петрович был прикован тяжелой болезнью к постели. Царь же склонен был объяснять отсутствие Шереметева в Петербурге не болезнью, а симуляцией, и эти подозрения лишали Бориса Петровича душевного покоя и омрачали

последние месяцы его жизни. К тяжелой болезни прибавились одиночество, чувство обиды и страха перед царем. 14 июня 1718 года Шереметев отправил два письма: одно царю, другое Меншикову. Почти одинаковыми словами он описывал свою болезнь, которая «час от часу круче умножается — ни встать, ни ходить не могу, и опухоль на ногах моих такая стала, что видеть страшно и доходит уже до самого живота, и по видимому сия моя болезнь знатно, что уже ко окончанию живота моего». Шереметев сокрушался, что не может выполнить царского указа о приезде в Петербург, и, догадываясь о сомнениях Петра относительно состояния своего здоровья, обращался к нему с просьбой: «...в той моей болезни освидетельствовать, кому в том изволите поверить». Меншикова он тоже просил при случае сказать царю, «...дабы его величество в моем неприбытии не изволил гневу содержать». Обращение Бориса Петровича к царю осталось без ответа. Тогда он отправил письмо кабинет-секретарю Петра А. В. Макарову с уверением, что ему не доставляет радости жизнь в Москве: «Москва так стоит, как вертеп разбойничий — все пусто, только воров множится, и беспрестанно казнят»; если бы он был здоров, уверял фельдмаршал Макарова, то ни в коей мере не пожелал бы «жить в Москве, кроме неволи».

Приговор 24 июня не положил конец мучениям царевича Алексея. Уже на следующий день к нему был послан Скорняков-Писарев — на этот раз спрашивать о тетрадах, найденных у царевича дома. Царевич отвечал, что в те тетради делал он выписки еще в бытность свою в Карлсбаде из «Церковной истории» Цезаря Барония о разных древних событиях, а «в такой образ, что прежде сего как бывало, а ныне не так; а в народе их разсеять не хотел».

Последний застенок был учинен 26 июня. Вот леденящая душу запись в гарнизонной книге Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии:

«По полуночи в восьмом часу начали собираться в гварнизон его величество, светлейший князь (А. Д. Меншиков. — *Н. П.*), Яков Федорович (Долгорукий. — *Н. П.*), Гаврило Иванович (Головкин. — *Н. П.*), Федор Матвеевич (Апраксин. — *Н. П.*), Иван Алексеевич (Мусин-Пушкин. — *Н. П.*), Тихон Никитич (Стрешнев. — *Н. П.*), Петр Андреевич (Толстой. — *Н. П.*), Петр Шафиров, генерал Бутурлин; и учинен застенок; и потом, быв в гварнизоне до 11 часа, разъехались.

Того же числа по полудни в шестом часу, будучи под караулом в Трубецком роскате в гварнизоне, царевич Алексей Петрович преставился».

Тайной было окутано не только следствие по делу царевича, но и его неожиданная гибель. Современникам, включая иностранных дипломатов,

ничего не было ведомо о пытках царевича. Отсюда появление разных толков о причинах его смерти.

Официальная версия, запечатленная в Записной книге Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии, как мы видели, сообщала лишь месяц, число и час смерти царевича, без указания причин, ее вызвавших. Столь же лапидарно сообщено о смерти царевича в «Повседневных записках» князя Меншикова:

«26 июня, то есть в четверг, его светлость в шестом часу по полуночи встал и, убрався, довольно дел отправлять изволил... и... отъехал в крепость, где и его царское величество быть изволил; потом были у царевича Алексея Петровича, который весьма болен, и быв с полчаса, по разговорех разъехались. Его светлость, прибыв в дом свой, изволил кушать с домашними...» В шестом часу пополудни «отъехал к Троице в церковь, где и его царское величество и господа министры и сенаторы были; по отпуске оной разъехались. Его светлость, прибыв в дом свой, лег опочивать. День был при солнечном сиянии, с тихим ветром.

В тот день царевич Алексей Петрович с сего света в вечную жизнь переселился».

Такая скудость информации стала причиной появления различных, зачастую совершенно неправдоподобных, объяснений того, что случилось в Петропавловской крепости.

В первой половине XIX века широкое распространение получила версия, изложенная в неизвестно откуда взявшемся, но ходившем во многих списках письме А. И. Румянцева своему «другу и благодетелю» Дмитрию Ивановичу Титову. Письмо, датированное 27 июля 1718 года, как убедительно доказал опубликовавший его историк Н. Г. Устрялов, является подделкой, сочиненной, как мы полагаем, в славянофильских кругах, где люто ненавидели и самого Петра, и его деяния — в частности, европеизацию России, сдвинувшую страну с ее самобытного пути развития.

Автор подделки, видимо, был историком-любителем и, располагая знанием некоторых исторических реалий, постарался убедить читателей в достоверности письма, приводя мельчайшие подробности, способные создать иллюзию, что о них мог быть осведомлен только участник событий, каким якобы и был автор письма А. И. Румянцев.

Письмо настолько пространно, что ограничимся кратким изложением его сути.

После вынесения царевичу смертного приговора Петр якобы пригласил во дворец «в первом часу по полуночи» ближайших доверенных

лиц (Толстого, Бутурлина, Ушакова, Румянцева) и обратился к ним со следующей речью: «Слуги мои верные, во многих обстоятельствах испытанные! Се час наступил, да великую мне и государству моему услугу сделаете. Оный зловерный Алексей, его же сыном и царевичем срамлюся нарицати, презрев клятву пред Богом данную, скрыл от нас большую часть преступлений и общеников, имея в уме, да сии последние о другом разе ему в скверном умысле на престол наш пригодятся; мы, праведно негодуя за таковое нарушение клятвы, над ним суд нарядили и тамо открыли многие и премногие злодеяния, о коих нам и в помышление придти не могло. Суд тот, якоже и вы все ведаете, праведно творя и на многие законы гражданские и от св. Писания указуя, его, царевича, достойно к понесению смертной казни осудил. Вам ведомо терпение наше о нем и послабление до нынешнего часа, ибо давно уже за свои измены казни учинился достоин. Яко человек и отец, и днесь я болезную о нем сердцем, но яко справедливый государь, на преступления клятвы, на новые измены уже не терпимо и нам бо за всякое несчастье от моего сердлюбия ответ строгий дати Богу, на царство мя помазавшему и на престол Российския державы всадившему. Того ради, слуги мои верные, спешно грядите убо к одру преступного Алексея и казнити его смертию, яко же подобает казнити изменников государю и отечеству.

Не хочу поругать царскую кровь всенародною казнию, но да совершится ей предел тих и неслышно, якобы ему умерша от естества, предназначенного смертию. Идите и исполните, тако бо хочет законный ваш государь и изволит Бог, в его же державе мы все есмы».

После этой речи царя названные выше персоны отправились в Петропавловскую крепость, беспрепятственно проникли в покои царевича, где он безмятежно спал, предварительно удалив его слуг и караульных солдат, разбудили царевича и объявили цель своего появления — «пришли к тебе тот суд исполнить».

Услышав эти слова, царевич «воплъ великий поднял... нача горько плакаться... и хулил его царское величество, нарекая детоубийцею». Сопротивлявшегося изо всех сил царевича силой поставили на колени и без успеха пытались заставить молиться «об отпущении грехов своих». «Он же, не говоря того, руками и ногами прямися и вырваться хотяще». Бутурлин рек за него: «Господи, упокой душу раба твоего Алексея!» «И с сим словом царевича на ложницу спиною повалили и, взяв от возглавья два пуховика, главу его накрыли, пригнетая, донеже движения рук и ног утихли и сердце биться перестало, что сделалося скоро ради его тогдашней немощи; и что он тогда говорил, того никто разобрать не мог, ибо от страха

близкой смерти ему разума помрачение сталося. А как то совершилося, мы паки уложили тело царевича, якобы спящего, и, помолився Богу о душе, тихо вышли».

Одна мысль в этом рассказе заслуживает внимания: царю и в самом деле было крайне невыгодно совершать публично казнь сына. Это вступало в глубокое противоречие с христианской моралью и могло вызвать всеобщее осуждение подданных.

Однако на вопрос о подложности письма это соображение никак не влияет. Подложность письма убедительно доказал академик Н. Г. Устрялов, приведший несколько неоспоримых доказательств. Так, никакого Дмитрия Ивановича Титова, бывшего якобы благодетелем и покровителем А. И. Румянцева, всецело обязанного ему своей карьерой, в природе не существовало. Румянцев пишет в письме о том, что у ближних к царевичу людей якобы обнаружили разные зашитые в платье письма, что и вынудило царя посадить сына в Трубецкой роскат, но это также неверно: причина возобновления розыска, как мы знаем, была в другом. Чухонская девка Евфросинья, по свидетельству автора письма, прибыла в Петербург из Москвы уже после заточения царевича в Петропавловскую крепость; в действительности же она прибыла из Бремена еще 20 апреля. В письме Румянцева есть фраза о том, что царевич в своих посланиях Сенату и архиереям просил их помощи, если он появится в России с войском добывать престол — но подобная просьба в письмах царевича отсутствует. Две неточности связаны с Евфросиньей. По версии автора письма к Титову, она была заточена в монастырь «на вечное покаяние», однако ко времени составления письма (как оно обозначено в нем самом) Евфросинья жила в доме коменданта и, в соответствии с особым распоряжением Петра, пользовалась полной свободой («и куды похочет ехать, отпускал бы ее со своими людьми»). (По некоторым сведениям, Евфросинья позднее вышла замуж за офицера Санкт-Петербургского гарнизона и прожила лет тридцать.) Румянцев в письме утверждает, что «была та девка росту высокого, собою дюжая, толстогубая» и т. д., в то время как современники отмечали ее маленький рост. И наконец, автор письма сообщает о состоявшейся казни Аврама Лопухина и протопопа Якова Игнатьева, но казнь эта в действительности имела место гораздо позже 27 июля 1718 года (дата письма), а именно 8 декабря.

Со своей стороны дополним аргументы Устрялова еще двумя. Во-первых, стиль письма явно не румянцевский. Его следует считать имитацией стиля первой четверти XVIII века, причем выполненной человеком, жившим значительно позже, у которого форма выражения

мыслей существенно отличалась от той, что использовалась в предшествующем столетии. Во-вторых, излагая ответы духовных иерархов на предложение Петра высказать свое мнение о виновности царевича и мере его наказания, автор письма, помимо выдержек из сочинений церковного содержания, ссылается на Уложение 1649 года, а этого в подлинном ответе духовных иерархов Петру нет.

Итак, версия мнимого Румянцева, согласно которой царевич был задушен по повелению царя подушками, не имеет под собой оснований.

Н. Г. Устрялов приводит и другие версии современников, столь же далекие от истины.

Ганноверский резидент Вебер так описал подробности смерти царевича:

Рано утром в четверг 7 июля (26 июня по старому стилю) «его царское величество получил донесение, что чувствительное душевное потрясение и страх смерти причинил царевичу сильный апоплексический удар. В полдень второй гонец принес известие, что жизнь царевича в опасности, вследствие чего его величество созвал важнейших придворных членов и держал их всех у себя до тех пор, пока третий гонец не принес весть, что царевич безнадежен, не переживет вечера, почему и желал бы видеть и в последний раз говорить с государем, отцом своим.

Его величество отправился поэтому со всем высоким обществом к находившемуся в агонии царевичу, который, завидев государя-отца в слезах и простирая к царю свои руки, говорил, что он тяжко и дерзко согрешил против Бога и его величества, что он не надеется на выздоровление и что, если ему суждено умереть, то так тому и быть, ибо он не достоин жизни, но все-таки он умоляет его величество, ради Бога, снять с него проклятие, которое царь наложил на него в Москве, дать ему свое отцовское благословение и молиться за его грешную душу. Во время этой трогательной речи его величество и все бывшее с ним общество плакали не переставая; затем в ответ на слезную речь сына царь в патетических, но кратких словах высказывал ему все его против его величества преступления и в заключение простил ему все; дал ему свое благословение и расстался с ним при громких рыданиях и обильных словах с обеих сторон.

Вечером, в 5 часов, явился четвертый гонец (майор лейб-гвардии Ушаков) с донесением, что царевич молится об исполнении последнего его желания: еще раз поговорить с государем, отцом своим, на что его величество не решился было, но затем, когда ему представили, что следовало бы уважать эту последнюю просьбу, что он не может отказать в

таким утешении борящемся со смертью и, может быть, не помирившемся еще со своею совестью царевичу, царь уступил; но только что он вошел было в шлюпку, чтобы отправиться к сыну, как явился пятый гонец с известием, что царевич отдал свою душу Богу».

Вебер не сообщает, откуда он почерпнул все эти сентиментальные подробности. Скорее всего они явились плодом его пылкого воображения, ибо официальный источник, регистрировавший присутствие царя в Петропавловской крепости, ни словом не обмолвился о присутствии Петра в каземате, где находился царевич, за несколько часов до его кончины.

Цесарский резидент Плейер изложил две несхожих друг с другом версии смерти царевича. В донесении, отправленном по почте, Плейер, знавший о перлюстрации писем иностранных дипломатов Посольской канцелярией, извещал цесаря, что царевич после прочтения смертного приговора пришел в такой ужас, что с ним случился удар и «в прошедшую пятницу (27 июня. — *Н. П.*) рано утром он скончался». В тот же день было празднование Полтавской победы, продолжавшееся до семи часов вечера. Тело с покойным из крепости было перенесено в церковь, где гроб простоял три дня, так что «каждый мог видеть умершего и целовать ему руку».

Совсем не то сообщалось в другом письме, отправленном Плейером в Вену по своим каналам. В нем Плейер сообщал, что не рискнул в обычной депеше изложить истинные причины смерти царевича, опасаясь преследования русских. На самом же деле, доносил он, «кронпринц скончался не 8-го числа (то есть не 27 июня. — *Н. П.*) рано в пятницу, как вообще говорили, а накануне, около 8 часов вечера, и не от естественного удара, как распространяли слух: при дворе и в народе, также между иностранцами носится тайная молва, что он погиб от меча или топора. Это мнение подтверждается многими обстоятельствами: достоверно, что о болезни его не было слышно и накануне его пытали; в день смерти было у него высшее духовенство и князь Меншиков; в крепость никого не пускали и пред вечером ее заперли... Труп кронпринца положен в простой гроб из плохих досок, голова была несколько прикрыта, а шея обвязана платком со складками, как бы для бритья. Царь на другой день и после был очень весел. Семейство Меншикова в тот же вечер заметно радовалось, и тогда же благодарили Бога в церкви. Чужестранным министрам Меншиков объявил, что царевич умер как преступник, но царица обнаружила большую печаль и горесть».

Голландский резидент де Би тоже был склонен считать, что царевич скончался насильственной смертью, а именно от растворения жил, о чем и

уведомил Генеральные штаты своей страны. В том же письме резидент писал, что младший сын царя, царевич Петр Петрович, объявленный наследником, слаб, болезнен и не обещает долгой жизни. Это донесение, вскрытое в Почтовой конторе, вызвало гнев российских властей, и дело едва не закончилось арестом и высылкой де Би из России.

Вызванный в Посольскую канцелярию и допрошенный, де Би признался, что сведения о смерти царевича ему сообщила повивальная бабка его беременной жены Мария фон Гуссе. Уже на следующий день и она сама, и ее дочь, и зять, голландский плотник Герман Более, были арестованы и допрошены.

Мария фон Гуссе на допросе показала: «У резидентовой жены была она в воскресенье пополудни, 29 июня, по смерти принца; и с нею резидентова жена, разговаривая, между прочим сказала: "Принц де умер". Она отвечала: "Я уповаю, что Бог душу его принял; чаю, он прошедшего четверга был болен, потому что никому мимо ходить позволено не было". Резидентова жена на то сказала: "Скоро это сделалось"». Дочь же Марии, Элизабет Гелдорп, жаловалась, «что повара и челядинцы принцовы в доме ее были, поварню по повелению коменданта отняли и она в тот день не видала, что есть готовили, также чтобы яства выносили».

То же подтвердила сама Элизабет Гелдорп: «С резидентом или с женою его отроду ни слова не говаривала и никогда в доме их не бывала... Принцевы повара у нее в доме 13 дней кушанье готовили. С матерью своею она говорила: "Может быть, принц очень болен, потому что никого не пропускают". Караул стоял против ее дверей близ застенка... В пятницу поутру около 8 часов она впервые о смерти принца слышала... У нее в доме в четверг, в обед и ввечеру, есть готовили и выносили, но кто ел, она не знает; мать ее, видя, что кушанья назад принесены, спросила: "Что за ествы?" Она отвечала: "Со стола принца принесены". В пятницу поутру пекли у нее в доме пироги, и сказал ей хлебник, что пироги печены для поминания: "Принц умер"...»

Смысл этих показаний состоял в том, что царевич был до 26 июня здоров, принимал пищу, а пополудни приготовленная еда не понадобилась. Это и послужило причиной толков о внезапной и насильственной смерти царевича.

Генрих Брюс, иноземец на русской службе, современник и участник событий, изложил в своих «Записках» (изданных в 1782 году на английском языке) отличную от всех версию смерти царевича. Маршал Вейде якобы поручил ему, Генриху Брюсу, отправиться к аптекарю Беру и объявить ему, что заказанное питье для царевича должно быть «крепко, потому что

царевич очень болен». «Услышав от меня такое приказание, Бер побледнел, затрепетал и был в большом замешательстве. Я так удивился, что спросил его, что с ним сделалось. Он ничего не мог ответить». Между тем пришел сам маршал Вейде, и аптекарь вручил ему снадобье в серебряном стакане с крышкою. Маршал, шатаясь, подобно пьяному, отправился со стаканом в каземат, где находились царевич и царь с приближенными. Маршал приказал Брюсу быть в комнате царевича и сообщить ему немедленно, если обнаружатся какие-либо перемены в состоянии больного. Здесь же дежурили два врача. Сам Брюс с караульным офицером и врачами обедал за столом, предназначенным для царевича. Вдруг врачи были позваны к царевичу: он корчился в жестоких конвульсиях. Обо всем тотчас было доложено царю.

По Генриху Брюсу, выходит, что царевич был отравлен. Его тело положили в обитый черным бархатом гроб, причем внутренности из трупа предварительно вынули.

Наконец, еще одна версия произошедшего изложена издателем дипломатических актов XVIII столетия Ламберти. Акты эти опубликованы были в 1734 году. Ламберти, со слов некоего знатного русского, сообщил, что царь сам отрубил голову сыну, причем голова была так ловко приставлена к шее, что присутствовавшие на похоронах царевича ничего не заметили.

Итак, перед читателем предстает множество версий смерти царевича. Иначе и не могло быть — смерть царевича была окутана глубокой тайной, вынуждавшей современников и потомков гадать о ее причине. Тем более трудно высказать свое суждение историку спустя почти три столетия после события. Ему тоже остается гадать, опираясь на скудный ряд достоверных источников.

Начнем с того, что казнь сына — а она, по обычаю того времени, могла быть только публичной — была крайне невыгодна для репутации отца: в глазах современников он выглядел бы детоубийцей. Царь мог игнорировать смертный приговор светских чинов, помиловать сына, сохранив ему жизнь и определив его дальнейшую судьбу по одному из трех возможных сценариев: либо заточить в монастырь, либо разрешить ему жениться на Евфросинье и вести жизнь частного человека, как он и обещал, когда царевич находился в Неаполе, либо, наконец, содержать в Шлиссельбургской или Петропавловской крепости. Но Петр, в результате следствия выяснив острое желание сына владеть короной, знал, что обещания и клятвы ничего не стоят, и не мог допустить, чтобы царевич получил возможность — хотя бы и через клятвопреступление —

наследовать трон. Петра более устраивал мертвый сын, нежели живой, пусть и с готовностью соглашавшийся навсегда отречься от престола в пользу младшего брата, трехлетнего царевича Петра. Подобную мысль высказал голландский резидент де Би, который «всегда думал, что если низложенный царевич переживет его величество, то он, невзирая на отречение свое, на клятву, на распоряжения и проклятия отца, будет стремиться к овладению престолом и, найдя многочисленных приверженцев, возбудит в целой стране смуты, со всеми их кровавыми ужасами».

Обратимся к последним дням Петербургского розыска, когда царевич был заточен в Трубецкой рощат Петропавловской крепости и подвергался пыткам. Вряд ли до начала пыток царевич чувствовал себя нормально — несомненно, он и морально, и физически пребывал в угнетенном состоянии. Более того, ему нетрудно было догадаться, какая мера наказания ожидает его после завершения следствия. Если в его сознании и теплилась слабая надежда на сохранение жизни, то ее похоронили пытки и чтение приговора светских чинов.

Надобно отметить, что пытки не слишком обогатили следствие дополнительными сведениями. Царевича спрашивали: не наклепал ли он в своих предшествующих показаниях лишнего на Вяземского, Долгорукого, Семена Нарышкина, царицу Марию Алексеевну, Шереметева и других? Он же, зная о том, что отказ от прежних показаний повлечет новые пытки, в пыточной речи 19 июня 1718 года показал: «На кого де он в прежних своих повинных написал и пред сенаторами сказал, то все правда, и ни на кого не затеял и никого не утаил». Ему была дана максимальная норма истязаний для первого дня пыток — 25 ударов. Несомненно, это сильно отразилось на его здоровье.

Обычно после такого количества ударов истерзанному перед очередной пыткой предоставляли семь — десять дней, чтобы прийти в себя и хоть как-то залечить нанесенные раны. Царевича же пытали повторно через пять дней, причем нанесли ему не шесть — девять, а пятнадцать ударов.

Обезумев от истязаний, царевич стал наговаривать не на других, а на себя. Вот пример. Ему был задан вопрос: «На митрополита Киевского: что письмо к нему писал и послал ли из крепости. И что еще больше с ним чинил?» Царевич при повторной пытке показал: «К Киевскому митрополиту он писал, чтоб тем привести к возмущению тамошний народ; а дошло ль оно до его рук, не знает, и писем от него, митрополита, к нему в побеге его не бывывало, и он больше к нему и ни к кому, будучи в бегах, не

писывал, и к нему ни от кого не бывало». Между тем, как упоминалось выше, ни киевский митрополит, ни архимандрит Киево-Печерского монастыря не были причастны к побегу.

Вероятнее всего, смерть царевича стала совокупным итогом выпавших на его долю тяжелых испытаний — следствия, обнаружившего утайку им многих поступков и разговоров, пыток, чтения приговора. Он и прежде не отличался богатырским здоровьем. Допросы и истязания сделали свое дело — в буквальном смысле убили его.

Смерть царевича случилась в канун знаменательного дня, ежегодно отмечаемого праздника, возведенного в ранг государственного, — годовщины Полтавской виктории, случившейся, как известно, 27 июня 1709 года. Царю опять пришлось решать непростую задачу — объявить траур в связи со смертью сына или же сделать вид, что ничего существенного не произошло, и праздновать день победы над шведами, как обычно: с пиршеством, обильными возлияниями, танцами и фейерверками. Царь избрал второй вариант.

«Смерть эта, — читаем в донесении француза де Лави, — не помешала отпраздновать на следующий день с обычным торжеством годовщину Полтавской битвы, знаменитого поражения шведов, послужившего началом их упадка и величия царя; по этому случаю в Почтовом доме был великолепный обед и бал».

В «Поденных записках» князя А. Д. Меншикова также описаны события этого дня: «В 27-й день, в пяток, его светлость поехал к генералу-адмиралу Апраксину, купно прибыли к Троице, где и его царское величество быть изволил, которого поздравляли бывшею под Полтавою баталиею; слушали литургию, по отпуске оной его царское величество и его светлость и прочие господа офицеры вышли в строй и дан был по батальонам залп, между тем с болверков палили из пушек; потом прибыли на Почтовый двор, где учреждены были столы и, по малых разговорах, кушали; после кушанья прибыли в сад его царского величества, где довольно веселились; потом в 12-м часу разъехались по домам».

29 июня в России праздновали день первоверховных апостолов Петра и Павла — день тезоименитства царя. По этому случаю также устроили празднество. В гарнизонном журнале, регистрировавшем важнейшие события в жизни столицы, читаем: «Того ж числа по полудни в 7-м часу спущен в Адмиралтействе новопостроенный корабль, именуемый "Лесной", который построен его величеством собственным тщанием, где изволил быть и его величество и прочие господа сенаторы и министры, и веселились довольно».

«Все весело пили и пировали, — сообщает о событиях этого дня резидент Плейер, — ночью сожжен на берегу фейерверк, и общее веселие продолжалось до двух часов за полночь. При этом случае спрашивали чужестранные министры: будет ли объявлен им траур? Им отвечали: никакого траура не будет, потому что царевич умер как преступник».

Плейер сообщал в Вену о том, что царевич был похоронен «в простом гробе из плохих досок». Однако это была неправда, попытка ввести собственное правительство в заблуждение. В действительности, царевича хоронили с почестями, положенными представителю царствующего дома. Но при этом траур в стране объявлен не был! Двор во главе с царем вел себя так, будто тело царевича не лежало в Троицкой церкви. Что ж, в истории с похоронами царевича тоже немало загадок и противоречий.

Согласно данным расходной книги Тайной канцелярии, на сооружение гроба в общей сложности было издержано 207 рублей (сумма везде округлена), в том числе за 14 аршин черного бархата издержано 39 рублей, за 8 аршин парчи золотой — 104 рубля, за 10 аршин сукна черного — 18 рублей, за 3 фунта серебряного позумента да 12 аршин белой камки — 8 рублей, за штуку голландского полотна — 18 рублей. Итого 196 рублей. Кроме того, в расходную книгу внесены мелочные расходы: на приобретение скоб, гвоздей, ладана, свечей, а также столярам за работу — 11 рублей.

Примерно такая же сумма была издержана на оплату участвовавшим в похоронах царевича церковнослужителям: архиереям, епископам, архимандритам, иеромонахам, иеродиаконам, протодиаконам, приходским священникам, протопопам, диаконам, архиерейским певчим и пр. Всего в церемонии участвовали свыше 150 человек, им уплачено 207 рублей. Размер оплаты зависел от сана и должности, занимаемой тем или иным лицом. Так, рязанскому митрополиту было уплачено 15 рублей, а остальным семи — по 7 рублей каждому. Протодиаконам, приходским священникам общей численностью 37 человек причиталось по одному рублю; восемнадцати патриаршим певчим — по полтиннику, двадцати девяти псаломщикам и того меньше — по гривне.

Похороны совершались не за счет сумм государственного бюджета, а за счет денег, конфискованных у Кикина.

Историки располагают подробным описанием церемонии похорон, которое приведено в «Записке о преставлении и погребении царевича Алексея Петровича».

27 июня тело царевича положили в обитый черным бархатом гроб, который был установлен в деревянных хоромах Петропавловской крепости;

«и читали над оным соборные священники попеременно Псалтырь». На следующий день гроб с телом был перенесен в Троицкую церковь. На выносе присутствовали архимандриты и священники во главе с епископом Корельским и Ладожским Аароном. Светские чины были представлены канцлером Головкиным и двумя деятелями Тайной канцелярии — майором Ушаковым и капитан-поручиком Скорняковым-Писаревым. При гробе стояли по два гвардейских сержанта, и «дозволено было всякого чина людям, кто желал, приходить ко гробу его царевичеву, и видеть тело его, и со оным прощаться».

Сами похороны состоялись 30 июня. В этот день царским указом велено было «всем бывшим в С.-Питербурхе архиереям, епископам, архимандритам и прочим духовного чина от всех церквей священникам с причетники, також всем господам генерал-фельдмаршалу и кавалеру светлейшему князю Александру Даниловичу Меншикову, и министрам, и сенаторам, и генералам, губернаторам, вице-губернаторам и от лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков и гарнизонным штаб-и обер-офицерам и С.-Питербурхским жителям и всем приезжим знатным, стольникам, стряпчим, дворянам, ландрихтерам и ландратам и дьякам и с дамами, чтоб были к погребению тела его, царевичева, пополудни в четыре часа, и съезжались к Троицкой церкви, и ожидали прибытия его царского величества. И вышепомянутые персоны того числа по четырех часах к Троицкой церкви съехались. А пополудни в 7-м часу изволили в Троицкую церковь прийти царское величество и потом ея величество государыня царица Екатерина Алексеевна».

По прибытии царской четы было совершено надгробное пение. Затем царь и царица «соизволили с телом царевичевым проститься и оно целовали», а вслед за ними целовали руку сына царя знатные персоны. После этого началось шествие из Троицкой церкви к Соборной церкви Петра и Павла, расположенной в Петропавловской крепости, «ко уготовленному к погребения онаго месту».

«Записка» приводит порядок шествия: впереди несли святую икону, за нею следовали певчие, за ними священники, иеромонахи, архимандриты и архиереи, перед гробом шли протодиаконы и диаконы и кадили. Непосредственно за гробом шествовал царь, а за ним — Меншиков, министры, сенаторы и «прочие персоны». После них «изволила идти ее величество государыня царица, а за ее величеством госпожи вышеписанных знатных персон жены». «Со обыкновенным пением и молитвами» тело царевича положили в соборе рядом с телом его супруги. «И потом по указу его царского величества духовные персоны все и

знатные мирские званы в помянутые хоромы... и довольствованы в поминование оного обыкновенным столом, а духовные особы и деньгами, а потом разъехались».

Через месяц после смерти царевича Петр, находясь в Ревеле, отправил Екатерине письмо загадочного содержания, смысл которого трудно уяснить: «Что приказывала с Макаровым, что покойник нечто открыл, (расскажу) когда Бог изволит вас видеть; я здесь услышал такую диковинку про него, что чуть не пуще всего, что явно явилось». Что за «диковинку» довелось услышать царю в Ревеле? Не подразумевались ли под «диковинкой» полученные царем сведения о том, что Алексей предпринимал шаги к бегству из Неаполя в Швецию с намерением добывать престол при помощи войск Карла XII? Едва ли что-нибудь еще могло быть названо «пуще всего, что явно явилось» в ходе следствия. Догадка эта подтверждается донесением барона Гертца, руководителя шведской делегации на Аландском конгрессе, в котором он сетовал на то, что с отдачей царевича Алексея Толстому и Румянцеву упущена возможность заключить выгодный мир с Россией^[20].

Было бы ошибкой рассматривать столкновение между Петром и Алексеем только как семейную трагедию, порожденную различиями в темпераменте, складе характера, духовном облике отца и сына. Суть непримиримых противоречий состояла даже не в том, что Алексей, одолеваемый честолюбием, не брезговал никакими средствами, чтобы овладеть престолом. Все это, разумеется, имело значение, создавало во взаимоотношениях накаленную атмосферу. Но в данном случае друг другу противостояли две концепции настоящего и будущего России: одну из них претворял в жизнь отец, другую, диаметрально противоположную, намеревался осуществлять сын, как только окажется у власти. Ставки были велики, а дороги расходились круто. Как дальше пойдет Россия, по пути ли преобразований, которые выводили ее в число могущественных стран Европы, или по пути все большего отставания?

Нетрудно, наконец, обнаружить в конфликте между отцом и сыном столкновение двух представлений о роли монарха в государстве. Отец считал себя слугой государства, отдавал этой службе все силы и способности, «не жалел живота своего», в то время как сын готов был довольствоваться пассивной ролью «помазанника Божия», не обременявшего себя трудом, ратными подвигами, инициативой и активным участием в управлении государством.

Энергичному, не знавшему покоя, настойчивому в достижении поставленных целей отцу противостоял сын, ни о чем с таким вожделием

не мечтавший, как о спокойной, лишенной забот и тревог жизни, склонный, выражаясь современным языком, к «обломовщине».

Смерть Алексея не разрешила столь волновавший царя вопрос о престолонаследии. Спустя год, в 1719 году, не стало и «шишечки», как ласково называли царь и царица болезненного четырехлетнего сына Петра — царевича Петра Петровича. Петр тяжело переживал эту утрату, ибо, как записал современник, «по мнению многих, царица, вследствие полноты, вряд ли в состоянии будет родить другого царевича». Так Петр остался без прямых наследников.

Лишение сына права наследовать престол царь объяснял отсутствием у того качеств государственного деятеля, нежеланием участвовать в делах управления и овладевать навыками, необходимыми государственному мужу. Но причина лишения сына прав на наследство лежала значительно глубже. Вряд ли Петр не знал об отсутствии свойств государственного деятеля у своей неграмотной супруги, когда затеял в 1724 году ее коронацию с целью закрепить за нею право наследовать престол. Он надеялся на своих соратников, у которых сердобольная Екатерина пользовалась уважением и которые, как он надеялся, поведут государственный корабль по намеченному им курсу преобразований.

Вряд ли Петр Великий мог предположить, что через полтора с небольшим десятилетия после его кончины на троне окажется его красавица-дочь Елизавета, тоже лишенная способностей государственного деятеля и смотревшая на трон как на источник удовольствий, которые она видела в балах, маскарадах, охотничьих вылазках и неукротимой заботе о нарядах и своей внешности. Соратники Петра покоились в земле, но Елизавета Петровна, совершая дворцовый переворот, клялась продолжать дело отца. Практически курс Петра продолжала бюрократия.

Затруднительно обнаружить качества государственного деятеля у царя-отрока, скончавшегося не достигнув 15-летнего возраста, — императора Петра II, или у мстительной и жестокой племянницы Петра Великого Анны Иоанновны. При них, как и при Екатерине I и Елизавете Петровне, страной правили фавориты и бюрократия, продолжавшие курс, намеченный великим преобразователем.

Иное дело — Алексей Петрович, в котором отец видел не продолжателя, а противника всех его преобразовательных начинаний. Следствие по делу царевича вскрыло его намерение отказаться от преобразований, повернуть страну вспять, восстановить старомосковские порядки, предать опале соратников Петра, вернуть шведам завоеванные земли, отказаться от флота и ориентироваться на тех, «кто любит старину».

Все это дает основание возвести семейную трагедию, связанную с делом царевича Алексея, в ранг государственной.

Дело царевича Алексея всегда вызывало исключаящие друг друга оценки: одни осуждали поступок Петра, другие его оправдывали. Думается, обе точки зрения имеют право на существование, ибо разноречивость суждений объясняется разными критериями, положенными в их основу. Осуждение поступка Петра базируется на общечеловеческой мерке. В этом плане и самому царю вряд ли удалось примириться с собой, ибо он нарушил несколько раз повторенное обещание сохранить жизнь сыну, разрешить ему жениться на Евфросинье и т. д., если он возвратится в Россию. Беглец возвратился, и начавшееся следствие вскрыло его далеко идущие предательские планы. Но отец, считают сторонники этой точки зрения, должен был простить все, даже самые тяжкие прегрешения сына — на то он и отец. Петр же не то что не простил сына — он лично присутствовал в пыточной камере, и страшные мучения сына не смягчили его сердце. На следующий день после смерти сына от этих жестоких истязаний он устроил роскошный обед и бал в честь Полтавской виктории. Здесь в полной мере Петр проявил свою жестокость, впрочем, обнаруживаемую им и во многих других случаях.

Другая точка зрения исходит из того, что Петр в данной ситуации выступал не только в роли отца, но и во второй своей ипостаси — государя, чья жизнь и деятельность не на словах, а на деле, в большом и малом были подчинены служению государству, заботе об общем благе подданных. Петр имел моральное право не жалеть своего непутевого сына, если он не жалел собственного живота. Даже историк второй половины XIX века М. П. Погодин, не будучи представителем государственной школы в историографии, описывая жестокий поступок царя, в конечном счете признал, что лишь малую толику времени он проводил в застенках Преображенского приказа и Тайной канцелярии — неизмеримо больше времени Петр отдавал заботам о благе России и своих подданных.

В сознании царя судьба сына в конечном счете трансформировалась в судьбу преобразований. Петр не сомневался, что всё им содеянное, чему он вместе с народом отдал талант и энергию лучших лет своей жизни, с воцарением сына пойдет прахом и страна вновь превратится в Московию, в захолустье Европы, чем она и была до начала его преобразований. Судьба сына или судьба страны — таков был у царя выбор, и он его сделал. Читатель может принять этот выбор, равным образом как и оспорить его.

Розыск в Петербурге продолжался и после кончины царевича и вынесения приговора лицам, причастным к его делу. Хотя смысл в его продолжении отсутствовал, но такова природа работы бюрократического механизма, руководствовавшегося не рационалистическими, а чисто формальными соображениями: начатое дело необходимо довести до конца. К таким делам относится розыск Аврама Лопухина, родного брата бывшей царицы Евдокии Федоровны.

Петр и Тайная канцелярия явно переоценивали интеллектуальные способности Аврама, надеясь извлечь из него ценные сведения как об организации побега царевича, так и о его связях с сестрой, монахиней Еленой.

Лопухин был взят под стражу по предложению Скорнякова-Писарева, обнаружившего в Суздале его переписку с сестрой, еще 14 февраля 1718 года. Однако надежды следователей не оправдались: Лопухин не был причастен к главному преступлению — побегу царевича. Из его следственного дела явствует, что это был ординарный человек, оказавшийся, к счастью бывшей царицы, сердобольным и милосердным настолько, что с риском для себя готов был оказывать ей моральную и материальную помощь: он утешал ее в письмах, сообщал новости, касавшиеся судьбы ее сына царевича Алексея, посылал ей продукты и деньги.

Опытные следователи Тайной канцелярии предъявили ему 28 февраля 22 вопроса, значительная часть которых касалась его связей с сестрой. Из содержания некоторых вопросов явствует, что они возникли у следователей в связи с изучением показаний других подследственных.

Первые три вопроса касались бегства царевича: знал ли Лопухин о побеге царевича и давно ли советовался с ним или с кем-либо другим; были ли между ними письма, чрез кого пересылались и что в них было написано; когда царевич был в бегах, писал ли он письма в Цесарию, чрез кого посылал и каково было их содержание?

На все три вопроса Лопухин дал отрицательный ответ: «О побеге царевича не ведаю, ни от кого о том не слыхал, писем от него никогда не бывало». Четвертый вопрос был задан в лоб и носил конкретный характер: «С резидентом цесарским обхождение ты имел ли и ныне имеешь ли, буде имел, то чрез кого, каких писем не посылал ли, понеже он, резидент, сказывал, что ты чрез него письма посылывал, то подробно сказать, о чем

писанные».

Лопухин категорически отрицал не только посредничество австрийского резидента Отто Плейера в отправке писем в австрийские владения, но и знакомство с ним: «Он с ним незнаком, у него не бывал, а резидент у него, Лопухина, тоже не бывал». Лопухин лишь признал, что о побеге ему сообщил Иван Большой Афанасьев недель через пять-шесть после своего возвращения из Померании. Лопухин спросил у Афанасьева: «Где царевич обретается?» Получил ответ: «Обретается в Тироле». Лопухину хотелось знать подробности, и по наивности он задал вопрос: «Скажи де для Бога, с кем он об этом думал?» От прямого ответа Афанасьев уклонился и «будто смехом сказал: "Мы де ево это намерение ведали"».

Особый интерес следствие проявило к отношению Лопухина с Глебовым: «Ведал ли, что Глебов с сестрой жил блудно? Ведал ли о возмутительных письмах, вынутых у Глебова?» Аврам ответил: о блудной жизни Глебова с сестрой он не ведал, но «сестра де ево об нем, Степане, к нему, Авраму, писала, чтоб он к нему был добр, и он де к нему не токмо добр был, но и не любил ево». Далее Аврам явно запутался, ибо его показания приходят в противоречие с прежним заявлением о неосведомленности относительно блудных связей Глебова с сестрой: «Архиерей де Ростовский Досифей, как он был в Спасском монастыре архимандритом, приезжал к нему в Москву, когда он, Глебов, был у набору рекрут в Суздале, и говорил ему: "Умилосердствуй как-нибудь и зделай, чтоб ему, Степану, там не быть, понеже де блюдуся от него пакости". И он де о том был в великом сумнении».

Самое тяжкое обвинение Лопухина, вскрытое во время первого Суздальского розыска, касалось его осуждения правительственной политики, сопровождавшейся усилением «тяготы народной», произволом губернской администрации. Обвинения Лопухин признал, но заявил: «То де казал в беспамятстве своем и великом страхе и ужасе».

Вместе с некоторыми другими колодниками Лопухин был доставлен в Петербург для продолжения розыска. Он принадлежал к числу тех обвиняемых, которых подвергали пытке дважды и в связи с разными розысками — первым Суздальским, Московскими и Петербургским. Аврам не выдерживал истязаний, признавал вину, а после того, как приходил в себя, отрекался от показаний, заявляя, «что де говорил в беспамятстве и страхе». Так, во время повторного допроса в Петербурге он отрицал знакомство с Плейером, а после пытки, когда ему был нанесен 21 удар, признался, что спрашивал у резидента: «Где ныне царевич, не у вас ли?» И,

получив подтверждение: «У нас, в Цесарии», добавил: «Чаю, царевича не оставят там; а у нас многие тужат об нем, и не без замешания будет в народе».

Авраму Лопухину Сенат вынес суровый приговор: за то, «что он желал по злонамерению своему государю смерти и спрашивал росстригу Демида (бывшего епископа Досифея. — *Н. П.*), будет ли сестра ево с сыном своим царствовать, и что царевич бежал, то хвалил, и за тайную корреспонденцию з бывшей царицей и с царевной Марьей Алексеевной рассуждал противно власти монаршеской и делам его величества, и за другие вины казнить смертью».

Казни приговоренных по делу царевича Алексея были совершены 8 декабря 1718 года у церкви Святой Троицы на въезде в Дворянскую слободу. Были отрублены головы Авраму Лопухину, дьяку Воронову, бывшему протопопу Якову Игнатьеву, Ивану Большому Афанасьеву, Федору Дубровскому. Головы выставлены на каменном столбе на железных спицах, а тела — на колесах близ Съестного рынка, за кронверком. Тут они оставались всю зиму, до 21 марта 1719 года, когда дозволено было снять тела с колес и отдать для погребения родственникам.

Заключительным аккордом Петербургского розыска можно считать розыскное дело ландрата Канбара Акинфиева. Его имя было названо Аврамом Лопухиным, с которым они разговаривали о бегстве царевича. Акинфиев был доставлен в Петербург 28 июля 1718 года, когда главного обвиняемого уже не было в живых и весь розыск практически завершился. На допросе Канбар показал, что Лопухин говорил ему о том, что царевич укрылся в Австрии, и выразил опасение, «не прошел бы к цесарю и не было бы разрыва между цесарем и его царским величеством». На что Канбар отвечал: «Опасно, когда начнется война, чтоб не было у нас в народе бунта».

Розыскное дело Канбара Акинфиева примечательно еще и тем, что Тайная канцелярия применительно к нему использовала прием, ранее не встречавшийся во время розыска: 16 августа Канбар был «вожен в застенки, и раздевай у дыбы, и спрашивай по пунктам», но пытан не был: «И того числа им не разыскивано для того, что просил оной Канбар, чтоб ему дать сроку одуматься и позволено было ему писать. А он, что припомнит, то напишет и принесет о всем самую истину». Канбару было задано пять вопросов, причем все они были связаны с его разговором с Лопухиным. Он ответил, что радовался «о сохранении царевича у цесаря в тот образ, что цесарь может с отцом примирить его... о возмущении говорил с одного рассуждения о слабости народа, в чем виноват». 21

августа Канбар был пытан, получил 15 ударов, показал то же, а ссылался на то, что «говорил все пьяной, спроста, ни в какую меру».

Как видим, розыскное дело Канбара Акинфиева перекликается с розыскным делом Аврама Лопухина, и главные обвинения в адрес того и другого совпадают. Однако Сенат 5 декабря 1718 года вынес Канбару более мягкий приговор: «...что он слышал от князя Щербатого и от Аврама Лопухина о побеге царевича... и в разговоре о том побеге разговаривал и тому радовался, а царскому величеству о том не донес, но еще говорил, чтоб не было от того в народе бунту, и за другие ево непристойные слова... в чем он Канбар с розыску винился, и за то за все учинить ему наказание: бить кнутом и сослать в ссылку в Сибирские дальние города, а движимое и недвижимое ево имение все взять на великого государя».

Однако Петр — случай беспрецедентный — смягчил и этот приговор, подписанный Меншиковым, Яковом Долгоруким, бароном Шафировым, графом Головкиным и другими сенаторами: «По своему милосердию царское величество наказание тебе чинить не указал, а указал тебя за твои вины послать в ссылку без наказания».

Почему царь проявил несвойственное ему милосердие в отношении Канбара Акинфиева? Объяснить это можно тем, что следствие было практически завершено и виновные наказаны. Так по идее и должен был завершиться финал розыска, жертвами которого стали десятки людей.

Причем не все из них понесли хоть какое-то наказание. Правда, тех, кому удалось без тяжелых последствий для себя вырваться из цепких рук следователей, было немного. Таковы, например, подьячий Никифор Богдановский и его супруга, стиравшая белье «девке» царевича Евфросинье. Они были привлечены Тайной канцелярией к следствию в надежде узнать подробности о намечавшемся бегстве царевича. Однако во время следствия оказалось, что оба ничего не ведали. Вся информация супружеской пары состояла в том, что Евфросинья сказывала прачке, «что де царевич говорил с нею, Афросиньею, буде поволит государь, и я де на тебе женюсь». 22 июня 1718 года последовал приговор: «Подьячего с женой ево освободить на поруки для того, что они о побеге царевича не ведали, и важности до них никакой по розыску не явилось».

*

В 1720 году началось повторное следствие по суздальскому делу — второй Суздальский розыск. Причина его возникновения неясна; к тому

времени царевича уже не было в живых, а люди, причастные к его побегу, были наказаны: одни казнены, другие подверглись истязаниям кнутом или батогами, третьи сосланы в Сибирь, четвертые отправлены на галеры и т. д. Понесли наказание и бывшая царица Евдокия Федоровна и царевна Мария Алексеевна.

Казалось, дело было закрыто и предано забвению, но 29 августа 1720 года дьяк Тайной розыскных дел канцелярии Тимофей Палехин неожиданно получил указ немедленно отправиться в Суздаль в Покровский монастырь для расследования «накрепко» о поведении инокини Елены «по приезде и о действии ее в тех местах и на каких подводах она ездила и кто при ней были служители и ис каких чинов». Второй указ датирован 21 апреля 1721 года и повелевал Палехину отправиться во Владимир для учинения экзекуции сочувствовавшим инокине Елене и оказывавшим ей услуги разного рода.

Трудно сказать, считал ли Петр первое следствие поспешным и недостаточно глубоким, не изобличившим полностью причастность матери к бегству сына, или полагал, что роль духовенства выяснена не исчерпывающе и что его участие не ограничилось делом епископа Досифея, а охватило значительный круг духовных иерархов. Известны слова, сказанные как-то Петром I П. А. Толстому: его отец, Алексей Михайлович, имел дело с одним бородачом (патриархом Никоном), а ему, Петру, пришлось столкнуться с сотнями бородачей. Второе предположение кажется более вероятным, о чем свидетельствует огромное количество лиц из духовенства, привлеченных ко второму Суздальскому следствию, причем преобладали среди них представители низшего и среднего звена. Во время следствия под стражей содержались два архимандрита, один келарь, три игумена, один казначей, два протодиакона, два ключаря, один диакон, 17 монахинь, несколько светских лиц — в общей сложности 143 человека.

Скажем сразу, что следствие Палехина не оправдало возложенных на него ожиданий. Зато оно обнаружило множество деталей, касающихся нравственного облика обитательниц монастыря и самой Евдокии Федоровны, ее интеллектуального уровня, выявило круг лиц, сочувствовавших ей и оказывавших услуги разного рода, снабжавших ее провиантом или выполнявших роль курьеров между ней и ее корреспондентами. И именно по результатам следствия Палехина мы и знаем сегодня о том, как протекала жизнь бывшей царицы в Покровском монастыре. Однако ничего относящегося к делу царевича Алексея обнаружено не было.

Из более или менее значительных лиц, привлеченных к следствию, можно назвать лишь архимандрита Рождественского монастыря во Владимире Гедеона. Он был абсолютно не причастен к побегу царевича, но стал жертвой собственной хитрости, в результате чего трижды подвергся пыткам.

Несмотря на значительное расстояние, отделявшее Рождественский монастырь от Покровского, Гедеон был частым и желанным гостем инокини Елены, которая всегда радушно принимала его. Навещая бывшую царицу, предприимчивый Гедеон, как и многие другие лица, искавшие знакомства со старицей Еленой и оказывавшие ей разного рода услуги, преследовал корыстные цели.

Знакомство Гедеона с бывшей царицей произошло в 1715 году, когда он, будучи в Москве и стремясь завести знакомства с вельможами и заручиться их поддержкой при получении более высокого сана, решил навестить Аврама Лопухина. Последний и шепнул «ко уху ево со умилением, дабы он поддержал бедных», обещая в свое время расплатиться за услугу.

Гедеон догадался, что речь идет о бывшей царице, посчитал, что игра стоит свеч, но усомнился в возможности оказать инокине и ее брату какую-либо услугу, так как ему было известно, «что при ней есть прекрепкий караул». Аврам заверил собеседника, что караул у нее «сведен давно, и не что де вашей братии, но и всяким уже людям ходить ей свободно. Бывают де у нее суздальские власти, да и сама де она ездит куды ни похочет невозбранно».

Гедеон согласился помочь бывшей царице, но на всякий случай решил странным образом обезопасить свои связи с ней.

Когда дошло до привлечения к следствию Гедеона, в его доме были обнаружены цидулки, значение которым Тимофей Палехин придал не то, на которое, по-видимому, рассчитывал Гедеон. По рассказу архимандрита, ему, когда он был в Ундове монастыре, какая-то старушка вручила бумажку. Гедеон решил, что это была просьба о поминовении усопшей, механически сунул цидулку в карман, но когда дома стал ее читать, то обнаружил просьбу, «чтоб он утешил словом погибающую от печали в Суздале и воздал ей честь и назвал бы ее целым именем, будто она будет не царевичева, но царева мать. Письмо ей тотчас сжег и никто б не видал».

Гедеон послушался совета. Будучи в Суздале, он в лицо назвал Евдокию царицею. «То де он чинил не своим хотением, но по выше писанным просительным словам Лопухина». Сам же он, Гедеон, ведал, что ей «царицей не бывать». В келье он «пивал» рейнское и церковное, был

одарен бывшей царицей полотенцем. Гедеон признался, что был знаком с Досифеем, однажды даже навестил его, но «крайней любви и дружбы с ним не бывало». Образ Александра Невского он подарил Евдокии Федоровне по совету Досифея, от него же передал куль рыбы, а от себя — портище камки.

Когда Палехин донес о повинной Гедеона в Тайную канцелярию, там проявили к нему интерес и велели доставить в Москву «за крепким караулом».

Кроме того, руководитель Тайной канцелярии П. А. Толстой велел Палехину отправиться во Владимир для обыска в доме Гедеона. Там Палехин обнаружил помимо цитированной выше цидулки еще одну, написанную на клочке бумаги: «Господин архимандрит, поволь ехать к Москве совсем. Будет по тебя присылка ис Преображенского в самом царственном деле скоро, а уж тебе здесь не бывать. Пожалуй, уезжай совсем, присыльные тебя разграбят. Жаль тебя, добрый ты человек».

На вопрос Палехина, от кого это письмо, Гедеон приготовил заранее обдуманый ответ: «Подобного письма к нему ни от кого не бывало», и высказал предположение, что оно было либо адресовано его предшественнику архимандриту Иосифу, отстраненному от должности за блуд и уже умершему, либо подкинута ему во время пожаров в монастыре в 1717 и 1719 годах. Гедеон еще раз подтвердил, что «он того письма конечно не помнит... да и имени ево, Гедеонова, в том письме не написано».

Содержание письма, как и объяснения Гедеона, вызвали у Тайной канцелярии еще больше подозрений. 6 апреля 1721 года Гедеона «за крепким караулом» доставили в Петербург. Толстой велел Ушакову добиваться от архимандрита откровенных показаний, а «буде учнет в том упрямитца, то, согласясь с правительствующим духовным Синодом, хотя и покрепче спросить не грех, однако же все предаю в ваше разсуждение». Умудренный опытом заплечных дел мастер, отличавшийся крайней жестокостью и умением добывать у колодников нужные показания, счел самым надежным способом застенков и обратился в Синод с просьбой лишить Гедеона сана. Дело было сделано, и архимандрит Гедеон в угоду Тайной канцелярии стал именоваться «расстригой Григорием».

Угроза пыток подействовала на Гедеона, однако он стал путаться в своих показаниях. Чем противоречивее были его показания, тем больше вызывали они подозрений: сначала он говорил, что первое письмо было написано его умершим племянником, затем признался, что его написал он сам по совету архимандрита Иосифа, наконец заявил, что «все то мое писанное писал с ним, Иосифом, наедине в 1718 году».

После первой пытки 25 мая 1721 года, когда расстриге Григорию было дано 25 ударов, он отрицал свою связь с Аврамом Лопухиным, но признал, что «другое письмо о выезде из монастыря писал он, утраившись келаря Павла Подлянского, своею рукою, коварством и подставкою отписывался, чтоб ево (Гедеона. — Н. П.) не можно познать было, понеже мысля на него, келаря, злобою, чтоб ево из монастыря изгнать». Второй розыск был учинен почти три недели спустя, когда раны чуть зарубцевались. Гедеону было дано девять ударов, но и их было достаточно, чтобы адская боль вынудила его признать: «А Аврам Лопухин в доме своем такие слова, что не забывай де бедных наших, кои ныне есть во странах ваших, ему, Григорию, говорил. А с первого розыску говорил то, будто Аврам того ничего о неоставлении и о протчем не говаривал, беспамятством...»

Любопытно показание расстриги Григория, характеризующее нравственный облик епископа Досифея. Оказывается, тот, будучи ростовским владыкой, советовал Гедеону прибавить в раку Александра Невского «хотя бы простых человеческих костей и голову приложить какого ни есть человека, давно умершего». У Гедеона хватило ума не воспользоваться этим советом, и он «того никогда не учинивал». Однако этим признанием расстрига Григорий еще больше отягчил свое положение, поскольку дал Тайной канцелярии повод вести розыск по новому обвинению.

Дело в том, что Петр, в связи с успешным завершением Северной войны и заключением в 1721 году Ништадтского мира, объявил амнистию, которая не коснулась Григория, так как следствие по его делу не было завершено. Расстриге довелось томиться в заточении еще год. Наконец, 20 октября 1722 года Тайная канцелярия донесла Сенату, что расстрига Григорий во всем признался и основания для его дальнейшего содержания в тюрьме исчезли. Ушаков спрашивал, как с ним быть, но Сенат с ответом не спешил. Тайная канцелярия 23 апреля 1723 года отправила новый запрос, на который три дня спустя последовал ответ: Сенат уклонился от прямого ответа, поручив Тайной канцелярии самой решить вопрос в соответствии с тем, как в подобных случаях «его императорского величества указы повелевают».

23 мая 1723 года Тайная канцелярия вынесла редчайшее определение: «...надлежало было учинить ему наказание бить кнутом. Однако же того ему не чинить, а заменить ему вышеписанными тремя розысками и послать в крепкий монастырь для содержания в работе до конца жизни неисходно».

По всей видимости, все участники розыска по делу царевича Алексея были отмечены пожалованиями. Правда, в распоряжении историков имеются указы лишь о награждении руководителей Тайной канцелярии. В те времена не считалось зазорным быть пожалованным вотчинами, принадлежавшими казненным или осужденным к их конфискации на государя, причем обвинителями нередко выступали как раз те, кто претендовал на вотчины, отнятые у осужденных. Подобная практика поощрялась царскими указами. Так, фискал, если докажет вину казнокрада, мог рассчитывать на получение половины имущества виновного, а если ему удастся изловить «нетчика», то есть дворянина, уклонившегося от службы или явки на смотр, мог стать владельцем всех его вотчин.

Среди казненных и осужденных по делу царевича Алексея числились крупные землевладельцы и душе владельцы. Так, лично за Аврамом Лопухиным числилось 1743 двора, причем считалось, что в каждом дворе проживало в среднем четыре человека мужского пола, а вместе с женщинами — восемь человек. Александр Кикин владел 456 дворами, а если считать дворы, которыми он владел вместе с братом Иваном, а также приданные за его женой Феклой, то надобно прибавить еще соответственно 91 и 390. За князем Василием Долгоруким числилось 799 дворов, за Федором Дубровским — 711 дворов, за Сибирским царевичем Василием — 359 дворов, а за Федором Эварлаковым — всего 38 дворов.

Указом 9 декабря 1718 года «за верные труды в бывшем тайном розыскном деле нижепоименованные гвардии майор Андрей Ушаков, Григорий Скорняков-Писарев повышены рангами и деревнями». Ушаков стал гвардии подполковником, а Скорняков-Писарев — гвардии майором. Первый получил 200 дворов (Федора Дубровского, Сибирского царевича, В. В. Долгорукого и др.), второй — 199 (Ф. Дубровского, В. В. Долгорукого, Александра Лопухина). Александр Румянцев, хотя и не был причастен к следствию, но был пожалован щедрее двух первых — ему было пожаловано 664 двора (Кикина и Матюшкина). Больше же всех был обласкан царем Петр Андреевич Толстой. Петр I в специальном указе от 13 декабря 1718 года, адресованном Сенату, так оценил усердие Петра Андреевича: «За показанную так великую службу не токмо мне, но паче ко всему отечеству, в привезении по рождению сына моего, а по делу злодея и губителя отца и отечества, определяется Петру Толстому чин тайного советника действительного, да деревни Аврама Лопухина, да Дубровского

Переславские деревни жилое и пустое, что за ними было по дачам и по владению, кроме тех, которые были за Аврамом Лопухиным данные из дворцовых и приданные жены его».

Петр Андреевич начинал службу беспоместным дворянином, но только за усердие в деле царевича получил 6972 двора, из которых 1090 принадлежали Авраму Лопухину и 228 Федору Дубровскому.

История показывает, сколь капризной и неустойчивой бывает фортуна. В 1727 году на престол вошел сын царевича Алексея Петр II. Он освободил из монастырского заточения старицу Елену, которая вновь стала царицей Евдокией Федоровной. Царица добилась указа о возвращении Лопухиным и прочим жертвам розыска прежних владений. Все манифесты и прочие государственные акты, содержавшие «поношения» отцу государя царевичу Алексею Петровичу, были изъяты из обращения. Более других должен был пострадать Петр Толстой, сыгравший ключевую роль в возвращении царевича на родину и предании его суду и смерти. Однако к тому времени сам Толстой уже оказался в опале и прозябал в неотопливаемой келье Соловецкого монастыря. Все его владения были конфискованы.

Иллюстрации



Царевич Алексей Петрович



Император Петр Алексеевич



Царица Наталья Кирилловна



Царица-инокиня Евдокия Федоровна, в иночестве старица Елена



Московский Кремль в начале XVIII века



Царевич Алексей Петрович. Гравюра П. Шенка с оригинала С. Гуэна.
1703



Листы из букваря царевича Алексея («Букварь Кариона Истомина»)



Семья Петра I. В центре, рядом с Екатериной Алексеевной изображен царевич Алексей. Миниатюра Г. С. Мусикийского. 1716–1717



Слева — записная книжка и серебряный рейсфедер царевича Алексея; справа — кубок, подарок Петра I сыну



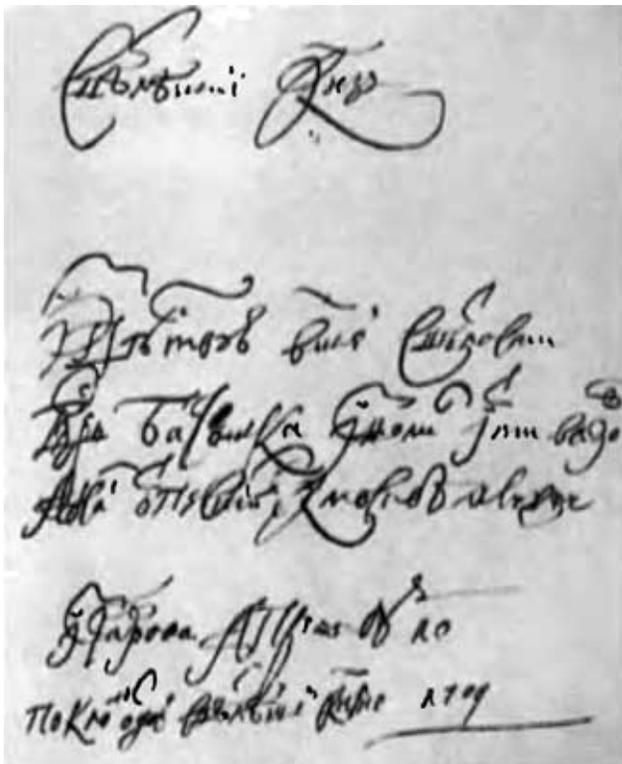
Князь Александр Данилович Меншиков (слева), Петр Андреевич Толстой



Царевич Алексей Петрович. И. П. Людден (?). 1720-е гг.



Кронпринцесса Шарлотта Христина София



Письмо царевича Алексея князю А. Д. Меншикову. 10 апреля 1709 г.



Император Карл VI



Август II Сильный, король Польский (слева), принц Евгений Савойский



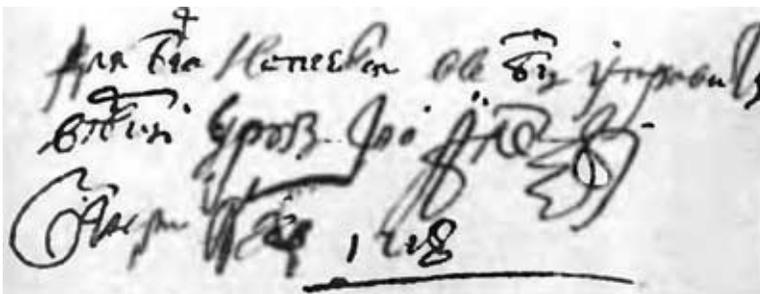
Развалины Эренберга в XIX веке. Гравюра по рисунку Н. Г. Устрялова

Государь мой батюшка друг Сердешной царевны
с Алексеем Петровичем здравствуй на множество лет!
с стого тебе доношу тебе, государю: чаю, в путь отпра
вляюся на масленицу. Поставь вышам
Ново-Ипатьевскую лавру на Масленицу
на февраль шестого числа в четверг
Твоя дочь Евфросинья

Письмо Евфросиньи царевичу Алексею: «Государь мой батюшка друг сердешной царевич Алексей Петрович, здравствуй на множество лет! Доношу тебе, государю: чаю, в путь отправлюся в четверг на масленицы...» 16 февраля 1718 г.



Вена. С гравюры 1740 г. На переднем плане — памятник Святой Троице, сооруженный в 1682 году при императоре Леопольде I в благодарность за избавление города от чумы



Царевич Алексей — Евфросинье: «..Для Бога не печалься: все Бог управит. Верный друг твой Алексей». Из Твери. 22 января 1718 г.



Царевич Алексей Петрович. Рисунок К. Науманна с гравюры В. Грэйтбаха



Вид на Неаполь в XIX веке



Топор для четвертования



Допрос царевича Алексея Петровича. Художник Н. Н. Ге



Дыба. С рисунка XVIII в.



Орудия пытки. Вверху — ручные и ножные кандалы; внизу — раскаленные щипцы и клещи



Кадр из немого фильма «Царевич Алексей». Режиссер Ю. Желябужский. 1918



Кадр из фильма «Петр I». В роли Петра Н. К. Симонов, в роли царевича Алексея Н. К. Черкасов. 1937

Приложения

Письма царевича Алексея Петровича к вице-канцлеру Шёнборну и цесарю Карлу VI

Публикуемые письма напечатаны в шестом томе «Истории царствования императора Петра Великого» Н. Г. Устрялова в 1859 году. Специально для настоящего издания переведены с немецкого Б. П. Григорьевым.

Письмо царевича Алексея графу Шёнборну, 24 ноября 1716 г.

Господин граф и дражайший друг.

Я благополучно прибыл на место и нахожусь в полном довольствии. Премного благодарен за оказанные мне его Цесарским величеством милости и благодеяния. Прошу и впредь не обходить меня Вашими заботами. Я же во всяком случае постараюсь отблагодарить его и Вашу светлости.

Пересланные мне 100 дукатов получил и с учетом обещанного напоминаю, что тот, кто их вручил, по приезде многое расскажет.

В ожидании скорейшего известия всегда готовый к услугам господину графу и моему наивернейшему другу

Алексиус.

Вейербург

Письмо царевича Алексея графу Шёнборну, 17 октября 1716 г.

Монсир, мой очень дорогой и верный друг.

Ваша светлость, высказываю вновь бесконечную благодарность за все благодеяния и хлопоты, которые Вы совершили ради меня, в том числе за Вашу помощь в том, что их Цесарское величество взяло меня под свою защиту, оказало мне столь большие милости и намерено оказывать их и впредь. Благодаря Господу поездка наша прошла благополучно и без единой запинки. Секретарь также сделал все, что было возможно, и служил мне с большой пользой.

Как было оговорено с г-ном графом, совершив поездку, я теперь очень доволен, а о том, как обстоят дела, секретарь передаст на словах. Да пребудет г-н граф во все времена моим хорошим другом, к которому я имею полное доверие, и да останусь я в постоянной милости у его Цесарского величества. И будьте уверены в том, что, пока я жив, такие благодеяния не забуду и, если мне поможет Бог, постараюсь при всех

возможностях отблагодарить как его светлость, так и его дом.

Остаюсь во все времена, пока я жив, исключительно добровольным и обязанным господину графу другом

Алексиус.

Замок Эренберг

Письмо царевича Алексея графу Шёнборну, 15 января 1717 г.

Монсир. Здешний комендант — честный и обязательный человек и делает все, что может. Однако это место таково, что здесь ничего нельзя найти и все нужно доставлять издалека, в результате чего трудно получить продукты. Однако комендантом я доволен. И ради Бога прошу Вас прислать чем раньше, тем лучше священника.

Без подписи

Письмо царевича Алексея графу Шёнборну (?)^[21], 12 марта 1717 г.

Монсир, вчера получил твой ценный пакет с приложенными новыми газетами. Подобное прошу мне и впредь присылать.

Слава Богу нахожусь в добром здравии и довольствии. Прошу передать мой привет доброму другу и просить его сохранить его дружбу ко мне во все времена. Остаюсь до конца его верным слугой.

Больше мне писать нечего, но прошу Вас сохранить любовь ко мне. Остаюсь навсегда его верным слугой.

Не сердайте, что так плохо написал, потому как лучше не умею.

Без подписи

Письмо царевича Алексея цесарю Карлу VI, без даты

Всемиловитейший Цесарь и повелитель.

Всепопданнейше благодарю за новые великие милости, которые я уже не раз получал от Вашего Цесарского величества, и ради Бога прошу, чтобы они продолжились.

Буду просить Господа тысячекратно вознаградить Вас за них и дать мне возможность душой и телом отслужить Цесарскому величеству.

Что же касается моего положения, то его мне обстоятельнейшим образом объясняет секретарь Кейль.

Вновь полагаюсь на высочайшую Цесарскую милость и могущественнейшую защиту и остаюсь во всем послушным до самой смерти.

Наиподданнейший и наивернейший слуга Вашего Цесарского величества

Алексиус.

Донесения австрийского резидента Плейера о деле царевича Алексея

Перевод с немецкого Б. П. Григорьева.

Письмо Плейера цесарю Карлу VI, 4 ноября (25 октября) 1715 г., из С.-Петербурга

25 октября я всеподданнейше сообщал Вашему Цесарскому и Королевскому величеству о благополучных и легких родах ее высочества здешней кронпринцессы и рождении юного принца. Но сегодня я, к сожалению, не могу не рассказать Вашему Цесарскому и Королевскому величеству, как обстоят дела, хотя сразу после разрешения принцесса почувствовала себя настолько хорошо, что на 4-й день встала, велела перенести ее на стульях из детской комнаты в другую и пригласить иностранцев, от которых принимала поздравления. То есть она встала слишком рано, о чем ее настоятельно и напрасно предупреждали акушеры и медики. Она же решила и начала сама кормить маленького принца. 31-го ближе к вечеру у нее начались сильные фобии и обмороки, и по всем признакам было видно, что детское место у нее не отошло и начались спазмы. Правда, незамедлительно, тем же вечером, к ней были собраны все медики, которые находились при ней неотлучно. Тем не менее, несмотря на все усилия и дорогие лекарства, она скоро лишилась речи, и ею все более овладевала слабость.

На другой день в полдень около часа она послала за царем, велела просить его к себе, чтобы попрощаться. Последний, несмотря на то, что сам не совсем оправился от колик, вскоре пришел к ней и энергично ее утешал. Она же настоятельно просила за ее двух детей — только что рожденного принца и пятилетнюю принцессу, а также просила обещать отправить из страны ее оставшихся слуг. Наконец после полуночи того же вечера между 1 и 2 часами она скончалась. Ее супруг кронпринц до ее кончины находился при ней, из-за тоски и печали трижды падал в обморок и казался безутешным. Тотчас после ее смерти принц забрал в свою комнату обоих детей и двух женщин, чтобы их оставить и держать для воспитания этих двоих детей. Вещи и комнаты умершей были опечатаны.

Вчера же, когда в 3-м часу тело быстро стало пухнуть, оно было удалено, и царь распорядился произвести вскрытие (*Castrum doloris*). О том, будет ли она похоронена здесь или отправлена к ее родным, пока не

удалось узнать ничего определенного. Вчера в середине дня через доставленную из канцелярии ноту нам, иностранцам, было официально объявлено об этой смерти и полугодовом трауре. В течение двух или трех дней один из их опытных камер-юнкеров от имени Бестужева будет послан с нотификацией ко двору Вашего Цесарского величества и к другим дворам.

Все оставшиеся слуги с каждым днем испытывают возрастающее безутешное горе, так как почти никто из них не знает, что он получит из годового содержания и для ежедневного пропитания. Все они иностранцы, прибыли сюда вместе с ней, и никто из них понятия не имеет, что им делать ^[22].

Этой смерти очень способствовали многообразные огорчения, которые этой принцессе пришлось переживать постоянно: деньги, которые ей ежегодно предназначались на содержание, выдавались так экономно и с такими трудностями, что она никогда не получала в руки более 500 или 600 рублей. В результате она жила в постоянной бедности и не могла оплачивать своих слуг. У всех торговцев остались долги ее и ее дворовых людей. Она отмечала отчуждение царского двора по отношению к ней из-за рождения их принца и знала, что царица старается ее скрытно преследовать. Из-за всего этого она была постоянно удручена.

Письмо Плейера цесарю Карлу VI, 8 ноября 1715 г., из С.-Петербурга

Всеподданнейше имею сообщить Вашему Цесарскому и Королевскому величеству, что, хотя царь и распорядился подготовить помещение для прощания кронпринцессы, однако, когда после вскрытия тела он увидел кровавые спазмы, неожиданно приказал ничего не вынимать, все опять зашить и распорядился насчет погребения. Поэтому позавчера всем иностранным и местным министрам, русским господам и дамам были разосланы приглашения на похороны, при этом было указано, как себя вести и в каком появляться платье.

Вчера в два часа пополудни мужчины собрались в доме траура у кронпринца, а женщины у принцессы Остфрисляндской. В столовой комнате сверху донизу и по сторонам закрытых окон стены были увешаны черной материей. У этих стен стояли 36 хрустальных (spiegelglaseruen) светильников со свечами. Посредине на покрытом черным постаменте стоял гроб, обтянутый красным бархатом, отделанным мелкоузорчатой бахромой в золоте. У изголовья гроба на подушечке из красного бархата лежала королевская корона с исключительно красивыми драгоценными

камнями. Над гробом свисал полог из красного бархата. В центре и по четырем его углам был изображен царский двуглавый орел с гербом на груди. Вокруг гроба стояли 12 высоких светильников с белыми восковыми свечами.

В 4 часа из этих комнат двинулась процессия, которая шла через проложенный дощатый мост, между рядами солдат царского лейб-полка, к берегу реки, где стоял наготове обтянутый в черное фрегат. Процессию начал предводитель с длинным, с самого низу покрытым черным, жезлом и играющие очень грустные мелодии военные музыканты. За ними следовали 2 барабанщика с перетянутыми черной материей барабанами, далее один из гоф-юнкеров нес подушечку из красного бархата с лежавшей на ней короной. За ними шел один предводитель с длинным черным жезлом перед обтянутым черным бархатом гробом, который несли несколько офицеров лейб-полка под пологом из красного бархата, под которым они стояли в комнате. Этот полог также несли 12 человек из офицеров и дворцовых слуг. Сразу же за ними шли царь с кронпринцем, сенаторы, местные и иностранные министры, а затем еще один маршал с длинным черным жезлом, который вел женскую половину семьи, в том числе сестру царя принцессу Наталью, принцессу Остфрисляндскую, принцессу умершего брата царя, а также женскую половину двора, иностранцев, русских и немцев.

Тело было доставлено на борт фрегата, на который также поднялись царь, кронпринц, принцессы, министры; остальные гости — на другое стоявшее наготове судно. Все это направилось по воде к крепостному мосту, который сверху донизу был покрыт фонарями с горящими в них огнями. Когда тело и гости с корабля и барки оказались на берегу, процессия под траурные звуки направилась в крепость между стоящими с опущенными ружьями рядами милиции. При этом у каждого стоявшего солдата или гражданского лица в руках был факел — и так вплоть до начатой недавно строиться новой церкви, у которой лишь задняя часть, большая дверь и два крыла к часовне стоят уже готовые. Здесь с левой стороны в земле была вырыта могила в 2 локтя глубиной, 4 или 5 локтей шириной и 3 локтя длиной, в которой до уровня земли были выложены стены. В нее было опущено тело. Дворцовый проповедник умершей произнес краткую заупокойную, после чего, так как могила еще не была готова и сверху не укрыта, а гроб стоял почти как под открытым небом, до времени, когда над ней будет произведен свод, у могилы был выставлен пост в 12 человек.

После этого все гости ночью опять по воде были доставлены обратно в

дом траура, где им было предложено угощение из холодных закусок и сладостей, впрочем, без обычного для других случаев принуждения к выпивке.

Перед погребением еще утром царь послал опросить пленного шведского графа Пиппера, производятся ли в Швеции пушечные выстрелы и если да, то сколько на похоронах королевы, а также при погребении кронпринцессы. На что тот ответил, что никакого пушечного салюта не производится. Когда же тайный советник барон фон Левенвольде, урожденный лифляндец и нередко использовавшийся в Швеции человек, сообщил, что при похоронах королевы производятся 100, а при погребении кронпринцессы 90 залпов, царь направил Левенвольде с одним генералом к графу доказать обратное и спросить, с какой целью и намерением он в этом деле лжет и умалчивает, и сделать ему строгое внушение. Однако во время сбора перед процессией он отвел меня, а затем и ганноверского секретаря в сторону и спросил, не стреляют ли при этих двух дворах во время похорон кронпринцессы, на что я и секретарь ему ответили, что при наших дворах подобного примера еще не было. После нас он опросил еще некоторых, но никто не знал такого примера, кроме саксонского министра, при дворе которого производится салют. Поэтому теперь все осталось как было.

В моем последнем письме я сделал всеподданнейшее сообщение о большой печали, которую переживала эта достойная самой славной памяти принцесса и которая явилась причиной болезни и, более того, причиной ее смерти. Эта печаль была так велика, что она не только не пугалась неожиданно надвигающегося конца, но сама желала и искала его. Перед смертью она сама после родов предсказала ее, она сердилась на тех, кто желал ей здоровья, предупреждала или просила, что лучше просить Господа о спасении ее души. Когда она быстро и легко родила юного принца, она заявила, что в высшей степени рада, что дала стране принца, но после этого она хочет умереть и умрет. Нередко она с нетерпением и недовольством требовала еду и напитки, которые ее акушеры и медики ей не советовали и запрещали. Докторов, сразу же прибывших из-за ее прогрессирующей слабости, она называла ее палачами, которые хотят лишь ее пытать своими медикаментами, несмотря на то, что она хочет не жить, а умереть.

У царя она просила обещать ей держать принцессу Остфрисляндскую при ее юном принце и принцессе для их воспитания, потому что принцесса обещала ей это сделать. Царь с одобрением отнесся к этому и якобы пообещал ее двору небольшой дополнительный штат. Напротив, царица намерена принять к себе некоторых слуг из овдовевшего двора и таким

образом увеличить свой штат. Когда в течение нескольких дней после родов у кронпринцессы было хорошее самочувствие, она часто говорила: я чувствую себя с этим ребенком довольно хорошо, но я хотела бы, чтобы скоро наступил мой конец, чтобы я смогла умереть...

...Сегодня камер-юнкер Бестужев уезжает с нотификацией к Вашему Цесарскому и Королевскому величеству, но по пути, вероятно, посетит еще какой-нибудь двор. После того как ночью закончилась тризна по умершей и все друг с другом распрощались, ко мне пришли некоторые слуги из оставшегося дворового штата с просьбой, чтобы я в этой моей всеподданнейшей реляции Вашему Цесарскому и Королевскому величеству сделал добавление. В нем все они всеподданнейше просят Ваше Цесарское и Королевское величество в случае отправки царю соболезнования приказать сделать к нему приписку ради них, чтобы здесь учитывались интересы тех, кто еще хотел бы быть принятым на новую службу или сохранить прежнюю, лучше сохранить. Тех же, у кого нет никакого желания оставаться, согласно контракту и в соответствии с обещанием, содействовать их отправке к родным на родину. Засим всеподданнейше, *etc.*

Письмо Плейера цесарю Карлу VI, 4 июля 1718 г.

...После того как по ранее названным причинам кронпринцу был объявлен смертный приговор, вынесенный высшим духовенством и Сенатом, последние с ужасом узнали о том, что ему якобы был нанесен удар, от которого он ранним утром в прошедшую пятницу скончался.

В ту же пятницу 8-го числа в новом здании почты проводилось веселое празднование дня победы над шведами у Полтавы, которое, однако, вопреки обычаю, было прекращено около 7 часов. В субботу 9-го несколько офицеров лейб-регимента или гвардии перенесли тело умершего принца из крепости в расположенную рядом главную церковь, где он лежал в гробу в течение трех дней и где каждый мог увидеть его и поцеловать ему руку.

В воскресенье 10-го праздновались именины царя и в полдень в царском летнем доме состоялась трапеза, откуда все гости направлялись на верфь в Адмиралтейство. Здесь стоял 94-пушечный корабль (только что построенный якобы по чертежам самого царя), который вечером был спущен на воду. Много ели и пили. Ночью на воде и на берегу представляли всевозможный фейерверк, веселье длилось вплоть до 2 часов ночи.

Используя эту возможность, иностранные министры интересовались тем, будет ли объявлен траур по случаю смерти принца. Однако им отвечали, что никакого траура не будет, потому что принц умер как

преступник. 11-го вечером в 9 часов тело было перенесено в могилу и положено рядом с его исключительно доброй памяти покойной супругой. В процессии участвовали царь и его министры, царица, нынешнее высшее духовенство, русские господа и дворовый простой люд. Во время похоронной церемонии и процессии каждую минуту били в колокола, как обычно производятся выстрелы при погребении морского офицера.

Иностранные министры, однако, на эти церемонии приглашены не были. Во время первого праздника в здании почтамта, после почти законченного ужина, царь помиловал голландского купца, арестованного за то, что получил письмо для знатных арестантов, которое он, однако, отослал обратно. На оба празднества все другие иностранные министры, не исключая меня, были приглашены. Позавчера им было сообщено, что в следующие дни царь отправится в Ревель и благосклонно отнесется к тем, кто последует за ним.

Но позавчера вечером голландский резидент был вызван в посольскую канцелярию и к вице-канцлеру барону Шафирову, где был допрошен о посланных им сообщениях. В это же время на его квартиру был послан офицер с гренадерами, комнаты и все помещения были заняты, а все его рукописи и письма были изъяты и доставлены в канцелярию. После этого он был отпущен домой, охрана снята и гренадеры уведены. Рукописи сейчас тщательно проверяются. Причина произошедшего еще неизвестна.

Вчера одна акушерка, находившаяся в то же время у супруги резидента, которая уже близка к разрешению, была арестована. Причина этого ареста также неизвестна.

Турецкий Ага получил ответ от Великого визиря на просьбу об отзыве и в ближайшие дни убудет домой.

Относительно шведских и русских трактатов по острову Аланд (Alland) ничего не слышно, и похоже, в ближайшее время никакой стоящей новости не будет, пока барон Гертц не вернется из Швеции с новыми инструкциями от его короля и с ответом русским на предложенные ими пункты.

Письмо Плейера графу Шёнборну, 7 июня 1718 г., из С.-Петербурга
Высокородный и благородный имперский граф.

Ваше высокографская светлость из моей последней реляции милостиво получили совсем простое сообщение о смерти и погребении кронпринца и о презрении, которому здесь подвергнут голландский резидент. Все это, подозревая, что мои письма вскрываются здесь в канцелярии, я описал таким образом для того, чтобы при вскрытии в нем не

увидели ничего кроме того, что сами печатали и распространяли.

Иное дело с письмом, написанным шифром: от него не отказаться. Письмо же, писанное рукописными буквами, в котором всё описывается подробнейшим образом, по моему мнению и мнению почти всех остальных, едва ли дает русским повод также и мне объявить публичное презрение.

Смерть принца, которая, как официально объявлено, произошла рано утром в 8 часов в пятницу, на самом деле наступила накануне в четверг в 8 часов вечера. Русские хотят убедить и распространяют сообщение о том, что ее причиной стал сердечный удар.

Однако среди дворцовых людей, а также среди простых и значительных иностранцев скрытно идут разговоры о том, что он умер от удара меча или топора, что подкрепляется многими догадками, а также тем, что, как точно известно, никто не слышал о какой-либо болезни принца и что накануне он был подвергнут пыткам.

В день смерти у него собралось высшее духовенство, его посетил Меншиков, но никто другой не был допущен в крепость, которая к вечеру была закрыта. Один голландский плотник, который работал в новой башне крепости и незаметно остался наверху ночевать, вечером якобы заглянул вниз и увидел в пыточной несколько человеческих голов, о чем рассказал своей теще, та же — голландскому резиденту. Труп также лежал в обычном гробу, сколоченном из плохих досок, голова несколько прикрыта, а шея и подбородок словно под моду были обмотаны тканью со складками.

На следующий день и после царь был очень весел. Во всей семье Меншиковых еще вечером чувствовалось радостное настроение, а вечером все отправились в церковь за все благодарить Бога. Иностранным министрам он заявил, что принц умер как злодей. Царица же показывала траур и большую озабоченность.

Относительно арестованных стоит тишина, словно их и не было, хотя, вероятно, они все также казнены. На хорошие аспекты мира с турками смотрят здесь с недоверчивостью. Убийство курьера кажется мне загадочным и подозрительным тем более что не были найдены ни убийца, ни какие-либо бумаги.

Что касается резидента, то его несчастье вызвано тем, что за восемь дней до этого он направил своему господину реляцию, в которой сообщил, что все здесь выглядит запутанным и он определенно опасается волнения, так как принц с вечера четверга мертв, его маленький принц еще несовершеннолетний, царский же принц также несовершеннолетний, слабый и болезненный и долго не проживет. Так как он и его люди

опасаются за жизнь, он просит об отзыве. К его несчастью эта *реляция* была в почтовой конторе вскрыта, доставлена в канцелярию и переведена. После этого 13-го числа вечером он был вызван гросс-и вице-канцлерами в Посольскую канцелярию. После того как он покинул дом, в него вошли тайный секретарь, офицер и несколько гренадеров, которые заняли комнаты и другие помещения и потребовали от его жены рукописи. Получив отказ представить ключ, они взломали ящики, бюро и письменный стол, изъяли все его записи и доставили их в канцелярию.

В это время его спрашивали, как он узнал о том, что принц был мертв уже в четверг вечером, и почему он говорил людям, что принц умер не от сердечного приступа. Откуда он знал, что маленький царский принц не может долго жить.

Стремясь облегчить свое положение, он отказался от своего права *exception fori*, сделал признание и ответил, что о времени и характере смерти принца ему рассказала акушерка, о маленьком принце якобы поведал его лечащий доктор, а также жена личного медика принца. После этого акушерка с ее дочерью, а также один флотский хирург были задержаны и доставлены в крепость, и, вероятно, одному-другому это стоило головы.

Его также упрекали в том, что он писал, что здесь только люди низкого сословия делают карьеру. Он возразил против этого, на что ему вице-канцлер язвительно заметил: «Вы просите отзыва, но вы должны были бы знать, что не сможете покинуть пределы страны и что царь может приказать отрубить вам голову». После этого секретарь доставил его домой и увел прочь гренадеров.

Прусский, датский и саксонский посланники, а также ганноверский резидент — все, кроме меня, были нотой оповещены, что подобное произошло с голландским резидентом потому, что он *непозволительным образом* писал своему господину сообщения, наносившие большой ущерб и унижение царю. Это не принесет им никакого вреда, напротив, международное право будет свято соблюдено. Однако им не следует поддерживать с резидентом отношений и вести с ним переписку до тех пор, пока его дело не будет завершено.

На следующий день мы все собрались, чтобы обсудить этот вопрос. Так как здесь все делается лишь с помощью насилия, то, по рассуждению посланников, письменные протесты будут иметь мало успеха и только навлекут на нас подозрение. Мы бы хотели, чтобы каждый написал об этом своему высокому руководителю и ждал приказа о дальнейшем поведении. Так и решили.

После этого из всего дела следует, однако, заключить, насколько ненадежно и опасно стало теперь посылать своему господину обстоятельные и точные сообщения, когда сам подвергнут угрозе насилия, а одновременно твой господин — унижению...

...Уже подготовлен Манифест, 800 экземпляров которого отпечатаны. В нем сообщается о преступлении принца и всех причастных к делу. То, что при этом проявляется растерянность и незнание, как делу придать пристойный вид, видно по тому, как в Манифест уже дважды вносились изменения, что-то исправлялось, изымалось, добавлялось, а затем вновь уничтожалось.

Мне сообщили как достоверный факт, что в первом оттиске была упомянута и моя корреспонденция с принцем. Правда ли это и осталось ли в документе что-нибудь обо мне или все изъято, это покажут те экземпляры, которые будут опубликованы.

Однако, так как голландский резидент, из письма которого ганноверскому министру также стало кое-что известно и в котором мне приписывается всяческая корреспонденция, не без оснований высказывает озабоченность, что среди других он назвал и меня, то, возможно, что на меня неожиданно может быть также совершено нападение и оскорбление моих бумаг. В связи с этим я и ганноверский резидент во избежание худшего сожгли нашу прежнюю переписку...

...Должен всеподданнейше добавить: из бумаг принца видно, что он хотел принцев и принцесс, произведенных им с покойной супругой и которых он называл немецким выводком, при новом правительстве отвергнуть и провозгласить наследниками детей, которых он надеялся иметь от своей любовницы. В заговоре кронпринца якобы была замешана также овдовевшая супруга умершего брата, в связи с чем она также находится в своем доме под строгой охраной. Однако этот факт, из уважения к обеим дочерям герцогини Мекленбургской и Курляндской, держится в секрете.

Любовница, которая якобы была единственной, чьи уговоры побудили принца к возвращению, как говорят, находится у царя и царицы в большой милости, потому что они тайно узнали об опасных замыслах принца как из его устных заявлений, так и из обнаруженных его бумаг.

По сообщению гувернантки мадам Rohin, нельзя описать ту великую милость, которую царь и царица оказывают оставшимся принцу и принцессе, так как царь называет их своими детьми. Теперь, перед своей поездкой в Ревель, [царь] обоих, но особенно принца, целовал в глаза, в лоб, в щеки и в губы и неоднократно сердечно прижимал к себе и все время

повторял в присутствии мадам Rohin, что он видит в этом принце избранного Богом будущего русского монарха и его достойного преемника.

Царь и царица не только пообещали, но также, как показали некоторые свидетельства, подтвердили на деле, что для содержания маленьких господ в помощь гувернантке выделяются все поместья, которые после лишения наследства принца князь Меншиков и сенатор Апраксин изъяли у него и поделили между собой. Оба безотлагательно должны уйти в отставку, и так как царица является тайной противницей Меншикова, многие предсказывают его быстрое падение. Простой народ с каждым днем проявляет свою горячую любовь и расположение к обоим детям. Если они, например, прогуливаются в своем саду, вокруг садовой ограды собирается толпа. И одна за другой появляются щели, чтобы с их помощью видеть детей.

Сенатору Апраксину запрещено в будущем их посещать. И, напротив, по желанию мадам Rohin, Тортеншеф и президент военной коллегии и царского тайного совета Адам Вейд представлен на должность обер-гофмейстера маленького принца. Будет также учрежден дворцовый штат.

Донесения голландского резидента де Би о деле царевича Алексея

Печатается по изданию: Дело царевича Алексея Петровича по известиям голландского резидента де-Биэ // Русский архив. 1907. № 7. С. 314–339 / Пер. с голланд. кн. И. Н. Шаховского; прим. П. Бартенева.

1. Москва, 10 февраля 1718 года

Его высочество, царевич, остановился в Твери, городе, отстоящем в 180 верстах от Москвы, и прислал предварительно к его величеству г-на Толстого, который уже поехал обратно к его высочеству. Помещение для царевича приготовлено близ покоев его величества, так что, вероятно, он скоро прибудет в Москву^[23].

2. Москва, 17 февраля 1718 года

Вечером 11-го числа его высочество прибыл в Москву в сопровождении г-на Толстого и имел долгий разговор с его величеством. На другой день, 12-го, рано утром, собран был большой совет. 13-го приказано было гвардии Преображенскому и Семеновскому полкам, а также двум гренадерским ротам быть наготове с боевыми патронами и заряженными ружьями. 14-го, с восходом солнца, войска эти двинулись и были расставлены кругом дворца, заняв все входы и выходы его. Всем министрам и боярам послано было повеление собраться в большой зале дворца, а духовенству в большой церкви. Приказания эти были в точности соблюдены. Тогда ударили в большой колокол, и в это время царевич, который перед тем накануне был перевезен в одно место, лежащее в 7-ми верстах от Москвы, совершил свой въезд в город, но без шпаги.

Взойдя в большую залу дворца, где находился царь, окруженный всеми своими сановниками, царевич вручил ему бумагу и пал на колени перед ним. Царь передал эту бумагу вице-канцлеру барону Шафирову и, подняв несчастного сына своего, распростертого у его ног, спросил его, что имеет он сказать. Царевич отвечал, что он умоляет о прощении и о даровании ему жизни. На это царь возразил ему: «Я тебе дарую то, о чем ты просишь, но ты потерял всякую надежду наследовать престолом нашим и должен отречься от него торжественным актом за своею подписью». Царевич изъявил свое согласие. После того царь сказал: «Зачем не внял ты

прежде моим предостережениям и кто мог советовать тебе бежать?» При этом вопросе царевич приблизился к царю и говорил ему что-то на ухо. Тогда они оба удалились в смежную залу, и полагают, что там царевич назвал своих сообщников. Это мнение тем более подтверждается, что в тот же день было отправлено три гонца в различные места. Когда его величество и царевич возвратились в большую залу, то сей последний подписал акт, в котором объявляет, что, чувствуя себя неспособным царствовать, он отрекается от своих прав на наследство престола.

После подписания акта были громогласно прочитаны причины, вынудившие царя отрешить сына своего от наследования престолом. По окончании чтения все присутствующие отправились в большую церковь, где его величество в длинной речи изложил преступное поведение и ослушание своего сына. Вслед за тем его величество возвратился во дворец, где был обеденный стол, за которым присутствовал и царевич.

3. Москва, 24 февраля 1718 года

Говорят, что открыты важные заговоры, в которых участвует много лиц из высшего дворянства и даже из приближенных и слуг его величества. Утверждают, что вина их состоит главным образом в соглашении, вопреки воле и определению царя, возвести после его смерти на престол царевича Алексея.

4. Москва, 3 марта 1718 года

Отовсюду приходят известия об арестовании в Москве и Петербурге лиц как высшего, так и низших классов. Допросы, которыми их подвергают, заставили царя отстрочить выезд свой из Москвы.

5. С.-Петербург, 22 апреля 1718 года

Царица, мать царевича и царевна Мария, преданные в Москве суду духовенства, должны вскоре прибыть сюда. Они оставались в Новгороде после нашего отъезда из этого города. Я не знаю еще, какой будет произнесен приговор; но вообще говорят, что они будут навеки заключены в Шлиссельбургской крепости, на Ладожском озере.

Генерал-лейтенант князь Василий Долгорукий снова арестован самым строжайшим образом, и ему угрожает наказание гораздо более сильное, чем ссылка. Арестовано еще множество других обвиненных, и скоро сделается известною участь, которая их ожидает.

7. С.-Петербург, 29 апреля 1718 года

Любовница царевича привезена сюда из Германии. При ней много золота, бриллиантов и богатых нарядов. Все удивляются, что царевич мог питать чувство к женщине такого низкого класса. От нее всё отобрали, оставив только необходимое. Впоследствии узнается, что за судьба ее ожидает.

8. С.-Петербург, 29 апреля 1718 года

Относительно уголовного следствия, производившегося во время моего пребывания в Москве, я могу сообщить только то, что происходило публично. По истине, сердцу его величества должно быть больно видеть такое противодействие своим предначертаниям, измену и клевету, даже в среде своих ближайших сродников, любимцев и слуг. Я не слышал, чтобы до сего времени было обличено существование заговора против жизни его величества; но заговорщики хотели только возвести после его смерти на престол отрешенного царевича, умертвить всех иностранцев, как виновников введения в стране чужеземных обычаев, заключить мир с Швециею и распустить учрежденную милицию. Мне говорили также, что заговорщики имели намерение преследовать нескольких любимцев его величества и даже самую царицу и ее детей; но что всего страшнее в этом деле, это то, что обе партии, в нем участвовавшие, находясь в полном неведении одна о другой, имели одну общую цель: возвести на престол царевича Алексея. Вождями одной из этих партий были отлученная царица, царевна Мария, майор Глебов и некоторые другие лица, между которыми находится митрополит Ростовский, успевший поддерживать всех заговорщиков в их замыслах посредством святотатственных вымыслов. Главным вождем заговорщиков другой партии был, как кажется, г. Кикин, уже казненный и бывший одним из первых любимцев его величества. По всем вероятностям, г. Кикин, приговоренный несколько лет пред этим к оштрафованию и к ссылке и вскоре потом помилованный, искал случая отмстить за перенесенное им оскорбление и для достижения этой цели составил вокруг себя партию преданных царевичу Алексею людей. Очень возможно также, что он успел привлечь к своей партии многих знатных лиц; но я, со своей стороны, позволяю себе почти положительно утверждать, что все русские, к какому бы сословию они ни принадлежали, разделяют эти чувства. Нет ни малейшего сомнения, что пока жив царь, все будут иметь вид покорный и послушный, но если царевич Алексей будет жив в то время, когда царевич Петр не достигнет еще известного возраста, можно предвидеть, что Россия будет подвергнута большим волнениям. Страшнее всего, что здоровье царя шатко и что наследник престола,

царевич Петр, очень слабого сложения и нельзя рассчитывать на продолжительность его жизни. Ему теперь V/2 года, но он еще не говорит и не ходит и постоянно болен. Если этот ребенок умрет, то царю будет снова предстоять выбор наследника; разве только в предстоящих родах царица разрешится от бремени царевичем. Во всяком случае, мало вероятно, чтобы царь прожил достаточно долго, чтобы воспитать своего наследника и утвердить его на престоле. Вследствие всего этого нужно ожидать больших волнений в этой стране.

9. С.-Петербург, 6 мая 1718 года

В ночь с 1 на 2 мая все арестованные государственные преступники привезены были в крепость для нового допроса. Много говорят о скорых казнях.

10. С.-Петербург, 24 мая 1718 года

Царевич Алексей не видел еще своих детей; но я не могу сказать, запрещено ли ему было это свидание или он сам того не желал. Его высочество все еще находится под строгим караулом, вблизи покоев царя, и редко появляется при дворе. Говорят, что умственные способности его не в порядке. Продолжают допрашивать в большой тайне всех его любимцев, и в особенности брата его матери Лопухина и генерал-лейтенанта князя Долгорукого. Главная вина сего последнего состоит в том, что за 2 1/2 года пред сим, когда царь, будучи опасно болен, послал его к царевичу Алексею убедить его удалиться в монастырь, князь Долгорукий, на отказ сего последнего, сказал ему: «Идите теперь в монастырь, а когда настанет время, то мы сумеем освободить оттуда ваше высочество». Вероятно, царевич передал эти слова своему отцу, что и повергло в опалу эту многочисленную и весьма могущественную фамилию. Брат его был также арестован, а дядя, президент совета, отставлен от должности.

С самого начала этого уголовного следствия говорили по всей Москве, что князь Куракин замешан в этом деле, а впоследствии рассказывали, что он посылал из Голландии деньги царевичу во время бегства сего последнего в Германию. Этого было бы достаточно, чтобы навлечь на него всевозможные несчастья; если бы его величество имели его в своих руках, враги Куракина не замедлили бы способствовать тому; но, по-видимому, или вина его не так велика, или царь выжидает более благоприятную минуту, чтобы забрать его в свои руки. Я слышал при дворе, что князь Куракин говорил будто бы, что он готов во всю жизнь свою служить царю вне России, но что он никогда не возвратится в отечество. Если эти слова

были сказаны, то из них можно заключить, что он не чувствует себя здесь в безопасности.

11. С.-Петербург, 27 мая 1718 года

Из Москвы положительно утверждают, что 27 марта открыли все четыре вены царице, матери царевича Алексея, но что послали всю ее свиту в Шлиссельбург для того, чтобы думали, что и она находится там же.

12. С.-Петербург, 30 мая 1718 года

Мне сказали, что оба брата князя Долгорукие, из коих один генерал-лейтенант, а другой сенатор, и Аврам Лопухин, брат бывшей царицы, были на прошедшей неделе перевезены в Петербург для нового допроса и что это произошло вследствие признаний, сделанных любовницею низложенного царевича. После допроса они были препровождены в другое место; но куда, того невозможно узнать. Во всяком случае, достоверно, что имущества их конфискованы и что на днях будет продаваться с публичного торга их движимое имущество.

13. С.-Петербург, 3 июня 1718 года

На днях началась публичная продажа имущества князя В. Долгорукого, после чего будет продано имущество его брата и Лопухина. Мне говорили, что генерал-лейтенант князь Долгорукий был дважды пытан и что признания его так поразили царя, что его величество задался мыслию, не лучше ли положить конец всем допросам и дальнейшим разысканиям всей этой нити замыслов и интриг, тем более что теперь узнано, что генерал князь Долгорукий в гвардейском полку, бывшем под его командою, посеял весьма тревожные и опасные чувства. Несколько солдат уже было арестовано, и поистине ничего не надо опасаться столько, как возмущения в этом войске, имеющем среди себя множество дворян и пример которого может иметь гибельное влияние на другие полки. Полагают, что это было причиною тайного отправления в ссылку вышеупомянутых трех лиц. Иначе, я убежден, воспользовались бы публичным их наказанием для подания примера строгости.

14. С.-Петербург, 26 июня 1718 года

25-го числа этого месяца, рано утром, Сенат, генералитет и духовенство собрались в церкви, где в присутствии царя было совершено богослужение и призвано благословение Божье. После того все сии сановники отправились в большую залу Сената, куда приведен был

царевич Алексей, окруженный сильным конвоем. В его присутствии вскрыли шкатулку, наполненную письмами и бумагами, которые и были громогласно прочтены. Между ними было много писем, писанных различными сановниками. Из содержания этих писем оказалось, что существует заговор, имеющий целью отнять у царя престол и лишить его жизни. Эти бумаги открыто представлены его величеству после возвращения его из Москвы, и открытием этим главным образом обязаны показаниям любовницы царевича. Чтение происходило публично, при открытых дверях и окнах. После чтения его величество начал упрекать сына своего, который во время пребывания их в Москве обещался и клялся на Евангелии, что раскроет все действия, намерения свои, а равно и сообщников своих, между тем как он не открыл и сотой части того, в чем клялся сознаться, из чего видна решимость его коснуть в преступных своих замыслах. Его высочество, пав на колена, умолял о пощаде. Тогда царь, поцеловав своего сына, со слезами на глазах сказал ему, что он с глубокою горестью видит его виновным в столь преступном посягательстве, что в Москве он мог ему простить то, в чем он сознался, но что теперь не желает более судить те преступления, которые он утаил, и что поэтому он предаст царевича и его сообщников суду здесь присутствующего духовенства. Затем, обращаясь к духовенству, его величество просил его рассмотреть это дело со тщанием и произнести приговор, за который они не страшились бы ответить пред всемогущим Богом, целым миром и самим царем; но вместе с тем его величество убеждал духовенство быть умеренным и не быть неумолимым. Это событие, которого не ожидали, произвело потрясающее действие, и в скором времени результат оного сделается известным. После всего вышеизложенного несчастный царевич был отвезен обратно в крепость, где содержится под строжайшим караулом.

22-го числа сюда привезены из Москвы три весьма важных лица, закованные в тяжелые цепи.

Все документы и письма, о которых я говорил, будут напечатаны и опубликованы.

15. С.-Петербург, 4 июля 1718 года

При сем прилагаемая реляция составлена на основании того, что было сообщено одним из влиятельнейших царских министров резиденту одной из иностранных держав. Я счел своим долгом довести до сведения Высоких штатов этот документ. Трудно определить время окончания занятий верховного суда, ибо много лиц, участвующих в заговоре, должны еще быть привезены сюда. Князь Львов, однажды уже арестованный и

выпущенный на свободу, снова арестован и признан виновным. Говорят также, что фельмаршала Шереметева подозревают в участии в этом деле и что его скоро привезут сюда. Очевидно, что заговор этот весьма обширен и что результат следствия и суда будет кровавый. Несомненно, что твердость царя превозможет всё и восстановит спокойствие в стране. Суд составлен из духовенства, сенаторов, губернаторов, генералитета и чинов Преображенского полка, что доходит до 100 человек, и он собирается ежедневно.

Реляция

После смертных казней, происходивших в Москве, думали, что уголовное следствие уже окончено и что все волнения утихнут. Это казалось тем более вероятным, что сохраняли в глубокой тайне все, что делалось со времени нашего возвращения в Петербург. Но каковы же были удивление и ужас публики, когда она узнала, что все самые строжайшие исследования, пытки и мучения, которым было подвергнуто в Москве столько виновных, далеко не раскрыли всей истины и что ни от кого из находящихся в настоящее время в заключении заговорщиков не допытались бы ничего, если бы, с одной стороны, перехваченная переписка, с другой — письма, найденные зашитыми в платьях генерал-лейтенанта князя Долгорукова и других преступников, не способствовали к открытию истины и не показали, что не только низложенный царевич Алексей был виновником этого гнусного заговора, но что по всей России находится великое множество лиц, принимающих в нем участие. Его величество тем более опечален этим, что в Москве он даровал жизнь царевичу Алексею с условием, что сей последний покажет всю истину, в чем царевич клялся на Евангелии, на кресте и перед принятием Святых Тайн. Но так как царевич, вопреки этим клятвам, утаил все самые важные обстоятельства, то его величество был вынужден назначить верховный суд над царевичем и его прежними и нынешними сообщниками. Для сего его величество созвал немедленно в Петербург всех высших представителей духовенства, которые уже съехались две недели тому назад, и учредил уголовное судилище, состоящее из ста членов, избранных среди духовенства и государственных чиновников; все министры участвуют в этом судилище. Его величество ежедневно, со слезами, коленопреклоненный, в течение восьми дней молил Бога внушить ему то, что повелевают ему честь его и благо его государства. Верховное судилище открыто было 25 июня в зале Сената, куда прибыл царь в сопровождении ста членов суда после совершенного в церкви богослужения, в котором призывалось на них благословение Духа Святого.

Когда все члены суда заняли свои места и все двери и окна залы были отворены, дабы все могли приблизиться, видеть и слышать, царевич Алексей был введен в сопровождении четырех унтер-офицеров и поставлен насупротив царя, который, несмотря на душевное волнение, резко упрекал его в преступных его замыслах. Тогда царевич с твердостью, которой в нем никогда не предполагали, сознался, что не только он хотел возбудить восстание во всей России, но что если царь захотел бы уничтожить всех соучастников его, то ему пришлось бы истребить все население страны. Он объявил себя поборником старинных нравов и обычаев, также как и русской веры, и этим самым привлек к себе сочувствие и любовь народа. В эту минуту царь, обратясь к духовенству, сказал: «Смотрите, как зачерствело это сердце, и обратите внимание на то, что он говорит. Соберитесь после моего ухода, спросите свою совесть, право и справедливость и представьте мне письменно ваше мнение о наказании, которое он заслужил, злоумышляя против отца своего. Но мнение это не будет конечным судом; вам, судьям земным, поручено исполнять правосудие на земле. Во всяком случае, я прошу вас не обращать внимание ни на личность, ни на общественное положение виновного, но видеть в нем лишь частное лицо и произнести ваш приговор над ним по совести и законам. Но вместе с тем я прошу также, чтоб приговор ваш был умерен и милосерд, насколько вы найдете возможным это сделать».

Царевич, остававшийся во все это время спокойным и являвший вид большой решимости, был после сего отвезен обратно в крепость. Помещение его состоит из маленькой комнаты возле места пытки. Но недолго продолжал он оказывать твердость, ибо вот уже несколько дней как он кажется очень убитым. Говорят, что приговор будет скоро объявлен, и по этому случаю на стенах крепости воздвигли эстраду, обтянутую красным сукном, со столом и скамьями.

Киевский архиепископ и еще три высокопоставленных лица должны быть привезены сюда; но этим, как кажется, не кончатся аресты. Со времени заговора Дон-Карлоса, сына Филиппа II, короля Испанского, мир не видел ничего подобного этому событию; но его величество следует в этом плачевном деле весьма похвальной методе, оставляя как монарх исследовать и обсудить все действия публично, на основании законов и правосудия, дабы весь мир узнал страшные и преступные замыслы его сына и необходимость, которая заставила его величество так действовать. Действительно, государь этот находится в весьма прискорбном и тяжелом положении. Говорят, что заговорщики намеревались сжечь Петербург и флот, распустить милицию и умертвить всех иностранцев как виновников

введения в стране чужеземных нравов, обычаев и правил; равно как убить всех любимцев царя, священная особа и семейство которого, вероятно, тоже не были бы пощажены.

16. С.-Петербург, 25 июля 1718 года

Более чем вероятно, что Высокие штаты извещены уже министрами и посланниками его величества о необычайных и неожиданных действиях, которым подверглись здесь моя личность и официальное положение мое. Нет ни малейшего сомнения, что постарались очернить меня самым гнусным образом пред Высокими штатами и что мне приписали то, что никогда не входило в помышления мои. На обязанности моей лежало и интерес мой требовал, чтобы я немедленно представил Высоким штатам подробное донесение обо всем случившемся; но нравственное расстройство и болезненное мое состояние не позволили мне это сделать. Поэтому я должен был ограничиться кратким извещением обо всем случившемся зятя моего, Филиппа фон Свиндена, в письме от 15-го числа сего месяца. Из последующего донесения моего Высокие штаты могут усмотреть, каким образом было возвращено мне это письмо. Этим действием мне было ясно доказано, что ни одно письмо мое не будет пропущено без просмотра; поэтому я должен был ограничиться ведением журнала всем действиям, совершенным по сей день, и ожидать удобного случая, чтобы препроводить Высоким штатам верное и подробное донесение о всех происшедших событиях. По всей истине я могу подтвердить, что в прилагаемой мною реляции я не только ни слова не прибавил к тому, что мне было говорено, но что, напротив, я еще смягчил, сколько было возможно, резкость употребленных выражений.

Во всяком случае, я должен сказать, что мне невозможно передать те жесты, резкость движений и интонации голоса, употребленные в разговоре со мною; если бы я мог это сделать, то я уверен, что чтение этой реляции было бы достаточным, чтобы устроить человека самого храброго.

Свидетельствую здесь, со всею чистотою совести, что я всегда действовал как верный слуга правительства, извещая Высокие штаты обо всем том, что я считал непременно своим доводить до их сведения. За невозможностью вести корреспонденцию посредством шифра я соблюдал всевозможную осторожность в важнейших донесениях моих г. генеральному секретарю.

Здесь очень раздражены тем, что я занимался вещами будто бы не входившими в круг моих обязанностей как резидента; но как бы мог я, находясь в Москве и будучи очевидцем столь важных событий, как

учреждение царем уголовного следствия, казнь преступников, не довести об этом до сведения Высоких штатов? По возвращении в Петербург мог ли я не доносить о том, что происходило после московских событий, о возобновлении уголовного следствия, о том, что совершалось на Аландском конгрессе, тем более что я очень хорошо знал, как губительна эта Северная война для интересов правительства Высоких штатов и их подданных, и что вашим высококомочиям весьма важно было знать, что совершилось положительного на Аландских островах? Для достижения этой цели я не ограничивался слухами и летучими известиями, но вошел в близкие сношения с иностранными резидентами и старался получить от них достоверные сведения о всем том, что там происходило. При этом я должен сказать, что ганноверский резидент г. Вебер, ввиду дружественного союза своего государя с Высокими штатами, выказывал мне в этом отношении большую доверенность, как это можно усмотреть из писем моих к г. генеральному секретарю. Со своей стороны, я делал все, что мог, для того, чтобы иметь верные сведения, так что в этом отношении я не только не вижу повода упрекнуть себя в чем-либо, но имею, напротив, право сказать, что я горячо принимал к сердцу исполнение моих обязанностей. Очень может быть, что Русское министерство было недовольно, раздражено даже, прочитав в моих донесениях рассуждения мои относительно запрещения ввоза сюда произведений наших лучших фабрик и способа возмездия, который я имел смелость повергнуть на благоусмотрение ваших высококомочий. Я также уверен, что письма мои относительно резкости выражений по поводу снаряжения флота Высоких штатов и цели его плаванья должны были увеличить еще более существующее уже против меня раздражение; но во всем этом нет ничего такого, в чем могла бы упрекнуть меня моя совесть; ибо, как благонамеренный и верный подданный, я в донесениях своих не скрывал ни малейшей мысли моей, и я делал это с тем большею откровенностью, что был далек от мысли, что, нарушив тайну писем, посягнуть на неприкосновенность министра, официально аккредитованного, что его задержат и отберут от него все его бумаги. Повторяю еще раз вашим высококомочиям, что во всем этом я, по совести, не могу сделать себе никакого упрека. Я только сожалею, что все сведения, предназначенные для Высоких штатов, попали в недостойные руки, и благодарю Бога, что могу явиться пред августейшим собранием ваших высококомочий для представления отчета в моих действиях.

Нет возможности, чтобы меня обвиняли в неуместной частной корреспонденции. В существовании этого меня никто не убедит, потому

что предъявлением исходящего регистра моей корреспонденции (если он будет мне возвращен) и письмами моими я могу доказать, что не имел переписки ни с кем более, как с г. посланником Брюйнигсом, секретарем Ансильоном и резидентом Румпфом, и то редко. Все эти лица могут засвидетельствовать, что я не писал им ничего предосудительного. Я скажу даже, что письма, которые мне пересылались для доставления в Швецию на имя русских, находящихся там в плену, давали мне возможность и повод писать г. Румпфу, с которым я не мог по случаю уничтожения обыкновенных почтовых сообщений поддерживать переписку, что я, по крайнему убеждению моему, имел право делать, не подвергаясь никакому осуждению.

Кроме этой корреспонденции я должен сознаться, что писал изредка к г. Ренару, английскому агенту в Амстердаме, которому я давал различные поручения, и что иногда я по дружбе уведомлял его о том, что здесь происходит. Со своей стороны, и он от времени до времени сообщал мне известия, которые он получал из Англии, Франции и Испании. Это может быть подтверждено им под присягою. Затем, я не думаю, чтобы могли меня подозревать в ведении переписки с голландскими негоциантами, проживающими в Архангельске и Москве, а также в Амстердаме.

Меня упрекали в написании письма, исполненного клеветы на вице-канцлера барона Шафирова и советника канцелярии Остермана; об этом будет упомянуто в подробном донесении моем. Объявляю во всей чистоте совести моей пред вашими высокоочинами и пред всемогущим Богом, что у меня никогда не было подобной мысли; что подробности, извлеченные из этого подложного письма, мне совершенно неизвестны. Кроме того, я полагаю, что ваши высокоочиния могли заметить из моих донесений, что я всегда отзывался с большим уважением об этих господах и выставлял вице-канцлера как человека весьма влиятельного и способного, которым следует дорожить. Поэтому я громко объявляю, что одни только злые люди могут мне приписывать подобного рода письмо и что письмо это выдуманно с низкою целью послать копию с него, под моим именем, к вице-канцлеру. Но тем не менее это злосчастное письмо принесло мне много вреда и было первою причиною моей невзгоды. Во время пребывания моего в Москве барон Шафиров дал мне понять, что меня подозревают в том, что я писал против него, но с большою откровенностью сказал мне, что знает меня неспособным сделать подобную мерзость.

Но история письма, посланного князем Куракиным негоцианту Бартоломею Борсту под конвертом негоцианта Эгберта Тезинга с приказанием им передать это письмо г. Лопухину, арестованному за

государственное преступление, или же возвратить его немедленно, и совет, который я дал, возбудили против меня крайнее негодование, и с тех пор не переставали обвинять меня в вещах самых необычайных и гнусных. В надежде найти подтверждение этим обвинениям вскрывали все мои письма; но никто в целом мире не может доказать мне, что я имел с кем бы то ни было из русских подданных, к какому бы классу они ни принадлежали, какие-нибудь секретные сношения, тем более какую-либо корреспонденцию. Таким образом, все эти подозрения, все обвинения, столь легковверно на меня возведенные, должны пасть сами собою; и вот поэтому налегли на слово *возмущение*, которое действительно находится в нескольких донесениях моих, и вывели самые гнусные заключения из того, что я писал, находясь в большом страхе, в Москве и здесь, во время производства уголовного следствия.

Я сознаюсь, что это справедливо, так как всегда думал, что если низложенный царевич переживет его величество, то он, невзирая на отречение свое, на клятву, на распоряжения и проклятия отца, будет стремиться к овладению престолом и, найдя многочисленных приверженцев, возбудит в целой стране смуты со всеми их кровавыми ужасами. Без сомнения, все найдут весьма странным, что подобного рода мысли могли быть перетолкованы таким предательским образом.

Не знаю, в чем могут состоять другие возведенные на меня обвинения; но полагаюсь на невинность мою, на правосудие Божие и на защиту ваших высококомочий, которые не покинете верного слугу и не допустите, чтобы ему причиняли притеснение; а так как мне не остается ничего более, как ожидать отзыва моего отсюда, то я всенижайше умоляю ваши высококомочия отозвать меня как можно скорее и дозволить для избежания путевых расходов и для безопасности моей и семейства моего, чтобы один из кораблей эскадры, находящейся в настоящую минуту в Балтике, пришел за мною в Петербург. Не прошу ничего иного, кроме возможности как можно скорее выехать из этой несчастной страны и предстать пред вашими высококомочиями для отдания отчета о действиях моих во всех этих делах, нимало не сомневаясь, что ваши высококомочия, будучи убеждены в моей невинности, соблаговолите употребить меня на дальнейшее служение правительству.

Верная и сокращенная реляция о нарушении международного права и о насилиях, причиненных мне, резиденту ваших высококомочий, Высоких штатов Соединенных провинций, при дворе его величества, царя Всероссийского

13 июля, около 7 1/2 часов вечера, прибыл ко мне секретарь

канцелярии с извещением, что так как царь и гг. канцлеры отправляются в путешествие, то их превосходительства желали бы переговорить со мною о некоторых делах. Полагая, что хотят объявить мне (как это сделано в отношении других иностранных резидентов), что царь чрез Кроншлот отправляется с флотом в Ревель и что я должен следовать за ним, я решился переправиться чрез реку, чтобы явиться в канцелярию. Вследствие того, сделав все свои приготовления и несмотря на то, что мой единственный ребенок находился в конвульсиях и боролся со смертью и что жена моя была повержена этим в отчаяние, я сел в шлюпку и велел перевезти себя к канцелярии, к канцлеру графу Головкину. После нескольких минут ожидания я был введен к его превосходительству, где нашел и г. вице-канцлера, барона Шафирова. Поклонясь их превосходительствам, я сказал, что я тщетно искал утром возможности переправиться через реку и что теперь я приехал узнать, чего их превосходительствам угодно от меня. На это г. вице-канцлер, с живостью обратясь ко мне, объявил, что я подвергся немилости царя, говоря, что его величество хотя и требовал однажды моего отзыва, но не желал давать дальнейшего хода этому делу; однако же, вследствие многих уважительных причин приказав с некоторого времени вскрывать все мои письма и донесения, его величество нашел сильные поводы обратиться со мною самым строгим образом, до того даже, что я могу подвергнуться преследованию пред правительством штатов и сложить свою голову на эшафоте. «У нас находятся все ваши подлые и лживые письма», — присовокупил он. Но я очень мог заметить, что они были переведены на русский язык, и поэтому надеялся, что по крайней мере подлинники были отправлены. Тогда г. вице-канцлер барон Шафиров с запальчивостью спросил меня: «По какой причине вы так часто сообщали, что страшаетесь скорого возмущения в России? Здесь нечего бояться восстания, а если оно должно произойти, то вы должны иметь о том сведения». Я отвечал, что не знаю ни о каком возмущении и что я не имел никаких сношений с русскими подданными, а тем менее каких-нибудь секретных корреспонденции, но что видел в Москве такое брожение, столько арестов и казней, что наравне со всеми иностранцами, и в особенности моими соотечественниками, боялся, чтобы не произошло чего-нибудь подобного. Тогда вице-канцлер с гневом и пеною у рта вскочил: «Ты должен что-нибудь знать, и сознаешься в этом, или сделаешь себя несчастным на всю жизнь. Мы с тобою поступим, как поступили с Гилленбергом»^[24]. Я возразил немедленно, что они вправе делать что им угодно, но что я во всяком случае радуюсь, что опасения мои были напрасны и что от души желаю, чтобы Бог даровал царю доброе здоровье и

успех. На это барон Шафиров снова спросил меня: «Зачем, будучи в Петербурге, говорили вы опять о близости возмущения?» Я отвечал, что мне не было причины рассеять свои опасения, ибо получал все те же страшные сведения и даже слышал, что царственный принц решился умышлять против жизни своего государя и отца. Мой испуг был до того велик, что я желал бы тогда быть далеко от этой страны с женою моею, ребенком и всем имуществом моим, тем более что я, узнав, что генерал-лейтенант князь Долгорукий оказался также виновным, боялся, что злой дух восстания и заговоров проникнет и в армию. «Этот человек, — возразил в свою очередь вице-канцлер, — сделался несчастным вследствие неосторожно произнесенных им преступных слов; но ни он, ни другие арестованные лица не были еще признаны виновными в измене». На это я ответил, что мне весьма приятно это слышать. Тогда вице-канцлер спросил меня, кто тот приятель мой, который так быстро уведомил меня о смерти царевича Алексея. Я отвечал, что известие это повсеместно распространено и что, не придавая тому особенного значения, об этом сообщил мне хирург майор Говей. «А! — воскликнул барон Шафиров. — Так это он, который служит вам вестовщиком новостей!» Нет, ответил я, это была первая сколько-нибудь важная новость, которую он мне сообщил. «Но, как видно из донесения вашего, он ваш друг?» — Да, отвечал я, и охотно в этом сознаюсь, потому что я, жена моя и дети были им пользованы всегда с истинною дружбою.

На вопрос о том, откуда взялась у меня мысль, что царевич Алексей умер неестественною смертью и что ему открывали вены, я ответил, что хотя и не доверяю этому, полагаясь более на то, что вице-канцлер сказал мне и датскому резиденту г. Вестфалену во время обеда 8-го числа, в день годовщины Полтавской победы, но должен однако же сознаться, что многие разделяют эту мысль. Конечно, было бы невозможно обращать внимание на все слухи и толки, которые ходят по городу; так, например, несколько детей и старух рассказывали различно о том, как выставлено было тело царевича. Одни говорили, что прикладывались к его рукам, другие это отрицали; одна старая повивальная бабка рассказывала моей жене, что были допущены к целованию руки, говоря, что заподлинно это знает, потому что дочь ее живет в крепости и в квартире ее готовилась пища царевичу. После того его превосходительство спросил меня, кто мне сказал что г. Герц, в частном разговоре с г. Брюсом на острове Аланд, предложил проект брака герцога Голштинского с царевною Анною и какая была моя мысль, когда я сказал, что царица поддерживает этот план с целью иметь в случае надобности верное убежище. На это я ответил, что имею повод думать, что почерпнул

это известие из хорошего источника, что могу и доказать. Будучи убежденным, что его превосходительство, перехватив все мои письма, должен был видеть из донесений моих, что я пользовался полным доверием ганноверского резидента, я сказал, что сведения эти я получил от него. Его превосходительство не хотел этому верить и сказал мне с большим раздражением: «Что подразумеваете вы под словом *убежище!* Разве ее величество не царица в стране?» Я отвечал, что это действительно так, но что я всегда боялся, чтобы царевич, хотя он и отрекся от своих прав на престол, не пренебрег бы своею клятвою в случае, если он переживет царя, и не стал бы искать средств к вступлению на престол; что если бы эта преступная попытка удалась, то я думал, что ее величество царица могла бы найти убежище у своей дочери, но что я, однако же, надеялся и был уверен, что дело никогда не дойдет до такой крайности и что даже если смотреть на все обстоятельства с самой мрачной точки зрения, то в этом можно видеть только преждевременные опасения, внушаемые любовью к ее величеству и ее царству. «Нет, — воскликнул вице-канцлер, — г. Вебер не мог сказать подобной вещи; он слишком умен и осторожен; ваш поверенный — это подлый клеветник, г. Плейер, резидент императора, и неужели вы думаете, что мы не знаем той короткости отношений, которые существуют между вами? У нас следят за вами достаточно глаз, и даже более, нежели вы думаете». Я ответил, что нимало в этом не сомневаюсь и что я не отрицаю, что имею с этим лицом сношения, подобно как и с другими иностранными резидентами, но что г. Плейер никогда не сообщал мне ничего дурного или вредного интересам царя. Затем вице-канцлер спросил меня, по какому поводу писал я, что, по-видимому, здесь ненавидят голландскую нацию. По очень многим причинам, ответил я: так, например, я не могу считать доказательством дружбы запрещение ввоза сюда самых лучших произведений наших мануфактур и неожиданное повеление направлять на Петербург всю архангельскую торговлю; но что, впрочем, я не вижу, почему я должен отдавать здесь отчеты в моих поступках, тогда как правительство Высоких штатов есть мой единый законный и высший судья. На это барон Шафиров возразил мне: «Мы вас не судим; судить вас будут ваши властители, и поверьте, что сумеют преследовать вас пред нами до последней крайности. Вы не воображаете себе, что Высокие штаты из-за вас объявят войну его величеству. Вы были присланы сюда лишь для ведения торговых дел, но предательским и хитрым образом вы успели проникнуть в дела самые деликатные, которые до вас не относились. Вы в состоянии из самого сладкого меда извлечь самый ужасный яд, и так как у вас совесть не была чиста, то вы писали,

прося отозвания вашего, думая тем ускользнуть от нас вовремя; но вы ошиблись в ваших расчетах». На эту дерзкую выходку я отвечал, что действительно просил о моем отозвании, но вовсе не вследствие упреков моей совести, а потому только, что с некоторого времени я видел уменьшение расположения ко мне, что опасался критических событий в стране, и потому наконец, что я в то же самое время видел все старания, употребленные для уничтожения торговли моей нации, не имея возможности достигнуть ни малейшего удовлетворения самых справедливых жалоб. На вопрос о том, кто говорил мне, что наследный царевич часто подвержен конвульсиям и что он весьма слабого здоровья, я отвечал, что это всем известно и что жена доктора Блументроста говорила моей жене, что прорезывание зубов у маленького царевича идет очень тяжело и что он весьма слаб; притом я ни в каком случае не думаю, что сделал худо, осведомившись о здоровье маленького царевича. «Ну, теперь что думаете вы об этом письме?» — воскликнул вице-канцлер и прочел мне часть письма, написанного по-немецки, в котором личность его и советника канцелярии Остермана изображены в самом гнусном свете. «В чем дурном были мы когда-либо виноваты перед вами, что вы решились написать подобные клеветы на нас?» Я был поистине поражен содержанием этого письма и возразил, что тот, кто писал его, гнусный клеветник; что я согласился бы, чтобы мне отрубили правую руку, если могут доказать мне, что я написал подобное письмо, и что кроме того, хотя я и знаю немецкий язык, но никогда не пишу на нем. Тогда вице-канцлер сказал мне: «Дела государя должны идти прежде дел частных лиц», и положил это письмо в карман. По выражению мною желанья видеть графа Головкина мне было предложено удалиться на минуту в другую комнату. Я отправился и нашел там моего русского кучера, который сказал мне, что во время отсутствия моего в моем доме произведены большие насилия и что все комнаты были подвергнуты обыску. После получасового ожидания я снова был введен в комнату канцлеров, и барон Шафиров сказал мне: «Мы составили на бумаге несколько вопросов пунктов, на которые вы ответите письменно». Находясь в столь тяжелом душевном настроении, я отвечал, что так как всё высказанное мною на словах было выражением истины, я нимало не затрудняюсь повторить то же самое и на бумаге. На это барон Шафиров сказал: «Мы разрешаем вам возвратиться домой, но вы будете пребывать там арестованным». Я возразил, что вынужден подчиниться всему, но неужели ко мне не будут допускать никого, даже и негоциантов моей нации? На это мне было сказано, что негоцианты могут бывать у меня. Кроме того, я спросил, можно ли мне воспользоваться почтою для

уведомления моего правительства о том, что произошло со мною. Вице-канцлер ответил мне: «Это сделается и без вас; но если вы хотите писать, то можете прислать письма ваши в канцелярию или в почтамт, где они будут просмотрены». Затем, откланявшись, я вышел в сопровождении секретаря Курбатова, которому поручено было передать караулу приказание не производить беспорядков в моем доме и оставить мне пользование всеми комнатами.

Я возвратился домой в большом волнении, с лицом, искаженным страданиями, и к вящему ужасу своему увидел жену мою, находящуюся на последних порах беременности, в слезах и окруженную гренадерами с ружьями. После первых ощущений при свидании сперва жена моя, а потом и прислуга рассказали мне и подтвердили все случившееся у меня на дому. Только что я вышел из дома, прибыл туда секретарь канцелярии Веселовский, спросив, может ли он меня видеть. На отрицательный ответ он спросил дозволения переговорить с моею женою, которая, хотя и не была расположена видеть его по причине тяжкой болезни нашего ребенка, но решилась, однако же, принять его. Тогда г. Веселовский спросил ее, дома ли я; она ответила, что, будучи за несколько минут перед тем призван канцлерами, я отправился туда, но что, может быть, есть возможность еще догнать меня, и, призвав одного из слуг, приказала как можно скорее меня настигнуть и просить вернуться; но слуге было воспрещено отлучаться. Затем г. секретарь сказал моей жене, что он имеет от канцлеров и от его величества приказание наложить печати на все мои письма и бумаги и взять их с собою и поэтому просил мою жену указать, где эти бумаги находятся. Жена моя, испуганная сообщенным ей приказанием, возразила секретарю, что он исполняет странное поручение, но что она не хочет и не обязана указать ему, где находятся бумаги ее мужа, а тем менее еще вручить ему оные, поэтому она просит его обождать немного, и так как я не могу быть еще далеко, то она пошлет за мною слугу. В ту минуту, как сей последний собирался исполнить это приказание, он был задержан гренадером, ибо во время разговора жены моей с секретарем на мой двор прибыли майор и лейтенант с одиннадцатью гренадерами и унтер-офицером и заняли все входы и выходы. Г. секретарь продолжал, однако же, настаивать, чтобы жена моя вручила ему мои бумаги, дабы этим избежать дальнейших для нас несчастий. Она умоляла обождать моего возвращения, ибо тогда я мог или поступить по моему усмотрению, или подчиниться необходимости; но все ее просьбы были тщетны, и секретарь объявил, что если она будет упираться еще далее, то тем вынудит его прибегнуть к необходимости велеть все вскрыть силою. В отчаянии своем, желая

избегнуть еще больших неприятностей, жена моя должна была указать, где находится мой кабинет, куда и направился немедленно г. секретарь в сопровождении трех гренадер, спрашивая ключи от этой комнаты, которые я, против обыкновения своего, взял с собою. Жена моя сказала, что так как ключей у нее нет, то она и не может дать их, и присовокупила: «Пошлите в канцелярию, и вы убедитесь, что муж мой унес их с собою». Затем г. секретарь приказал принести топор, что было тотчас же исполнено, и чрез минуту дверь моего рабочего кабинета была взломана. Войдя в эту комнату, г. секретарь сейчас же подошел к моему бюро и спросил ключ от него. Жена моя снова отвечала, что не имеет его. После обмена несколькими словами прибегли к помощи топора, и в бюро были сломаны замки. Все бумаги и письма, находившиеся в нем, были взяты, запечатаны и положены в мешок. Покончив с этим, г. секретарь спросил мою жену, не имеется ли у меня еще каких-нибудь бумаг. Ответив, что того не знает, она сказала ему, что он самым грубым образом нарушил международное право и поступил с нею, слабою женщиною, с хитростью и без малейшего к ней внимания, ибо меня выманили из дома для того, чтобы можно было с большим удобством совершать все произведенные насилия, но что со временем убедятся, как они странно ошибались, и что Высокие штаты сумеют получить удовлетворение за оскорбления, нанесенные их представителю. Г. секретарь ответил, что он в этом не виноват и что он только исполняет полученное им приказание, но что все-таки желает знать, не имеется ли у меня еще других бумаг. Тогда жена моя повела его по всем комнатам и в виде насмешки открыла все сундуки и шкафы, наполненные бельем, платьем, провизиею и т. д. Пристыженный этим и смущенный безуспешностью этой инквизиторской попытки г. секретарь хотел уже удалиться, когда жена моя с необыкновенным присутствием духа сказала ему: «Вы не можете удалиться таким образом; вы употребили насилие, вы взломали двери рабочего кабинета моего мужа топором, сломали замки от его бюро и взяли все его бумаги; теперь вы должны приложить печати к дверям этой комнаты, дабы мой муж имел видимое доказательство, что вы были здесь». Г. секретарь, наложив печати к дверям кабинета, удалился со своими двумя писцами.

Достоин замечания, что генерал-адмирал граф Апраксин, хозяин дома^[25], в котором я живу, г. тайный советник Толстой и многие другие знатные русские во все послеобеденное время гуляли по принадлежащему к дому этому саду и были свидетелями производимых у меня насилий и что генерал-адмиралу доносили о всем происходившем у меня. Лакей прусского резидента, пришедший к одному из моих слуг, был задержан и

выпущен на свободу только по произведении над ним обыска. Моя несчастная жена, испуганная всем случившимся, приказала слуге отправиться к доктору и просить его прибыть немедленно, но этому воспротивлялись, и только после многих рассуждений согласились послать одного гренадера к доктору, который прибыл тотчас же; но ему позволили лишь сделать на лестнице, в присутствии офицера и солдат, несколько вопросов моей жене и передать ей склянку с каплями для нее и для больного ребенка. Моей жене воспрещено было иметь сношения с кем бы то ни было, и у нее спросили число и имена находящихся у нас слуг.

Все это происходило во время моего отсутствия, и, возвратясь домой, я увидел, что там еще оставлены были лейтенант и восемь солдат. В 11 1/2 часов вечера адъютант, присланный г. тайным советником Толстым, привез лейтенанту этому приказание удалиться и объявил мне, что дом мой свободен и состоит в полном моем распоряжении. Когда лейтенант собирался уже уходить, я спросил его, должны ли оставаться нетронутыми печати, наложенные на двери моего рабочего кабинета, или я могу пользоваться и им, как и другими комнатами. После минутного размышления лейтенант взял ножик, срезал печати и, сказав мне несколько приветливых слов, удалился со своею командою.

Я думаю, что будет лишним говорить, как велико было огорчение и поражение наше при виде грубости, с какою было нарушено всякое право в отношении меня, моего официального характера, моего семейства, бумаг и жилища моего. Одно утешение наше — это убеждение в нашей невинности при уповании на Бога и на покровительство Высоких штатов.

На другой день, 14-го, со мною были приливы крови к голове и конвульсивные движения в теле, так что мне посоветовали для избежания апоплексии пустить кровь, что я и сделал. Мне воспрещено было всякое сношение с посторонними лицами; негоцианты, с которыми мне разрешено было видаться, боясь себя скомпрометировать, избегали моего дома, и секретарь Курбатов, который сопровождал меня из канцелярии домой, в тот же вечер передал иностранным резидентам запрещение посещать меня.

Утром 14-го прибыл ко мне секретарь Веселовский и вручил мне ноту, в которой заключались письменные вопросы, одинаковые с теми, которые делаемы были мне с такою дерзостью словесно бароном Шафировым в канцелярии, с приказанием теперь же написать на них ответы. Я сначала отказался было от этого на том основании, что уже дал ответы словесные; но г. Веселовский заметил мне, что уклониться от этого невозможно и что эти письменные ответы мои могут только послужить мне в пользу. Я в немногих словах сказал ему, что по чистой совести протестую против

обвинения в ведении мною здесь какой-либо корреспонденции, могущей причинить вред интересам царя, и в написании письма, исполненного гнусных клевет против барона Шафирова и советника канцелярии Остермана. После этого г. Веселовский удалился; сознаюсь, что в эту минуту я выказал, может быть, некоторую слабость. В утро 14-го же хирург Говей и повивальная бабка были арестованы вследствие вышепомянутых слов моих.

Размышляя о всем случившемся и стараясь отдать себе в том отчет, я в то же время узнал от слуг моих, что прислуга генерал-адмирала говорила им, что в течение трех недель с самого раннего утра безотлучно находилось в саду моем неизвестное лицо, которое записывало всех приходивших ко мне. При этом известии, собравшись с мыслями, я убедился, что это было справедливо и что лицо это был адъютант генерал-адмирала, которого я, против обыкновения, видел в своем саду по утрам и по вечерам; но, не подозревая, чтобы я мог быть подвергнут подобного рода инквизиции и чувствуя совесть свою спокойною, я не обратил на это никакого внимания, тем более что люди генерал-адмирала почти постоянно находились в саду для наблюдения за рабочими. Слуги мои сказали мне также, что они слышали от людей графа Апраксина, что в эти три недели я ни разу не выходил из дома без того, чтобы за мною не следили издали двое солдат, дабы видеть, с кем я буду разговаривать дорогою. Это мне показалось правдоподобным, в особенности когда я припоминал слова барона Шафирова, что на меня обращено более глаз, чем я думаю.

В ночь с 14-го на 15-е у меня были лихорадка и сильное нервное волнение, так что я послал за доктором и не вставал с постели. Глубоко огорченный арестом хирурга Говея и повивальной бабки, я послал, несмотря на свою болезнь, просить секретаря Веселовского посетить меня. Он действительно приехал, и тогда жена моя и я с чистосердечием убеждали его, что эти люди ни в чем не виноваты, и упрашивали его об освобождении их, и в особенности бедной повивальной бабки, потому что жена моя, находясь в последнем периоде беременности, боялась, чтобы все испытанные ею тревоги не ускорили родов ее. Г. Веселовский обещал хлопотать об этом и вместе с тем просил меня передать ему ответы мои на сделанные мне накануне вопросы, но в ответах этих не упоминать о последнем пункте, относящемся до объявления моего, что не я автор оскорбительного для вице-канцлера и для г. Остермана письма, присовокупив, что отрицание это может быть предметом особого частного письма, которым его превосходительство удовлетворится. Я ответил, что не в состоянии был писать, как может это видеть сам г. Веселовский, но что

как только мне будет лучше, то я охотно напишу требуемое письмо. После того г. секретарь удалился. После обеда волнение мое уменьшилось и, чувствуя себя несколько лучше, я написал это письмо весьма краткого содержания и приложил к нему открытое письмо на имя зятя моего, Филиппа фон Свиндена, в котором уведомлял его о несчастиях, происшедших со мною. Я послал эти оба письма к г. Веселовскому, прося его передать первое г. вице-канцлеру, а второе, по прочтении его, возвратить для отнесения его на почту моему человеку, которому я для этой цели дал печать свою. Кроме того, я просил его убедительно выхлопотать освобождение несчастной повивальной бабке для того, чтобы после всего уже перенесенного мною я не имел несчастья лишиться еще и жены моей вследствие отсутствия необходимой помощи. Вечером, после 8 часов, слуга мой, возвратясь, донес мне, что барон Шафиров, дав ему лично письмо мое на имя зятя, сказал: «Кланяйтесь от меня вашему господину и передайте ему, что мы не можем отправить этого письма, потому что в нем написана одна только ложь; он не арестован и дом его не окружен солдатами. Если он желает писать, то чтобы по крайней мере писал правду». К этому слуга мой присовокупил, что г. Веселовский, со своей стороны, сказал ему, что повивальная бабка не может быть выпущена на свободу, потому что она была слишком болтлива; да к тому же есть кроме нее много бабок — шведок и финляндок, к которым может обратиться моя жена. Ответ этот еще более усилил мое отчаяние, потому что я видел, что мне не хотят дать возможности известить ваши высококомочия о моем положении и что имеют намерение очернить меня пред Высокими штатами и представить поведение мое в самых черных красках. Во всяком случае, я покорился в твердом уповании на Бога, на мою невинность и на покровительство ваших высококомочий и в полном убеждении, что в донесениях моих они не могли усмотреть ничего враждебного против царя и никаких злых умыслов, но, напротив, только искреннее желание добра правительству. С этою утешительною мыслию я вооружился терпением, но тем не менее преисполнен был горести по случаю отказа жене моей в той помощи, которой требовало критическое положение ее.

16-го числа я опять должен был оставаться в постели. В течение этого дня ко мне были присланы один за другим два секретаря канцелярии с приглашением явиться к вице-канцлеру. Я им ответил, что не в состоянии этого исполнить, но что если его превосходительство имеет что-нибудь сообщить мне, то чтобы поручил это секретарю. Затем в этот день никто более не являлся.

17-го утром, в 7 1/2 часов, прибыл ко мне чиновник канцелярии с

приглашением немедленно явиться к канцлеру. Я ему ответил то же, что и накануне. 18-го между 9 и 10 часами утра приехал секретарь Веселовский, чтобы осведомиться о моем здоровье, на что я ответил ему, что об этом легко узнать по лицу моему. Тогда он передал мне ноту на немецком языке, в которой от меня требовали, чтобы, ввиду того, что в словесных ответах, данных мною при допросе 13-го числа, я показал, что во время пребывания в Москве и производства уголовного следствия я, подобно всем голландским негоциантам, находился в непрерывном страхе, я назвал всех этих боязливых негоциантов или бы указал на одного из них; в случае же отказа с моей стороны со мною поступлено будет как с лицом, не облеченным никаким официальным характером. На это требование я возразил, что совершенно будет лишним называть некоторые имена, потому что не одни только голландцы, но все без исключения иностранцы были в это время в таком же страхе, как и я. Кроме того, я заметил, что никто не имеет права лишить меня характера, которым я облечен, исключая ваших высококомочий, моих единственных судей, и что с этой минуты я не буду давать никому никакого ответа, ни объяснения, горько упрекая себя, что выказал столько слабости, но что я надеялся быть оправданным, тем более что поведение в отношении меня барона Шафирова было беспримерно грубо и что со мною поступают самым странным и необъяснимым образом: не только не удовлетвоались полным нарушением международного права, но мне еще препятствуют довести до сведения штатов о моем бедственном положении и обвиняют меня во лжи. При этом я спросил г. Веселовского, будто неправда, что дом мой был занят майором, лейтенантом и сержантом, которые охраняли все его выходы и входы и посредством топора взломали дверь моего рабочего кабинета, вскрыли бюро, и что не есть ли это настоящий арест. Он ответил мне следующее: «Это продолжалось только до тех пор, пока я не забрал ваши бумаги; после того у вас оставлены были только один лейтенант и шестеро солдат». Таким образом, возразил я, могут сказать, что я не находился под арестом до 11 1/2 часов вечера, когда, по приказанию г. Толстого, удалась стража, состоявшая из лейтенанта и восьми, а не шести, как говорите вы, солдат; но я не так понимаю вещи, и вы можете сказать барону Шафирову, что он сам при выходе моем из канцелярии объявил мне громким голосом, что я нахожусь под арестом, и что я не думаю выходить из дома, доколе не получу приказаний от ваших высококомочий и не узнаю, как приняли вы известие об оскорблениях, которым подвергся ваш резидент. В то же время я обещаю вам, что пусть призывают меня сто раз в канцелярию, я туда не пойду, не имея никакого желания вновь слышать дерзости барона

Шафирова и подвергать мою жизнь опасности вследствие всех тяжелых испытаний, вынесенных мною. Г. секретарь Веселовский потребовал, чтоб я переписал набело мои ответы и чтоб я вычеркнул из них то, что относится до барона Шафирова, потому что его превосходительство удовольствовался письмом моим. На это я ответил, что не сделаю ни того ни другого, что я сожалею об оказанной мною уступчивости, но что сделано, того не вернуть. Он спросил меня также, не имел ли я каких-нибудь частных корреспонденции; я ответил утвердительно, присовокупив только, что они не заключают в себе ничего предосудительного и могущего причинить вред его величеству.

Г. Веселовский просил меня хорошенько припомнить себе все, и тогда, после нескольких минут размышления, я вспомнил, что послал несколько запечатанных писем генерал-майора Ивана Михайловича^[26], в которых, по словам вице-канцлера, находились векселя на имя брата его, бывшего в плену в Швеции; что мне неоднократно присылали из канцелярии письма пленных шведских генералов для доставления их, под моею печатью, в Швецию, что и было мною в точности исполняемо; что однажды я получил открытое письмо г-жи Седергиельм на имя ее мужа, которое и переслал из Москвы с разрешения князя Меншикова, что с тех пор я получал от г. Седергиельма два письма на имя его жены, из коих одно было мною переслано, а другое находится в отобранных у меня бумагах, потому что, получив его незадолго перед тем, я намеревался его отправить 14-го ввиду того, что вице-канцлером было объявлено о запрещении кому бы то ни было принимать письма, приходящие от *пленных* шведов или адресованные им. При этом я присовокупил, что весьма может быть, что при пересылке нескольких писем отсюда в Швецию и получении таковых оттуда я иногда и оказывал легкую услугу, но что это не должно служить поводом к подозреванию меня в преступном умысле. После этого г. Веселовский удалился.

19, 20, 21 и 22-го никто не являлся ко мне, так как двор и иностранные резиденты поехали в Кроншлотт, куда отправились и гг. вице-канцлеры. По сей день 25-е число меня более не тревожили, но я не выходил еще из дома.

Затем барон де Би доносит своему правительству от 7 октября, что он немедленно выезжает из России, и описывает прощальную аудиенцию свою у князя Меншикова, принявшего его очень дружелюбно^[27].

Основные даты жизни царевича Алексея Петровича

Составлено в основном по Н. Г. Устрялову. Даты приведены по старому стилю, за исключением тех дат, которые связаны с пребыванием царевича Алексея при венском дворе (они указаны и по старому, и по новому стилям)

1690, 16 февраля — рождение царевича Алексея

1698, сентябрь — насильственное пострижение в монахини матери Алексея, царицы Евдокии (в иночестве Елены) Федоровны

1703 — царевич в должности солдата бомбардирской роты участвует в штурме Ниеншанца

1704 — царевич принимает участие в осаде Нарвы

1707, май — сентябрь — Алексей послан отцом в Смоленск для заготовки провианта и фуража для армии и набора рекрутов; Октябрь — отправлен отцом в Москву надзирать за укреплениями Кремля

1709, январь — болезнь Алексея во время похода на Украину с полками, собранными в Москве

1710, март — поездка царевича для продолжения образования в Германию

1711, 19 апреля — заключение брачного контракта между царевичем Алексеем и принцессой Вольфенбюттельской Шарлоттой Христиной Софией

14 октября — бракосочетание с принцессой Шарлоттой

7 ноября — царевич отправляется в Польшу для приготовления к очередному походу против шведов. Участие в походе в Померанию

1712 — участие в походе в Финляндию

1714 — болезнь царевича Отъезд для лечения в Карлсбад

12 июля — рождение дочери Натальи

Конец декабря — возвращение в Россию

1715, 12 октября — рождение сына Петра

22 октября — смерть супруги, кронпринцессы Шарлотты

27 октября — похороны кронпринцессы Шарлотты. Петр вручает сыну письмо с требованием решительно изменить образ жизни или отречься от наследования престола

1716, 19 января — второе письмо Петра сыну с требованием принять монашество Алексей изъявляет согласие

26 августа — третье письмо Петра сыну из Копенгагена Алексей объявляет о желании приехать к отцу

26 сентября — отъезд из Петербурга

Октябрь — царевич Алексей исчезает из поля зрения российских властей

10 ноября (21-го по новому стилю) — царевич прибывает в Вену

12 (23) ноября — переведен в местечко Вейербург близ Вены

27 ноября (7 декабря) — тайно отправлен в крепость Эренберг в Тироле (Прибыл 4 (15) декабря)

1717, 6 (17) мая — царевич прибывает в Неаполь

26 сентября — первая встреча царевича в Неаполе с посланцами Петра I П. А. Толстым и А. И. Румянцевым

3 октября — царевич дает согласие на возвращение в Россию

6 октября — паломническая поездка в Бари к мощам святого Николая Чудотворца

14 октября — отъезд царевича из Неаполя в Россию в сопровождении П. А. Толстого и А. И. Румянцева

1718, январь — приезд в Россию

3 февраля — встреча в Москве с отцом Официальное отречение от наследования престола в пользу младшего брата, царевича Петра Петровича. Начало следствия по делу царевича (Московский розыск)

18 марта — царевич, а также другие лица, проходящие по Московскому розыску, отправлены из Москвы в Петербург. Продолжение следствия (Петербургский розыск).

12 мая — очная ставка с Евфросиньей Федоровой, возобновление допросов царевича

14 июня — царевич переведен в Трубецкой роскат Петропавловской крепости. С этого времени с ним начинают обращаться как с обычным колодником. Учреждение суда над царевичем Алексеем из духовных и светских лиц

19, 20, 24, 26 июня — допросы царевича с применением пыток (19-го, дважды 24 и 26 июня в присутствии отца). 24 июня — приговор суда по делу царевича Алексея: «Достоин смерти»

26 июня — смерть царевича Алексея Петровича в застенке Петропавловской крепости

30 июня — погребение тела в Петропавловском соборе Петропавловской крепости

Примечания

[1] См. также раздел «Краткая библиография» в конце книги. (*Прим. ред.*)

[2] Подробнее об этом рассказывается в моей книге «Петр I», вышедшей несколькими изданиями в серии «Жизнь замечательных людей».

[3] Интерес царевича к проповеди Стефана Яворского, по всей видимости, объяснялся иным. В проповеди прозвучало имя самого Алексея, о чем царевич был осведомлен. В заключении своей речи, обращая мысленно к святому Алексею, Человеку Божию (проповедь читалась в канун дня памяти святого), митрополит восклицал «О угодниче Божий не забуди и тезоименника твоего, а особенного заповедей Божиих хранителя и твоего преисправного последователя. Ты оставил еси дом свой он такожде по чужим домам скитается, ты удалился еси родителей он такожде ты человек Божий он такожде истинный раб Христов. Молим убо, святче Божий покрый своего тезоименника, нашу едину надежду, покрый его к крове крыл твоих, яко любимаго своего птенца, яко зеницу, от всякаго зла соблюди невредимо». Напротив этих слов в тексте «Казанья» Петр собственноручно сделал отметку, приписав «Алексей». Царевич знал, что Стефан Яворский расположен к нему. «Рязанский к тебе добр, твоей стороны, и весь он твой», — доносили ему. (*Прим ред*)

[4] О том, насколько доверителен был царевич в письмах к духовнику и насколько в то же время он боялся отца, свидетельствует его письмо Якову Игнатьеву, на которое обратил внимание С. М. Соловьев. Письмо это прислано было из Германии, где царевич обучался он жалуется на отсутствие у него православного священника, которому мог бы исповедоваться, но просить такого священника у отца боится. «Прошу вашей святыни, приищи священника (кому мочно тайну сию поверить) не старого и чтоб незнаемый был всеми. И изволь ему сие объявить, чтоб поехал ко мне тайно, сложа священнические признаки, то есть обрил бороду и усы, такожде и гуменца заростить или всю голову обрить и надеть волосы накладные. И, немецкое платье надев, отправь его ко мне курьером (такого сыщи, чтоб мог верховую нужду понести), и вели ему сказываться моим денщиком, а священником бы отнюдь не назывался, а хорошо б безженный, а у меня он будет за служителя, и, кроме меня и Никифора (Вяземского), сия тайны ведать никто не будет. А на Москве, как возможно, сие тайно держи, и не брал бы ничего с собою надлежащего иерею, ни

требника, только б несколько частиц причастных, а книги я все имею. Мне он не для чего иного, только для смертного случая, такожде и здоровому для исповеди тайной. А бритье бороды не сомневался бы он лучше малое преступить, нежели души наши погубити без покаяния». *(Прим ред)*

[5] Любопытно отметить, что впоследствии в Европе распространился слух, будто кронпринцесса в 1715 году тайно бежала из России в Америку, в Луизиане вышла замуж за француза, лейтенанта Обера или д'Обана возвратилась с ним в Европу, несколько лет жила в Иль-де Франс потом в Париже и умерла в глубокой старости в Брюсселе. *(Прим ред)*

[6] Набранные курсивом слова поправлены Петром собственноручно. Первоначально было написано: «...добрым способом». *(Прим. ред.)*

[7] Воспитательница детей царевича Алексея. *(Прим. ред.)*

[8] Гарнизон Эренберга состоял из 20 солдат и 1 офицера. *(Прим. ред.)*

[9] Схоже в общих чертах описывал эту сцену Даун в более позднем донесении императору Карлу VI: когда Толстой стал угрожать царевичу и заявил, что «имеет повеление не удаляться отсюда, прежде чем не возьмет его, и если бы перевели его в другое место, то и туда будет за ним следовать», царевич, «пораженный и смешанный сими словами, обращается ко мне, берет меня за руку и уводит в другую комнату, где рассказывает, что говорил Толстой... и потом спросил: "Если отец вздумает требовать меня вооруженною рукою, могу ли я положиться на покровительство цесаря?" Я ему отвечал, что он не должен обращать внимание на эти угрозы; что хотя его величество с удовольствием будет видеть их примирение, но если он не считает безопасным возвратиться, то положился бы на покровительство его величества, который довольно силен, чтоб защищать принимаемых им под свою протекцию во всех случаях...» Отличия в версии Дауна объясняются прежде всего тем, что в тот момент, когда он писал свое донесение (уже после возвращения царевича в Россию), австрийский двор стремился подчеркнуть, что царевич покинул пределы Австрийской империи совершенно добровольно. Если же вчитаться в письма Толстого (см. ниже), то легко увидеть, что роль вице-короля в деле выдворения царевича была не слишком благовидною. *(Прим. ред.)*

[10] По мнению Н. Г. Устрялова, П. П. Шафирову. *(Прим. ред.)*

[11] В подложном письме А. И. Румянцева Д. И. Титову (см. о нем в седьмой главе) приводится такой портрет Евфросиньи: «А была та девка росту великого, собою дюжая, толстогубая, волосом рыжая, и все дивилися, как пришлось царевичу такую скаредную чухонку любить и так постоянно с нею в общении пребывать». Но этот портрет заведомо недостоверен: из

донесений русского резидента Аврама Веселовского (см. выше) мы точно знаем, что сопровождавшая царевича в его побеге женщина, то есть Евфросинья, была «малого роста». (Прим. ред.)

[12] Известно, что в Россию Евфросинья прибыла в апреле 1718 года еще беременной. Когда именно и как она разрешилась от бремени, неизвестно. Первый допрос ее был через месяц после прибытия в Россию, около 12 мая. (Прим. ред.)

[13] По-видимому, речь идет об обличении Я. Ф. Долгоруким «Казанья» рязанского митрополита Стефана Яворского (об этой проповеди и реакции на нее Петра речь шла в первой главе книги). (Прим. ред.)

[14] По показаниям Степана Глебова, его жена. (Прим. ред.)

[15] Монастырский человек Яков Стахеев, живший в Москве. (Прим. ред.)

[16] Как отмечает Н. Г. Устрялов, из росписи о ссылке по розыскным делам следует, что Федор Журавский сослан на каторгу в вечную работу. (Прим. ред.)

[17] В 1718 году Пасха пришлась на 13 апреля. (Прим. ред.)

[18] Дон Карлос (1545–1568), наследник испанского престола, находился во враждебных отношениях с отцом Филиппом II (годы правления 1556–1598) и умер в заключении. Его участь послужила сюжетом для многих произведений, в том числе одноименной трагедии Ф. Шиллера, оперы Дж. Верди и др. (Прим. ред.)

[19] Тем не менее эти показания царевича «не для розыска» были использованы в приговоре суда 24 июня: «...и по последнему от 22 июня сего году собственноручному письму явно, что он, царевич, не хотел с воли отца своего наследства прямою и от Бога определенною дорогою и способы по кончине отца своего государя получить; но, чиня всё ему в противность, намерен был против воли его величества по надежде своей не токмо чрез бунтовщиков, но и чрез чужестранную цесарскую помощь и войска, которые он уповал себе получить, и с разорением всего государства и отлучением от оного того, чего б от него зато ни пожелали, и при животе государя отца своего достигнуть». (Прим. ред.)

[20] Современные зарубежные исследователи пишут об этом с большей определенностью. По сведениям, приведенным в статье П. Бушковича (см.: Родина. 1999. № 9), барон Гертц в своих инструкциях шведскому ставленнику в Польше Станиславу Понятовскому сообщает о том, как в августе 1717 года французский офицер Дюре привез ему письмо на русском языке с подписью царевича Алексея Петровича и с просьбой к Швеции о защите. Гертц считал для Швеции целесообразным предложить

Алексею армию для похода в Россию. Понятовский и был намечен для контактов с царевичем. Однако он опоздал: через несколько недель царевич отправился на родину. Барон фон Мюллерн, шведский министр иностранных дел, писал Гертцу весной 1718 года, когда Алексей находился в застенке: «Я надеюсь, то, что, по вашим словам, было сделано для царевича, будет благоприятно для нас, пока он остается в живых». (*Прим. ред.*)

[21] Как и прочие, написано рукой царевича. Вероятно, адресовано какому-то иному лицу, а не Шёнборну, который упоминается в письме как «добрый друг». (*Прим. ред.*)

[22] Следующая часть письма писана «цыфирью». (*Прим. Н. Г. Устрялова.*)

[23] Близ Твери, в Желтиковом монастыре, сохранились прекрасные покои, которые, по преданию, назначены были для жительства царевичу Алексею Петровичу. (*Здесь и далее прим. П. Бартенева.*)

[24] В 1716 году граф Гилленборг, шведский посланник в Лондоне, был арестован за участие в заговоре против короля Георга I для свержения его в пользу Якова Стюарта. (Это было выгодно для Петра Великого, отвлекая английское правительство от поддержки Карла XII.)

[25] Дом этот, на месте нынешнего Зимнего дворца, был отдан в дар императрице Анне Иоанновне графом Апраксиным, которая в нем и поселилась, приехав из Москвы в январе 1732 года. В доме чадили печи, и Милютин (хозяин нынешних Милютиных лавок) исправил печи, за что и пожалован был во дворяне с печною вьюшкою в гербе (слышано от его правнука, Николая Алексеевича Милютина).

[26] Фамилия лица не обозначена.

[27] Может быть, по своей враждебности к барону Шафирову.